

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

СРАВНИТЕЛЬНО- ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ РАЗНЫХ СЕМЕЙ

•

ТЕОРИЯ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
РЕКОНСТРУКЦИИ

•

Ответственный редактор
доктор филологических наук
Н.З. ГАДЖИЕВА



МОСКВА "НАУКА"
1988

Авторы:

Н.З. ГАДЖИЕВА, В.К. ЖУРАВЛЕВ, М.А. КУМАХОВ, В.П. НЕРОЗНАК,
О.С. ШИРОКОВ, И.В. КОРМУШИН, А. РОНА-ТАШ, Д. КАРА,
А.А. КОРОЛЕВ, Б.А. СЕРЕБРЕННИКОВ, Т.В. ГАМКРЕЛИДЗЕ,
В.А. ВИНОГРАДОВ, Э.Г. ТУМАНЯН, О.Н. ТРУБАЧЕВ

Редакционная коллегия:

Г.И. АНДРЕЕВА (ответственный секретарь),
доктора филологических наук
Н.З. ГАДЖИЕВА, В.К. ЖУРАВЛЕВ, В.П. НЕРОЗНАК

Рецензенты:

доктор филологических наук Г.А. Климов
член-корреспондент АН СССР В.Н. Яцева

ОБЩЕСТВЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. А.М. ГОРЬКОГО
МГУ

2518-14-88

Сравнительно-историческое изучение языков разных семей:
С 75 Теория лингвистической реконструкции / Н.З. Гаджиева, В.К. Жу-
равлев, М.А. Кумахов и др. — М.: Наука, 1988. — 237 с.

ISBN 5-02-010869-3

Коллективная монография является очередной публикацией исследований, выходящих под общим названием "Сравнительно-историческое изучение языков разных семей". Книга посвящена основополагающей процедуре сравнительно-исторического языкознания — теории реконструкции. Впервые на обширном материале разных языков мира рассматриваются цели, задачи и приемы реконструкции, ее основные типы, соотношение сравнительной и внутренней реконструкции, устанавливается степень ее достоверности и обоснованности с опорой на данные как родственных, так и неродственных языков, предлагаются новые методы реконструкции в современной компаративистике.

Для специалистов по общему и сравнительно-историческому языкознанию, преподавателей, аспирантов.

С 4602000000-007 302-88—1
042(02)-88

ББК 81

ISBN 5-02-010869-3

© Издательство "Наука", 1988

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ РЕКОНСТРУКЦИИ

Пройдя сложный путь развития на протяжении XIX—XX вв., сравнительно-историческое языкознание в настоящее время занимает одну из ведущих позиций. Методика сравнительно-исторического исследования выдержала испытание временем и по праву может служить моделью описания и анализа для любой лингвистической дисциплины. Неотъемлемым приемом этой методики является реконструкция, в настоящее время достигшая такого состояния, которое позволяет говорить о ее особой теории, заслуживающей быть предметом специального рассмотрения.

Теория реконструкции не могла возникнуть в XVII—XVIII вв., поскольку первым компаративистам — индийцам, грекам — и последующей традиции не доставало понятия исторического развития. Чтобы дать себе отчет в языковом явлении, как и во времена Аристотеля или Панини, прибегали не к предшествующим фактам, а к априорным соображениям [Мейе, 1938].

Не случайно, что основы теории реконструкции создаются в XIX в., когда сравнительная грамматика, оперирующая приемом реконструкции, предстает как часть систематических исследований исторического развития явлений природы и общества. Помимо появления метода исторического объяснения в различных областях науки было и другое важное условие для формирования теории реконструкции — теория происхождения индоевропейских языков от одного общего предка, связанная с практикой реконструкций и установлением понятия исходного языкового состояния — праязыка¹.

На раннем этапе использования техники реконструкции в сравнительно-исторических исследованиях индоевропейских языков (пока только индоевропейских) фактическая лингвистическая база была довольно ограниченной. Эталоном, или моделью, для праязыка, своеобразной точкой отсчета при реконструкции служил санскрит. Техника реконструкции постепенно становится органическим компонентом сравнительно-исторического метода.

Немаловажной предпосылкой для совершенствования приемов реконструкции явилась дешифровка ранее неизвестных языков, а значит, постепенное увеличение количества сравниваемых языков. Особое значение имело открытие анатолийских языков — хеттского и других — в Малой Азии, а также тохарского в Центральной Азии, выявле-

¹ Основоположником теории происхождения индоевропейских языков от одного общего предка был А. Шлейхер [Schleicher, 1861—1862].

ние наиболее архаической ступени древнегреческого языка — его крито-микенского диалекта, интерпретация всех доступных на сегодняшний день языковых памятников палеобалканского ареала (а фактически исследование древних исчезнувших языков Балканского полуострова, Малой Азии и Италии — фракийского, иллирийского, древнемакедонского, фригийского и мессапского) [см.: Нерознак, 1978]. Пристальное внимание к реликтовым индоевропейским языкам убедительно показало, сколь велико значение новейших данных для прогресса в сравнительно-историческом языкознании.

В последние десятилетия отмечается интенсивность в описании бесписьменных языков, например многих западноиранских языков и диалектов на территории Ирана, что расширило фактическую базу исследований в иранистике.

Для развития тюркского сравнительно-исторического языкознания огромное значение имеют впервые описанные языки и диалекты, такие, как лобнорский, тофаларский, саларский, сарыг-югурский, халаджский, чулымский и др.

Вторая половина XX в. была ознаменована попытками сблизить различные семьи языков (семитскую — с родственной ей хамитской, финно-угорскую — с тюркской и т.д.). Кстати, в проверке алтайской теории, а также ностратической значительную помощь могут оказать приемы сравнительно-исторических исследований, операционные приемы реконструкции. Причем эффективность реконструкции находится в непосредственной зависимости от характера и числа сравниваемых языков.

Другим фактором, способствующим тому, что техника реконструкции становится необходимым компонентом сравнительно-исторического метода, является жесткое соблюдение принципа непреложности фонетических законов. В результате открытия закона передвижения звуков (*Lautverschiebung*) вся система смычных была сдвинута на одну ступень, ср. соответствие герм. *f*, *p*, *h*, греч. *π*, *τ*, *χ* и лат. *p*, *t*, *c* и т.д. [Мейе, 1938, 452]. Последующие фонетические законы уточнили представление о системе индоевропейского вокализма и консонантизма. Одним из приемов реконструкции вокализма становится объяснение исторических изменений. Принцип непреложности фонетических законов оказался плодотворным не только для фонетики и для теории вокализма с его чередованиями, он предопределил существенный прогресс в методике реконструкции.

Результаты применения теории непреложности фонетических законов к системе гласных, к аналогии, к диалектам и заимствованиям заставили пересмотреть сравнительную грамматику любой семьи языков.

Последовавшие в 70-х годах XIX в. открытия первостепенной важности в области индоевропейского вокализма и консонантизма, а также акцентологии изменили представление о санскрите как о единственном опорном языке — этой модели для построения сравнительной грамматики индоевропейских языков. Известные недостатки обнаружила методика, предусматривающая только прямолинейное проецирование фонетических, морфологических и синтаксических

явлений разных индоевропейских языков на праязыковую плоскость; при такой методике праязыковая модель оказалась собранием гетерогенных образований (подчас синхронно несовместимых), при этом игнорируются принципы как временной иерархичности явлений, так и их ареальной дистрибуции. Младограмматическая парадигма обнаружила свои недостатки именно в допущении нечеткого различия между инвариантами и вариантами единиц разных уровней языка, в результате чего на праязыковую плоскость нередко попадали заведомо позднейшие, вторичные, ареально ограниченные явления [Hermann, 1907; Макаев, 1977, 13]. Этот факт в свое время явился предметом критики со стороны ряда языковедов, которые вместо господствующей методики реконструкции стали применять приемы внутренней реконструкции [там же]. Методика, используемая младограмматиками, не давала возможности создать общую концепцию статуса и эволюции общеиндоевропейского языкового типа и его сложного и противоречивого, далеко не всегда однонаправленного соотношения с отдельными индоевропейскими языками в терминах пространственной и хронологической соотнесенности отдельных явлений, что имело следствием прямолинейное возведение всех или большинства явлений индоевропейских языков к общеиндоевропейскому состоянию.

Статическое представление о праязыковой структуре, свойственное не только Шлейхеру, но и младограмматикам [Schmidt, 1872; Brugmann, Delbrück, 1897], усугубляло скептическое отношение к праязыковой схеме [Макаев, 1977, 15] и отражалось на несовершенности самой техники реконструкции.

Своеобразным протестом против упрощенного понимания самого праязыка, и в особенности процесса его распада, а тем самым и против самих приемов реконструкции явилась волновая теория И. Шмидта [Schmidt, 1872]. Одним из важнейших исходных положений этой теории, связанных с явлением лингвистической непрерывности, была его гипотеза о возможности распространения инноваций из определенного центра [см. ВМСИИЯ, 1956, 9]. Идеи Шмидта получили дальнейшее развитие в складывавшемся в прошлом столетии новом направлении — в ареальной лингвистике. Постепенно стало укрепляться представление о праязыке как совокупности близкородственных диалектов. Явный скептицизм в отношении монолитности праязыка отмечается в высказываниях И.А. Бодуэна де Куртенэ, который считается первым, кто выдвинул положение о наличии в самом праязыковом состоянии диалектного дробления и стал возражать против представления о распадении праязыка как о процессе непрерывной дифференциации. Впоследствии понимание праязыка как совокупности близкородственных диалектов получило свое развитие в работах компаративистов XX в. и прочно вошло в науку [Porzig, 1954; Krahe, 1954]. Разработка гипотез о диалектах праязыка и их смешении (А. Мейе, З. Файст, Х. Педерсен, В. Пизани) уводила все дальше от шлейхеровских схем. Очень активным было направление, связанное с применением методов лингвистической географии, давшее положительные результаты в первой половине XX в.

Ареальная лингвистика с самого своего зарождения, а именно

начиная уже с работ представителей итальянской неолингвистической школы, имела диахроническую направленность. М. Бартоли, Дж. Видосси [Bartolli, Vidossi, 1943], а также Дж. Девото [Devoto, 1962], В. Пизани [Pisani, 1940], представители французской школы А. Мейе [Meillet, 1922], А. Доза [Dauzat, 1922] и др. последовательно применяют некоторые положения лингвистической географии к сравнительной грамматике индоевропейских языков, к изучению их истории. В.А. Богородицкий при сравнительно-историческом изучении татарского вокализма и консонантизма обосновал необходимость учета территориального распределения анализируемого фонетического явления, отмечая, что он стоит на топографической точке зрения, [Богородицкий, 1953]. Сложные процессы эволюции узбекского языка Е.Д. Поливанов освещает с учетом протяженности изоглоссных явлений этого языка, взятого в объеме всех его диалектов [Поливанов, 1928]. Диахроническому аспекту ареальной лингвистики и ее соотношению со сравнительно-историческим языкознанием в последнее десятилетие уделяется немало внимания в различных отраслях языкознания [см. ОЯ, 1973].

Ареальная лингвистика, самым тесным образом связанная с детальным изучением диалектных данных, значительно расширяет возможности компаративистики. Преимущество компаративиста, использующего приемы ареальной лингвистики, заключается в том, что он благодаря большому количеству зафиксированных состояний звуков, форм на различных территориях имеет возможность составить более полное представление об этих процессах (ср. реконструкцию глухого анлаута, падежной, временной системы в тюркских языках и т.д.).

Приемы ареальных исследований, предусматривающие тотальный охват диалектов, позволяющий судить о характере протяженности изоглоссного явления (о его разбросанном характере или сосредоточении в определенном центре), иногда помогают в самой процедуре реконструкции, например в установлении относительной хронологии. Понятие относительной хронологии как ведущей черты процедуры реконструкции введено на современном этапе во все отраслевые компаративистики (индоевропейскую, финно-угорскую, тюркскую и др.).

Использование приемов ареальных исследований в процедуре реконструкции (ср. определение центров инновации того или иного явления или определения зон затухания этих явлений и др.) составляет только одну из самых общих черт современной теории реконструкции. Последняя характеризуется использованием целого комплекса разработанных в настоящее время и других приемов лингвистического анализа, которые кратко можно охарактеризовать следующим образом.

С развитием теоретической мысли в компаративистике нашло широкое применение понятие системной реконструкции как проявление общей тенденции научного мышления XX в. — перенос внимания исследователя с субстанции на структуру, на отношения. Переломными в этом плане были 30-е годы XX в., когда была сделана

серия фундаментальных открытий в науках естественного цикла, а в языкознании оформилась фонология, ставшая на многие десятилетия наиболее продвинутым разделом современной лингвистики и смежных дисциплин и оказавшая мощное влияние на их дальнейшее развитие. Для успехов сравнительно-исторического языкознания фактором первостепенной важности является зарождение именно в эти годы диахронической фонологии с ее основополагающим принципом: изменяется не отдельная фонема, а фонологическая система в целом, понимаемая как система фонологических оппозиций, т.е. отношений между фонемами.

Естественно, что антропофонические приемы решения сравнительно-исторических задач, столетие назад позволившие сменить поиски "буквенных переходов" поисками реальных "звуковых изменений", постепенно уступают место фонологическим. Можно согласиться с Э.А. Макаевым, который писал, что "неправомерным является определение фонологических процессов трансформации согласных физиологическими причинами. Компаративист не может знать о характере уклада голосовой щели в общеиндоевропейском, не говоря уже о том, что данное объяснение не является собственно лингвистическим..." [Макаев, 1978, 164]. Вместе с тем было бы ошибкой игнорировать и новейшие данные об устройстве голосового аппарата наших предков, полученные антропологами и лингвистами в процессе совместных исследований и принципиально изменившие наши представления о происхождении речи [Liebermann, Crelin, Klatt, 1972].

Однако компаративисты не имеют дела со столь отдаленной реконструкцией ранних этапов возникновения человеческой речи вообще. Их усилия направлены на реконструкцию отношений в реально существовавших или существующих языках между фонемами в различных "фонетических условиях", точнее — в различных фонологических позициях. Таково современное переосмысление фундаментального требования классической компаративистики "искать объяснение фонетических процессов в фонетическом окружении".

Ведущим способом решения этой задачи чаще всего остается дистрибуционный анализ. Образцы его применения при реконструкции языкового состояния мы находим в трудах Е. Куриловича (ср. его анализ отношений между гуттуральными, ставший классическим). Являясь логическим развитием лучших традиций компаративистики конца прошлого века, данный прием позволяет более последовательно выявить "фонетическое окружение" каждой фонемы или ее аллофона. Последующее сопоставление двух фонем с их "фонетическим окружением" позволяет восстановить случаи "дополнительного распределения", нейтрализации противопоставлений, решить проблему фонологического статуса аллофонов и т.п.

Вместе с тем одного дистрибутивного анализа при реконструкции фонологической системы недостаточно. Парадигматический аспект реконструкции начинает проявляться уже в сопоставлении двух реконструируемых фонем с их "фонетическим окружением", что дает возможность реконструировать одну фонологическую оппозицию. Но и этого еще недостаточно. Необходимо выяснить отношение этой

фонемы, этой оппозиции ко всем другим фонемам, оппозициям и корреляциям реконструируемой фонологической системы. Это означает, что, например, при решении проблемы гуттуральных нельзя ограничиваться анализом лишь блока гуттуральных, необходимо рассматривать реконструируемые оппозиции гуттуральных в корреляции всего блока шумных. Анализ всей системы отношений между фонемами целостного блока шумных дает возможность выбрать одно из равновероятных решений о качестве гуттуральных и отношений между ними. Вне такого подхода одинаковая вероятность имеющихся в науке решений обусловлена тем, что предпочтение как лабиовелярного, так и палатального ряда гуттуральных основано лишь на анализе блока гуттуральных, рассматриваемых вне фонологической системы шумных. При этих условиях система действительно становится арбитром, а системность — критерием при решении задач и оценке уже имеющихся реконструкций.

В то же время использование дистрибутивных общностей, явившихся результатом тенденций, заложенных в праязыковом состоянии, оказывается эффективным при реконструкции морфологической системы языков (и особенно при отсутствии давних письменных традиций). Так, в языках полисинтетического типа (например, абхазско-адыгских), характеризующихся исключительно высокой степенью синтеза (глубина слова нередко доходит до 10—15 морфов), отмечается строгая и однотипная дистрибуция значимых частей во всей группе языков, если даже некоторые из морфем генетически оказываются нетождественными. В этом случае однотипность дистрибуции функционально тождественных морфем можно объяснить только тенденциями праязыкового состояния, что важно для реконструкции бесписьменных и новописьменных языков, разграничения в них исходных (праязыковых) и инновационных явлений.

Иногда компаративист, ставящий перед собой задачу реконструировать фонологическую систему, ограничивается лишь парадигматическим планом, оставляя вне поля зрения синтагматику, "фонетическое окружение", в котором могли функционировать реконструируемые фонемы. И младограмматикам не было чуждо понятие инвентарной системы, поскольку они ставили перед собой задачу реконструировать как можно полнее состав, инвентарь всех элементов праязыка². "Но в том-то и дело, что реконструкция инвентаря элементов, в отличие от отношений между ними, не дает представления о системе как таковой", — справедливо замечает С.Д. Кацнельсон [1966, 7]. Реконструкция системы — это реконструкция прежде всего отношений между элементами ее составляющими. В фонологии воссоздание отношений осуществляется путем анализа противопоставлений и условий снятия этих противопоставлений, анализа оппозиций, корреляций и нейтрализаций, т.е. анализ реконструируемой системы от оппозиции к корреляции, от корреляции к блоку и системе в целом позволяет разглядеть внутреннюю взаимосвязь между реконструируемыми фонемами, увидеть всю систему в целом. Так, кор-

² Подробнее о становлении младограмматической концепции см.: [Jankowsky, 1972].

релятивный анализ системы праязыковых шумных позволил выяснить внутреннюю взаимосвязь особой трактовки фрикативной фонемы /**s*/ в тех индоевропейских языках и диалектах, где проходила сатемная палатализация гуттуральных.

Методы системной реконструкции, наиболее детально разрабатываемые в фонологии, экстраполируются и на другие ярусы. При этом в морфонологии и акцентологии, может быть, даже ярче, чем в фонологии, ощущается различие дистрибуционного и парадигматического подходов. Европейская лингвистическая традиция ориентируется в первую очередь на парадигматику, акцентные парадигмы, а затем на дистрибуцию парадигм. В центре внимания американских исследователей находится дистрибуция абстрактной основы и флексии. Такой подход к проблемам реконструкции в значительной степени смыкается с генеративистским направлением, широко культивируемым в американской лингвистике.

Приемы системной реконструкции словарного состава праязыка интенсивно разрабатываются советскими славистами [Толстой, 1963; 1966, 5]. При этом требование системной реконструкции предъявляется не только к языковой системе в строгом понимании этого слова, т.е. к исконной лексике, но и к "экстрасистеме", заимствованиям и ономастике. Применение такого подхода мы находим в работах О.Н. Трубачева, посвященных анализу этнонимии [Трубачев, 1974, 54]. Фронтальное сопоставление славянских этнонимов как "системно организованной совокупности" дало значительные и несколько неожиданные результаты, позволившие уточнить представление о праславянском языке в целом.

Характерной чертой современной компаративистики является смещение интереса с внешней реконструкции на реконструкцию внутреннюю. Принципиально это — две стороны одного и того же сравнительно-исторического метода, суть которого заключается в сравнении родственных морфем, но в первом случае между разными языками, заведомо родственными, а во втором — внутри одного и того же языка в разных вариантах одной и той же морфемы. Например, дифтонгическое происхождение праславянского **ě* (ѣ) можно установить как на основе внешнего сравнения (ЦБНА, рус. *цена*, лит. *kaina*), так и внутреннего (ПБТИ, рус. *петь* — *пою*). Поэтому едва ли правомерно их терминологическое противопоставление (реконструкция сравнительно-историческая и внутренняя реконструкция, сравнительный метод и метод внутренней реконструкции и т.п.). Различие между ними заключается в том, что внешняя реконструкция ориентируется на анализ регулярного и частотного, систематически повторяющегося, явления, а внутренняя — на анализ явления нерегулярного и изолированного. Первая опирается на широкие парадигматические ряды, вторая — на "остаточные явления", дисперсные ряды, малые парадигмы и разного рода аномалии³. Но и

³ О различиях между "сравнительной" и внешней реконструкцией более подробно см.: [Макаев, 1978, 91]. Проводится также различие между реконструкцией отношений — системной реконструкцией и реконструкцией "материальной стороны" — материальной реконструкцией [Джаукян, 1978, 52—53].

в первом и во втором случае на основании анализа различий между фиксируемыми морфемами реконструируется единый, признаваемый за исходный, архетип.

Именно представление о системном устройстве языка, в котором все изменения должны быть так или иначе мотивированы, дает возможность с помощью метода внутренней реконструкции все немотивированное, аномальное трактовать как наследие предшествующих состояний системы, в которой они были мотивированными. Связь интенсивного развития внутренней реконструкции с системной реконструкцией обусловлена также и общенаучным сдвигом концепции причинности как внешней силы к понятию взаимодействия как внутренней причины изменения состояния и свойств системы.

Считается, что метод внутренней реконструкции восходит к известному "Мемуару о первоначальной системе гласных" Ф. де Сосюра. В дальнейшем в этой области многого достиг Е. Курилович, разрабатывавший и успешно применявший этот метод [Курилович, 1965]. Внутрилингвистической предпосылкой развития метода внутренней реконструкции был метод относительной хронологии, зародившийся на предшествующем этапе развития компаративистики как способ упорядочения данных внешней реконструкции в рамках единой системы праязыка. Метод относительной хронологии, как предпосылка системной и внутренней реконструкции, непосредственно вытекал из основного постулата младограмматиков: фонетический процесс последовательно совершается в строго определенных фонетических условиях в данном языке или диалекте на строго определенном этапе его развития. Это и давало возможность устанавливать хронологическую последовательность процессов относительно друг друга в данном языке и его диалектах. Классическими в этой области можно считать ранние работы Н.С. Трубецкого [Troubetskoу, 1922; 1930], написанные им в дофонологический период его творчества. Метод относительной хронологии опирается на анализ исключений из фонетических законов, действующих непреложно в одной и той же языковой системе на определенном этапе ее развития. Тем самым вольно или невольно данная языковая система на данном "синхронном срезе" выдвигалась в центр внимания исследователя. Дальнейшее развитие этой тенденции и приводит к усилению объяснительной силы внутренней системной реконструкции.

Современная внутренняя реконструкция ставит своей целью восстановление древнейшего состояния на основе анализа генетически тождественных или схожих фактов, с одной стороны, и функционально одинаковых фактов — с другой. Такова в настоящее время трактовка классического требования младограмматиков — опираться на факты, генетическое тождество которых предварительно установлено как в плане формальном (материальном), так и семантически (в плане функциональном). На смену "корневой этимологии" и "сравнению слов", сопоставлению корней и аффиксов пришла методика целнолексемного анализа [см.: Трубачев, 1963; 1976, 147—149], основанная на сопоставлении лексем и словообразовательных моделей. Широкое применение метода внутренней реконструкции находит

и в сравнительно-историческом синтаксисе (М. Лейман, В. Амбразас и др.), и в семантике (семантическая реконструкция Э. Бенвениста, Т.В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова).

Метод внутренней реконструкции, разработанный наиболее детально в фонологии, был успешно применен и в морфологии, в первую очередь благодаря работам Э. Бенвениста о структуре индоевропейского корня, а также в лексике и синтаксисе. Метод внутренней реконструкции праязыкового лексического фонда в современном языкознании, пожалуй, наиболее последовательно используется О.Н. Трубачевым. Практически он применяется при составлении сектором этимологии и ономастики Института русского языка АН СССР "Этимологического словаря славянских языков". Фронтальный анализ возможных праславянизмов в каждом отдельном славянском языке с целью восстановления праславянского лексического фонда позволяет выявить в праязыке не только общую праязыковую лексику, но и диалектизмы [Трубачев, 1978].

Аналогичная задача для фонологии лишь поставлена: желательно установить относительную хронологию по данным внутренней реконструкции для каждого отдельного славянского языка с последующим наложением всех полученных данных на праязыковую плоскость с ее пространственно-временными осями ординат [Birnbbaum, 1973, 47].

Приемы внутренней реконструкции имеют универсальную объяснительную силу не только для каждого отдельно взятого уровня языковой системы (фонологии, морфологии, синтаксиса, лексики). На основании данных внутренней реконструкции в современной лингвистике начинают последовательно реконструировать праязыковой текст, "подязыки" юридического права, культовые языки и наддиалектные койне [Иванов, Топоров, 1963; 1974; 1978]. В советской науке успешно разрабатываются приемы внутренней реконструкции духовной культуры на материале славянских языков [Толстой, Толстая, 1983]. Наконец, широкое применение находит внутренняя реконструкция при решении фундаментальных проблем истории первобытного общества [Кабо, 1978, 61—63]⁴.

Характерной чертой современной компаративистики является и небывалое увеличение удельного веса типологии в сравнительно-исторических исследованиях. Элементы типологии так или иначе присутствовали уже на заре сравнительно-исторического языкознания, в частности у Ф. Боппа в его теории происхождения грамматических формантов из местоимений. Позже, однако, особенно в зарубежной лингвистике, типологические исследования, охватывавшие главным образом лишь морфологию, противопоставлялись исследованиям сравнительно-историческим. Линией разграничения служило генетическое родство языков, в соответствии с которой родственные языки считались предметом компаративистики, а неродственные — типологических исследований.

⁴ Здесь, в частности, отмечается участие исторической лингвистики наряду с историческими дисциплинами (археология, этнография, антропология) в комплексной реконструкции истории первобытного общества.

Однако первые же опыты перенесения внимания исследователя с субстанции на отношения, на структуру позволили реконструировать в праязыке такие явления, которые не были зафиксированы в родственных языках, ни в живых, ни в мертвых. В принципе ситуация вполне вероятная. Можно допустить, что все языки-потомки утратили некоторые черты языка-предка. Однако классический сравнительно-исторический метод с самого начала налагал запрет на реконструкцию того, что не зафиксировано в родственных языках.

В конце 30-х годов нашего столетия Р. Якобсон, анализируя отношения между гласными и стоящими перед ними согласными в древнерусском языке, реконструировал корреляцию слогов по мягкости в праславянском [Jakobson, 1929]. Такого явления нет ни в живых славянских, ни в других индоевропейских языках. Для доказательства вероятности такой реконструкции необходимо выйти за рамки родственных языков и привлечь материал языков неродственных, где такое явление имеет место. Обнаружилось, что сходное явление широко распространено в некоторых языках так называемого Евразийского языкового союза⁵ (в тюркских, финно-угорских, тунгусо-маньчжурских, монгольских и др.). Р. Якобсон отметил в них также явление сближения тембра смежных звуков, палатальную гармонию.

С тех пор генетический подход постепенно стал уступать место методу, который можно определить как генетико-типологический, где реконструкция стала включать в себя анализ материала языков не только генетически родственных, но и языков заведомо неродственных. Значительные результаты в области реконструкции праиндоевропейского консонантизма на основе данных типологии с привлечением материала кавказских, семитских и других языков получены советскими лингвистами [Гамкрелидзе, Иванов, 1984]. При этом собственно типологические исследования вышли за рамки морфологии, охватив все уровни языковой структуры. Это еще больше повысило объяснительную силу выводов типологии при верификации реконструируемого состояния. В рамках типологических исследований складывается лингвистика универсалий с задачей поиска наиболее общих структурных законов. Разграничение полных и неполных универсалий привело к выдвижению понятия фреквенталий [Серебренников, 1974] и индивидуалий. Естественно, на современном этапе развития нашей науки основой типологии может быть только система, отношения, типология систем, а не перечень элементов. "В типологических исследованиях объектом сопоставления следует брать не сами единицы, а те отношения, которые существуют между единицами разных уровней и подуровней языков" [Солнцев, 1965; 1978].

Развитие типологии в таком случае следует считать своего рода следствием первого постулата, характеризующего современную компаративистику и состояние современного научного мышления в це-

⁵ Мы сейчас не обсуждаем спорность столь широкого понимания Р. Якобсоном языкового союза, определяемого иногда как "экстенсивный языковой союз" [Birnbbaum, 1973] в отличие от интенсивного балканского языкового союза.

лом. Более того, эта характерная черта связана непосредственно и с предшествующей чертой. Перенесение внимания в компаративистике с реконструкции внешней на внутреннюю как бы ослабило удельный вес внешней. Вместе с тем расширение "внешнего" материала за счет привлечения фактов неродственных языков определяет специфику современной внешней реконструкции как важнейшего компонента генетико-типологического подхода в современной компаративистике. Этот характер подтверждается и тем фактом, что типологические исследования, начатые на материале неродственных языков, уже в 30-е годы распространились и на материал родственных языков. "Внешняя" и "внутренняя типологии" имеют большое значение для теории и практики современной реконструкции.

Типологические критерии стали важнейшими аргументами при выборе одного из нескольких вероятных решений задач реконструкции (ср. решение проблемы двух или трех рядов гуттуральных в праиндоевропейском и т.п.). Так, в свое время Семереньи [1980] отверг реконструированную Е. Куриловичем систему праиндоевропейского вокализма на том основании, что наличие оппозиций *e:i*, *o:i*, *e:o* типологически немыслимо без фонемы /*a*/. Выводы "внешней" типологии, оперирующей данными неродственных языков, используются в современном языкознании весьма продуктивно [Jakobson, 1958, 17—35]. Например, гипотезу причинной связи перебора согласных с сильным экспираторным ударением на первом слоге в тюркских языках подтверждают не только германские, но и многие уральские языки. В уральском праязыке глухое начало было связано с сильным экспираторным ударением на первом слоге. При реконструкции показателя *исх. падежа* на *-дан* в тюркских языках есть основания объяснить его как результат соединения аффикса местн.-*исх. падежа* *-та/-да* с аффиксом древнего направительного падежа *-н*. Возможность соединения значений местонахождения и движения к чему-либо подтверждает материал различных языков мира, например эвенкийский, в котором отлож. падеж на *-дук* содержит показатель отлож. падежа *-ду* и направ. падежа *-к*. При реконструкции нельзя не учитывать и общие универсальные линии семантического развития. Так, например, в различных языках на базе значения перфекта нередко развивается модальное значение неочевидности действия (ср. тюркские языки, аварский, таджикский, болгарский, албанский и др.).

Реконструируемые лингвистические модели исходной языковой системы, если они претендуют на отражение реально существовавшего в пространстве и времени языка, должны находиться в полном соответствии с типологически выводимыми универсальными закономерностями языка, устанавливаемыми индуктивно или дедуктивно на основе сопоставления множества различных языковых структур. Исследования показывают, что не меньшее значение, чем соответствие системы синхронным типологическим данным, при оценке реальности постулируемой системы имеет соответствие ее диахронической типологии (см. раздел "Лингвистическая типология и праязыковая реконструкция" настоящего издания).

Проблема соотношения сравнительно-исторических и типологиче-

ских исследований оформилась в самостоятельный раздел современного языкознания. "Внутренняя типология", основанная на анализе типов отношений внутри родственных языков, с целью реконструкции стала использоваться в последнее десятилетие. Историко-типологические исследования группы родственных языков только начинаются и пока не ставят перед собой задачу реконструкции прасостояния. Вместе с тем в самое последнее время появилось несколько работ советских ученых, в которых на материале германских и славянских языков осуществляется разработка метода "внутренней типологии" [ИТМГЯ, 1977—1978].

В качестве показателя перспективности "внутренней типологии" для реконструкции можно сослаться на опыт реконструкции отношений рефлексов исчезнувших во всех родственных языках элементов. Исследование отношений рефлексов редуцированных в славянских языках показало, что все они подводятся под четыре основных типа отношений, хронологическая иерархия которых легко поддается восстановлению. Анализ соотношения установленных типов на временной и пространственной осях, с одной стороны, и внутри фонологической системы каждого славянского языка — с другой, позволил реконструировать исходное состояние, динамику и механизм не только падения редуцированных, но и саму смену отношений, трансформацию установленных типов отношений. Или другой пример: реконструкция различных синтаксических единиц в тюркских языках в значительной степени облегчается тем, что все тюркские языки являются языками ярко выраженного агглютинативного типа.

Использование типологических черт особенно надежно, когда они являются продолжением типологических особенностей праязыка определенной семьи языков. Так, например, характерные типологические особенности тюркских языков отражают особенности тюркского праязыка. Типологические приемы, разработанные на материале группы родственных языков, помогают установлению относительной хронологии праязыковых архетипов, выделению ранних и более поздних праязыковых состояний.

Твердый закон порядка слов "определение + определяемое" проявляется в структуре всех синтаксических категорий. Способность имен существительных выступать в роли определения и отсутствие согласования с определяемым явились основой для развития в тюркских языках особого типа словосочетаний — изафета. На базе отношений "существительное + существительное" (т.е. "определение + определяемое") развивались в тюркских языках притяжательные аффиксы, синтаксические конструкции по II типу изафета. Ср. тур. *kebar kokuları* 'запахи шашлыка=шашлычные запахи'. Тотальная распространенность во всех тюркских языках II типа изафета, развивающегося на базе значения принадлежности, указывает на его архаичность.

Развитие III типа изафета, соотносимого с более поздним периодом тюркской праязыковой общности, связано с развитием категории определенности. Действием закона "определение + определяемое" объясняется типичная для агглютинативных языков препозиция род. падежа, имеющая в ряде языков артиклевые функции.

Конечная позиция глагола в тюркских языках и вытекающая отсюда препозиция дополнения, включая развернутые конструкции, обусловлены тем же законом порядка слов "определение + определяемое". Появление объектных конструкций с вин. падежом — явление, очевидно, более позднее, связанное с расчленением спаянного словосочетания, с историческим развитием категории определенности/неопределенности.

Таким образом, учет совокупности характерных, повторяющихся в группе языков признаков, составляющих их типовые особенности, помогает в сравнительно-исторических исследованиях [Ярцева, 1965, 109; Серебrenников, 1983, 287—295].

Одной из важнейших особенностей компаративистики следует считать наметившийся переход от реконструкции статической к реконструкции динамической. Динамическая реконструкция привела к новому осмыслению раннего состояния праязыка, который, не переставая быть конструктором и не будучи в состоянии приобрести статус естественного языка, наделяется временными и пространственными параметрами.

Таким образом, к реконструируемой системе праязыка современная наука предъявляет требование динамизма, т.е. она должна быть развивающейся на оси времени и пространства. В таком случае и праязык должен мыслиться как пространственно-временной континуум родственных диалектов, связанных между собою относительной общностью не только исходного материала, но и исходных импульсов, общностью действующих в нем тенденций развития⁶. Динамизм такой модели праязыка проявляется в конвергентно-дивергентном развитии.

Современные методы компаративистики в принципе дают возможность не только реконструировать праязыковую систему для праязыкового состояния эпохи распада, но и судить о том, как могла сложиться такая система до этой эпохи и как она развивалась на оси времени и пространства отдельно в каждом из родственных языков. Полувековое развитие диахронической фонологии уже позволяет реконструировать динамическую систему фонологического яруса языка, а не только адекватно описать ранее полученные результаты.

Для современной компаративистики характерно весьма значительное расширение хронологических рамок праязыка. Если раньше в центре внимания находилась судьба праязыкового наследия в родственных языках, развитие языка от праязыкового состояния эпохи распада до наших дней, то на современном этапе мы имеем дело с реконструкциями, идущими от праязыкового состояния в глубокие века, с анализом того, как сложилась праязыковая система.

С точки зрения классической компаративистики с ее моделью

⁶ Вопрос о праязыке трактуется в индоевропестике неоднозначно. Ср., например, высказывание В.П. Шмида о том, что так называемый индоевропейский язык-основа "является лишь инвентарем абстрактных формул, с которыми сопоставляются соответствия отдельных индоевропейских языков" [Schmid, 1978, 4].

родословного древа, чем дальше проникновение в глубь веков, тем меньше должны быть диалектные различия. Открытие и дешифровка древних текстов на языках, которые после их истолкования были определены как индоевропейские, показали несостоятельность таких взглядов. Дешифровка древних хеттских, лувийских, тохарских и крито-микенских текстов, датируемых эпохой, наиболее близкой к эпохе предполагавшейся языковой общности, привела к неожиданным результатам. Вместо искомой близости этих языков к реконструируемому праязыковому состоянию и между собой обнаружилась полная самостоятельность языков, к тому же разделявшихся на диалектные ветви. То обстоятельство, что некоторые из этих языков (например, хетто-лувийские) оказались по своей структуре намного дальше от реконструируемого до того праязыка, чем уже известные классические индоевропейские языки, усилило предположение об изначальной полидиалектности общиндоевропейского языкового состояния. Это в свою очередь позволило намного дальше отодвинуть дату возникновения и становления индоевропейского праязыка.

Известны два пути восстановления древнейших этапов языкового состояния. И оба они сохраняют в равной мере свое значение. Первый путь — более традиционный, основан на внешней реконструкции и жестко ограничен эпохой распада. "В глубь истории самого праязыка, несомненно имевшего за собой длительное прошлое, мы проникнуть вообще не можем... по той простой причине, что мы не знаем никакой другой величины, с которой можно было бы сопоставить индоевропейский праязык, — не знаем другого праязыка, который вместе с ним образовался бы из общего более древнего источника", — писал в свое время ученик Ф.Ф. Фортунатова В.К. Поржезинский [1914, 5].

Это положение полностью сохраняет свою силу и по сей день: "Пользуясь данными только тюркских языков, нельзя реально представить состояние тюркских языков глубже VII в. н.э." [Кононов, 1977, 23]. Отсюда вытекает необходимость поиска более отдаленных родственных связей. Так были заложены и предпосылки урало-алтайской гипотезы, а в конечном счете и ностратической концепции, стремящейся обосновать отдаленное родство нескольких языковых семей. Хронологически ностратический праязык, однако, неизбежно сближается с возникновением человеческой речи вообще. В связи с этим встает новая проблема: правомерна ли экстраполяция наших представлений о языке, основанных преимущественно на изучении современных языков, на эпоху, граничащую со становлением и начальным периодом развития членораздельной человеческой речи? По некоторым современным данным, со времени ее возникновения насчитывается не более 30—40 тыс. лет [Поршнев, 1974, 370; Liebermann, 1975, 174; Уайт, Браун, 1978, 95 и след]. Звучащая членораздельная речь относительно немного старше самостоятельной письменной истории языков Передней Азии и Египта (ок. 5 тыс. лет), индоевропейских (4 тыс. лет) и китайского языка (3 тыс. лет). Со времени же неолитической революции и связанного с ней демографического взрыва прошло всего 10 тыс. лет. Тем самым реконструк-

ция праязыкового состояния не может быть хронологически произвольной, она имеет жесткие временные пределы, поставленные эволюцией человека и человеческого общества.

Второй путь внутренней реконструкции в принципе диахроничен и не связан со строго определенной хронологической плоскостью данной эпохи, с его помощью анализируются следы и реликты следов предшествующих систем, предшествующих языковых состояний — ведь даже самые отдаленные во времени языковые явления проявляются в реликтовых чертах, которые выступают в различной степени консервации или переразложения и затемнения этих черт. Степень системной и позиционной обусловленности языкового явления тем менее ощутима, чем отдаленнее во времени его генезис. Ср. в русском языке чередования *луга* — *лу[к]*, *несу* — *нёс*, *день* — *дня*, *но тень* — *тени*; *пою* — *петь*, *вести* — *воз*. Если первое регулярно и полностью обусловлено позицией, то последние уже никак позиционно не объяснимы не только процессами в русском, но и в праславянском языке. Более того, оно восходит к явлениям, выходящим за рамки распада праиндоевропейского языка (или индоевропейского праязыка). Тем самым внутренняя реконструкция дает возможность углубиться за пределы эпохи распада праязыка.

Важнейшей особенностью современной компаративистики является множественность возможных решений конкретных задач реконструкции. В свое время младограмматиков поражала именно схожесть получаемых результатов. Так, в начале XX в. Э. Герман писал: "Необходимо поэтому заняться исследованием того, почему мы с помощью нашего метода реконструкции всегда приходим к одинаковому результату" [Hermann, 1907, 11].

Мы не ошибемся, если выскажем мнение, что именно эта характерная черта компаративистики стала важнейшим фактором превращения лингвистики в строго научную дисциплину. Благодаря ей стало возможным целенаправленное собирание и обобщение огромного материала. Сейчас нас не поражает множественность решений, многообразие результатов, неединственность реконструкций. Хотя все, как кажется, пользуются, в общем, одними и теми же методами исследования, теми же исходными фактами, наблюдается несхожесть получаемых результатов. По многим проблемам науки приходится иметь дело с несколькими равновероятными решениями, при этом число новых решений имеет тенденцию к возрастанию, в то же время вероятность совпадения с реальной действительностью каждого из них обратно пропорциональна их общему числу.

Множественность решений нередко возводится в один из важнейших постулатов современного языкознания вообще. Оставляя в стороне субъективно-идеалистическую трактовку возможности нескольких решений на основании принципа "удобства описания", необходимо отметить, что реальная возможность различных решений объясняется прежде всего различием объема фактического материала.

При процедуре внешней реконструкции результат зависит преж-

де всего от количества сравниваемых языков. Введение новых данных, полученных после дешифровки индоевропейских языков Малой и Центральной Азии, палеобалканского ареала и некоторых других, в сравнительную грамматику индоевропейских языков с неизбежностью привело к изменению характера реконструируемого праиндоевропейского языка. К аналогичным результатам приводит и смена модели — эталона реконструируемого праязыка. Так, например, реконструируемый праиндоевропейский язык получил иной вид в связи с процессом детронизации долго служившего таким эталоном санскрита.

Для процедуры внутренней реконструкции, как отметил Е. Курилович, сам выбор одного из родственных языков в качестве исходного материала этой реконструкции является фактором первостепенной важности. В сущности, от этого зависит характер реконструируемого праязыка. Дальнейшим необходимым этапом исследования должно стать наложение результатов внутренней реконструкции, полученных на материале всех, а не какого-либо одного из родственных языков, на единую праязыковую плоскость. Иначе может создаться впечатление простой замены санскрита ведическим либо хеттским эталоном.

Вместе с тем понятие архаичной модели, когда при реконструкции один язык (или группа языков) рассматривается как некий эталон праязыкового состояния, нередко остается весьма расплывчатым в теоретическом отношении. Подобная методика реконструкции, имеющая широкое распространение в некоторых отраслевых подразделениях компаративистики (например, в кавказоведческих исследованиях) страдает существенным недостатком. Разумеется, среди генетически родственных языков одни из них могут составлять зону консервации, а другие — зону инновации. Однако с рассматриваемой точки зрения различны разные языковые группы, а само понятие живой "праязыковой" модели весьма относительно. Дело в том, что во многих случаях архаизмы и инновации охватывают лишь отдельные подсистемы, в том числе фонологического строя.

Несмотря на то что внешняя и внутренняя реконструкции составляют две стороны одного и того же метода, имеющего дело с материалом родственных элементов, охват объема фактического материала в обоих случаях неадекватен, что может обусловить различие решений. Так, исходя из данных внешней реконструкции в праиндоевропейском восстанавливается семь падежей и одна звательная форма, тогда как по данным внутренней реконструкции представлены три падежа.

Противоречивой оказалась и устанавливаемая методом внешней и внутренней реконструкции хронология многих явлений. С точки зрения первой с неременной моделью родословного древа, явления, совпадающие в разных языках, относятся к периоду первоначальной общности, к праязыку, в то время как с позиций внутренней реконструкции эти же явления во многих случаях оказываются результатом позднего самостоятельного развития, параллельно сформировавшимися в разных языках. Так, например, сатемовая палатализация, разделяющая всю индоевропейскую языковую область на две изоглоссные

зоны на основании приемов внешней реконструкции, считается одной из самых ранних диалектных черт праиндоевропейского языка, а на основании данных внутренней реконструкции — следствием параллельного развития в отдельных ветвях праиндоевропейского. В связи с такого рода противоречиями в установлении хронологии отдельных процессов противоречива и хронология обособления отдельных праязыков. Например, временем обособления праславянского одни (В.И. Георгиев) считали начало II тысячелетия до н.э., а другие (З. Штибер) — начало I тысячелетия н.э.

Преимуществом внутренней реконструкции можно назвать то, что с ее помощью может быть восстановлено такое явление, которое отсутствует во всех родственных языках и не может быть восстановлено приемами внешней реконструкции. В таком случае, как мы уже отмечали выше, необходимо обращение к внешней типологии.

В свое время оригинальный способ снятия противоречий между данными внутренней и внешней реконструкции предложил Э. Стёртевант. Он ввел два синхронных среза — соответственно два индоевропейских праязыка: поздний, отвечающий внешней реконструкции К. Бругмана без ларингалов, и более ранний с ларингалами, реконструируемыми с помощью внутренней реконструкции тех же данных, подтвержденных Е. Куриловичем на материале хеттского языка. Вполне в духе классической компаративистики Э. Стёртевант рисует картину распада праиндо-хеттского на прахетто-лувийский с сохранением ларингалов и праиндоевропейский уже без ларингалов, следы которых все же наличествуют в поздних индоевропейских языках.

Неоднозначность решений может объясняться различием глубины реконструкции. При прочих равных условиях несколько равновероятных решений могут отражать различные этапы в развитии той же системы либо диалектное различие праязыковой области, стертое последующими процессами интеграции праязыковых диалектов под влиянием действия общих тенденций развития. Так, сравнительная грамматика славянских языков предлагает реконструкцию нескольких систем вокализма для исходного праславянского состояния. И ни одной из них нельзя отдать предпочтения; все они могут развиваться в сторону славянского языкового типа, порождая с большей или меньшей легкостью известные фонетические процессы, составившие специфику славянских языков, обусловив их отличие от других индоевропейских языков и друг от друга. Они вполне могут отражать различие глубины реконструкции и различие тех родственных диалектов, которые входили в протославянскую изоглоссную область.

Говоря об использовании всех рассмотренных приемов в компаративистике, нельзя исключить возможные противоречия между результатами, полученными с помощью внутренней и внешней процедуры, относительной хронологии и данными внешней типологии, универсалий и фреквенталий. Лишь на том основании, что пятичленная треугольная система вокализма встречается наиболее часто, нельзя делать вывод о малой вероятности дальнейшего преобразования такой системы в реконструируемом праязыке. Отсутствие того или иного

явления в зафиксированных языках и диалектах еще не означает невозможности его реконструкции в прасостоянии. Так, при обсуждении количества рядов заднеязычных в праиндоевропейском с опорой на данные типологии стали склоняться к мысли о невозможности в нем трех рядов гуттуральных. Позже, однако, все три ряда гуттуральных были обнаружены в одном из живых индоевропейских языков [Эдельман, 1973, 540—546]. Более того, сам характер отношений между этими тремя рядами в свете данной типологии реконструируется иначе. Первостепенное значение данных типологии с ее прогностической способностью [Якобсон, 1963, 102] в сравнительно-исторических исследованиях было, очевидно, преувеличено, и до сих пор мы встречаем работы, в которых данные типологии ставятся выше внутренней реконструкции.

Наблюдавшийся в современной компаративистике плюрализм решений делает необходимой разработку объективных критериев отбора одного из нескольких возможных. Эти критерии должны быть подчинены принципу иерархичности соответственно цели реконструкции. Если цель реконструкции — не в восстановлении праязыка как такового, а в раскрытии внутренних закономерностей тенденций развития родственных языков [Жирмунский, 1974, 3] или же в выяснении процессов дивергенции и конвергенции в историческом развитии отдельных языков, восходящих к одному источнику [Макаев, 1978, 88], то развивающаяся динамическая история праязыковой системы призвана объяснить те тенденции, те закономерности, которые обусловили специфику языков данной языковой семьи в их отличии от других родственных и неродственных языков, а также друг от друга.

Иерархия критериев оценки реконструкции представляется следующей: первостепенность системной реконструкции по сравнению с элементарной и динамической, по сравнению со статической. Именно потому, что целью реконструкции является выяснение закономерностей развития родственных языков, следует подчеркивать первостепенность исходных данных материала родственных языков по сравнению с фактами языков неродственных, первоочередность данных внутренней реконструкции по сравнению с данными внешней, данных внутренней типологии по сравнению с данными внешней, собственно сравнительно-исторических данных по сравнению с типологическими.

Исходя из этих же соображений, следует подчеркнуть, что неосознанно постулируемая безграничность пределов лингвистического времени глубины реконструкции праязыка должна быть строго ограничена рамками целесообразности реконструкции. А это означает, что должна быть построена такая динамическая модель праязыковой системы, которая в своем развитии как бы сама собой порождает факты языковой действительности, имеющие отношение к данной группе языков.

В этой связи следуют сказать, что в современном сравнительно-историческом языкознании, несмотря на значительные достижения,

все еще отмечаются в известной мере взаимоисключающие тенденции. С одной стороны, наблюдается значительное расширение границ методов и приемов реконструкции. Ср., например, сближение западнокавказских и восточнокавказских языков с сино-тибетскими языками (наряду с возрастающим интересом в нашей стране и за рубежом к известной гипотезе о родстве указанных кавказских языков с древними анатолийскими языками — хеттским, хурритским и др., подкрепляемой новыми и убедительными лингвистическими, археологическими и мифологическими данными) [Иванов, 1982; 1983, 88—167; Ардзинба, 1985]. С другой стороны, из исследовательской практики не изжито понимание праязыка как абсолютно статичной системы и проецирование в прошлое всех архаизмов и аномалий без их соотнесенности с определенными хронологическими срезами.

Что касается первой тенденции, то выводы исследований зачастую являются спорными в силу того, что постановка вопроса о фонетических соответствиях между сравниваемыми праязыковыми состояниями недостаточно еще подготовлена глубиной и широтой исследовательского анализа языкового материала и методической оснащенностью приемов очень отдаленной реконструкции. Это объясняется отчасти и тем, что остаются неисследованными многие промежуточные звенья между реконструируемой моделью, постулируемой для очень глубокого хронологического уровня, и современными языковыми группами. В этом случае большое количество сравниваемых языков обратно пропорционально степени достоверности реконструируемой модели, хотя, как показывает опыт сравнительно-исторического языкознания, чем больше сопоставляемых генетически родственных языковых единиц, тем выше степень "реальности" исходной праязыковой модели, существовавшей во времени и пространстве. Преодоление трудностей здесь, точнее, положительное или отрицательное решение проблемы возможно лишь путем разработки сравнительно-исторических грамматик всех сравниваемых языковых групп, поэтапной реконструкции их праязыковых состояний, подлежащих анализу для выявления характера их взаимоотношений.

Вторая тенденция, все еще характерная для ряда отраслевых подразделений компаративистики, вообще не имеет перспективы дальнейшего развития ввиду явного анахронизма исходных постулатов. Недостаточная методическая фундированность отдельных частных языкознаний не только делает необязательными и противоречивыми конечные результаты реконструкции, но, что не менее важно, приводит к размыванию границ разных явлений, отнесению всех старых и остаточных форм, включая разного рода аномалии, к одному хронологическому срезу. Это связано с упомянутой выше статической реконструкцией, имеющей распространение среди определенной части специалистов. В соответствии с теорией статической реконструкции для праязыкового состояния допустимо существование, например, одной модели корня или основы. Так, модель западнокавказского корня, в понимании многих специалистов, является образцом статической реконструкции. В основе концепции, согласно которой в западнокавказских языках все типы основ диахронически

восходят к одной-единственной модели (CV), лежит традиционная (индоевропейская) статическая теория корня. Между тем праязык (в данном случае западнокавказский), как и живой современный язык, — категория историческая, т.е. характеризуется временными и пространственными параметрами, имеет длительную историю становления и развития, что исключает существование единственной модели корня (CV).

С постулатами теории статической реконструкции связано также известное гипертрофирование роли старых межгрупповых заимствований в генетически родственных языках при реконструкции фонологической системы. Не стоит специально оговаривать, что старые межгрупповые лексические заимствования нередко служат важной опорой для восстановления утраченных фонем, сохраняя исходные формы в заимствовавшем их языке. Вместе с тем часто недооценивают факторы, обусловленные фонетической адаптацией заимствований. Так, в кабардинизмах (в том числе поздних) абазинского языка вместо заднеязычных спирантов отмечаются ларингальные спиранты. Принято считать, что кабардинизмы проникли в абазинский с исходными ларингальными спирантами, утраченными сравнительно недавно адыгскими языками. Однако в данном случае, по-видимому, мы имеем дело с фонетической адаптацией (субституцией), т.е. с ларингализацией, заднеязычных спирантов. Другое дело — вопрос об историческом соотношении ларингальных и заднеязычных спирантов. Ср. адыг., каб. *гъуы-*, абх. *шъа-*, абаз. *гъуа-* 'сохнуть'; адыг., каб. *хъа-*, убых. *хъа-*, абх., абаз. *хъа-* 'вязать, плести', бесспорно входящие в общий корнеслов. В подобных случаях ларингальные члены звукосоответствий являются исходными для заднеязычных. Однако исходность ларингальных членов указанных звукосоответствий не дает оснований постулировать их для исторического консонантизма всех западнокавказских языков в период после распада праязыкового единства. В соответствии с принципами относительной хронологии ларингальные члены звукосоответствий могут быть отнесены к западнокавказскому хронологическому уровню. Тот факт, что в адыгских языках и диалектах не обнаруживается следов абхазско-абазинских (западнокавказских) ларингальных спирантов, а вместо них всюду представлены заднеязычные спиранты, говорит в пользу того, что утрата старых ларингалов имела место уже в эпоху общеадыгского языкового единства. Это положение подтверждается материалом убыхского языка, в котором старым (западнокавказским) ларингалам соответствуют заднеязычные спиранты.

Известным достижением в теории реконструкции следует считать разработки отечественных языковедов в области сравнительно-исторического синтаксиса. До недавнего времени при попытке создания синтаксического архетипа в процедуре реконструкции не только не доставало исторического движения, но и отсутствовал какой-либо показ исторической изменчивости синтаксических категорий и соответственно отсутствовал и историзм в осмыслении современной синтаксической системы, не использовался принцип структурной

взаимосвязанности основных синтаксических категорий, принцип системности на синтаксическом уровне.

Реконструкция синтаксического архетипа на материале тюркских языков являет пример использования комплексной методики, включающей классический сравнительно-исторический метод, приемы ареальной лингвистики, системного анализа и общей типологии. Исследование показало, что абстрактные модели словосочетаний и предложений не могут быть синтаксическими архетипами. Семантическое содержание архетипа должно иметь определенную морфологическую опору. Выделение морфологической опоры не только обеспечивает определенную паспортизацию выбранной синтаксической конструкции, но и дает возможность выявить историческое развитие, изменение этой синтаксической единицы.

Применение комплексной методики при синтаксической реконструкции структуры зависимых трансформ на материале тюркских языков позволило сформулировать следующие выводы:

1) выяснение степени распространенности зависимых трансформ с формирующими членами *-ган*, *-ан*, *-ѣк* и *-мыш* показывает, что они имеют зональные ограничения и эти трансформы нельзя отнести к периоду пратюркской общности. Зависимые трансформы с формирующим членом *-ган* встречаются в языках кыпчакского ареала, в огузских языках им соответствуют зависимые трансформы на *-ан*, которые в них представлены неравномерно. Характерные главным образом для азербайджанского языка, в турецком они уступают по своей употребительности продуктивно развивающимся конструкциям с *-ѣк*. Если распространение той или иной синтаксической модели территориально ограничено, то это чаще всего служит показателем того, что модель возникла позднее в ограниченной зоне. В эпоху существования праязыка ее не было. Здесь приходят на помощь приемы ареальной лингвистики;

2) сравнительно-исторический метод позволяет установить историческую стратиграфию зависимых трансформ с формирующими членами, т.е. выявить историческую неодновременность их оформления. Так, например, хронологически более ранними по своему образованию являются зависимые трансформы с *-ган*;

3) при воссоздании истории возникновения зависимых трансформ следует пользоваться филологическим методом — учитывать материал конкретных исторических памятников. Однако, как показывают наблюдения, материал памятников не дает единообразия в отношении зависимых трансформ, поскольку сам язык памятников неоднороден, отражает особенности диалектов, существовавших уже в эпоху появления этих памятников;

3) при изучении истории образования зависимых трансформ необходимо учитывать стремление к распространенному простому предложению, а также тот факт, что зависимые трансформы особенное развитие получают в письменной речи;

4) в целях синтаксической реконструкции могут быть использованы и типологические особенности семьи родственных языков. Если углубление в историю, например, тюркских языков не дает

никаких свидетельств о том, что в древности морфологический тип был иным, то на этом основании можно приписать эти же особенности тюркскому праязыку, который, очевидно, был языком агглютинативного типа. Языкам же этого типа присущи определенные специфические синтаксические черты (закон твердого порядка слов "определение + определяемое" и др.) — черты, помогающие в процедуре синтаксической реконструкции;

б) при синтаксической реконструкции используются данные, касающиеся общих типологических особенностей синтаксического строя языков мира в древнюю эпоху (ср. преобладание простого предложения и проч.).

В последнее десятилетие разработка приемов синтаксической реконструкции касается больше структуры простого предложения. Здесь историческое исследование и реконструкция предложений на материале, например, неиндоевропейских языков производится по двум основным параметрам: 1) выявить структурные модели, структурные схемы, архетипы предложений и 2) детально обследовать семантику и лексику слов, заполняющих в моделях их структурообразующие места, в первую очередь субъекта и предиката.

Теория реконструкции, развивающаяся на современном этапе, характеризуется прежде всего тем, что приемы ее опробованы на всех уровнях языка (см. разделы данной монографии).

Отечественной компаративистике принадлежит приоритет в создании приемов семантической реконструкции. Приемы семантической реконструкции — это учет накопленного опыта, неизменный здравый смысл, компетентность в типологии формирования близких значений в разных языках, и все это — на фоне знания формально-этимологических приемов или принципов, на которых должны основываться вся сравнительная грамматика и все общее языкознание. В отечественном языкознании разработаны новые подходы и приемы реконструкции лексического состава праязыков, значительно продвинуты разработки, касающиеся акцентологической реконструкции.

В современных исследованиях теории реконструкции большое внимание уделяется тому, чтобы приемы реконструкции носили комплексный характер, чтобы использовались все возможные подходы, в том числе и косвенные данные, и данные ареальной лингвистики, и экстралингвистические данные, и проч.

Современный этап развития компаративистики характеризуется тем, что рабочие приемы реконструкции активно используются на материале самых разнообразных групп языков мира — от кавказских и тюркских до дравидийских.

Если в создании исторических грамматик отдельных генетически родственных семей языков мира сравнительно-исторический метод оказывается универсальным, то это еще не означает, что удельный вес рабочих приемов реконструкции одинаков для всех языковых семей. Напротив, в ряде языковых семей, где отсутствуют ранние письменные источники, при реконструкции ведущим оказывается прием внутренней реконструкции.

В предлагаемой читателю монографии осуществлена попытка обобщить имеющийся в современном языкознании опыт разработок в области основной процедуры компаративистики — реконструкции, показать теорию реконструкции на материале различных языковых семей мира. Исследование включает следующие разделы : "Введение. Современные проблемы теории реконструкции" (доктора филол. наук Н.З. Гаджиева, В.К. Журавлев, М.А. Кумахов, В.П. Нерознак); "Праязык: реконструкт или реальность?" (докт. филол. наук В.П. Нерознак); "Реконструкция праязыковых изоглосс общиндоевропейского диалектного континуума" (докт. филол. наук О.С. Широков); "Внутренняя реконструкция" (докт. филол. наук В.К. Журавлев); "Праязык: ближняя и дальняя реконструкция" (канд. филол. наук И.В. Кормушин); "Реконструкция и экстралингвистические данные" (докт. филол. наук А. Рона-Таш); "История языка, письменности и письменные памятники" (докт. филол. наук Д. Кара); "Филологические методы в исследовании истории кельтских языков" (канд. филол. наук А.А. Королев); "Реконструкция по косвенным данным" (акад. Б.А. Серебренников); "Лингвистическая типология и праязыковая реконструкция" (акад. Т.В. Гамкрелидзе); "Типологическая реконструкция" (канд. филол. наук В.А. Виноградов); "Соотношение приемов сравнительно-исторических и ареальных исследований при реконструкции" (докт. филол. наук Н.З. Гаджиева); "Системность трансформации индоевропейских архетипов как критерий их одноплоскостного существования" (докт. филол. наук Э.Г. Туманян); "Приемы семантической реконструкции" (чл.-кор. АН СССР О.Н. Трубачев).

ПРАЯЗЫК: РЕКОНСТРУКТ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Предпосылки создания теории праязыка. Сравнительно-историческое изучение языков является одним из наиболее продвинутых лингвистических разделов как по глубине проникновения в механизм исторического развития языков, так и по разработанности его методических приемов, понятийного аппарата и терминологии, установлению законов, обладающих достаточной объяснительной силой. В настоящее время можно с уверенностью констатировать, что на основе метода исторического сравнения (межъязыкового и внутриязыкового) в рамках лингвистической компаративистики сформировалась фундаментальная лингво-историческая теоретическая дисциплина — диахроническая лингвистическая компаративистика [Нерознак, 1986].

Одним из центральных вопросов теории диахронической лингвистики и общей теории реконструкции до сих пор остается проблема воссоздания дописьменного (а для лингвистики это значит доисторического) предшествующего языкового состояния — праязыка. При этом, пользуясь точками отсчета лингвистического времени, т.е. времени появления звучащей человеческой речи [Liebermann, 1984], лингвист реконструирует праязыковое состояние различной хронологической глубины. И чем дальше отстоит от нас проецируемая во времени плоскость, на которую накладывается сетка языковых данных, тем более гипотетической становится реконструируемая праязыковая модель. Общеславянский праязык (праславянский язык) предстает как верифицируемая языковыми фактами реальность, по сравнению с которой индоевропейский праязык должен уже рассматриваться как гипотетическое построение, верификация которого значительно усложняется из-за неоднородности и различной временной расположенности данных.

На начальном этапе развития сравнительно-исторического языкознания на примере изучения индоевропейских языков были сформулированы основные цели: 1) генетическая атрибуция и классификация языков — путем установления системы соответствий на разных уровнях, прежде всего в фонетике и морфологии, дополняемых исходными лексическими параллелями, выявлялись родственные связи между языками, определялась их принадлежность к определенной генетической общности (группе, ветви, семье); 2) инвентаризация языковых показаний — на основе устанавливаемых соответствий между языками создавались компендиумы систематизированного материала: сравнительно-исторические грамматики группы и семьи языков и этимологические словари языков, групп языков, языковых семей, 3) реконструкция праязыковых состояний — добытые историко-лингвистические сведения

служили базой для построения модели исторически не засвидетельствованных праязыковых состояний (праязыков)¹.

Теория реконструкции праязыковых состояний была разработана на материале индоевропейских языков, но в настоящее время успешно развивается и на материале других языковых общностей в смежных разделах исторической компаративистики — кавказоведении [Климов, 1986; Кумахов, 1981], тюркологии [Серебренников, Гаджиева, 1986; Щербак, 1970; 1977], финно-угроведении [Хайду, 1985], африканистике [Порхомовский, 1982; Охотина, 1982].

В современных лингвистических словарях в определении термина "праязык" отражаются два понимания сущности праязыка. Одно из них определяет праязык как абстрактную модель, которая носит гипотетический характер: "Праязык (язык-основа). Древнейший из ряда генетически связанных языков как объект сравнительно-исторических реконструкций: абстрактная модель, мыслимая как источник всех остальных языков, развившихся на ее основе в одну семью или группу. Праязык общерусский; праязык общеславянский; праязык славяно-балтийский; праязык индоевропейский" [Ахманова, 1966, 344]. Как следует из приведенной дефиниции, индоевропейский праязык определяется как гипотетический общий язык индоевропейцев, восстанавливаемый сравнительно-историческим методом. Такое определение ориентировано на точку зрения исследователей исторического состояния языков, полагающих, что праязык можно реконструировать лишь как некую модель, сумму доступных на данном этапе языковых реконструкций, но не как реальное языковое состояние.

Другой подход заключается в том, что праязык — это существовавшее в прошлой реальности языковое состояние: "Праязык, язык-основа, язык-предок...

В классификации языков по семьям так называют язык, из которого нормальным путем возник тот или иной рассматриваемый язык: латинский является языком-предком для французского ... причем язык-потомок представляет собой не новый язык, а новое состояние эволюционировавшего языка" [Марузо, 1960, 223]. Такое понимание праязыка предполагает реальное его существование в прошлом.

Указанное различие подходов восходит ко времени формирования теории праязыковых состояний. Становление и развитие сравнительно-исторического языкознания и его методики связано с трудами Ф. Боппа, Я. Гримма, Р. Раска и др. Им принадлежит заслуга научного доказательства родства индоевропейских языков и установления закономерностей сходства и различий между ними.

Первое теоретическое обоснование модели праязыкового индоевропейского состояния было предпринято в середине XIX в. А. Шлейхе-

¹ В этой связи интерес представляют задачи, выдвигаемые В.Н. Топоровым перед балтийским сравнительно-историческим языкознанием. Первым среди них названо "создание сравнительно-исторической грамматики балтийских языков, в которой акцент делался бы не на сопоставлении фактов трех балтийских языков (обычно без определения внутренней ценности сопоставляемых фактов), а на проблеме реконструкции более древнего балтийского состояния, не совпадающего с реально засвидетельствованным" [Топоров, 1981, 15].

ром в ряде его работ. В широко известном "Компендиуме по сравнительной грамматике индоевропейских языков" (1861—1862) А. Шлейхер, исходя из теории эволюционного развития живых организмов Ч. Дарвина, выдвинул теорию развития индоевропейских языков в виде родословного дерева. Согласно этой теории общий ствол изображал "первичный организм" праязыка, который в процессе развития разделился на ветви. Большие ветви делились на более мелкие ответвления. "Языки, возникшие первыми из праязыка, мы называем языками-основами; почти каждый из них дифференцируется в языки, а языки могут далее распадаться на диалекты и диалекты — на поддиалекты.

Все языки, происходящие из одного праязыка, образуют языковой род, или языковое дерево, которое затем делится на языковые семьи, или языковые ветви" [Шлейхер, 1964, 109]. Учитывая все многообразие языков мира, Шлейхер утверждал, что "невозможно установить общий праязык для всех языков, скорее всего существовало множество праязыков" [там же, 108]. Представленный в теории родословного дерева индоевропейский праязык, по словам Шлейхера, "живой, как все естественные организмы", имел вид целостного, гомогенного языкового состояния, не расчлененного на диалекты. В то же время языковая реальность противоречила столь идеальному прообразу древнейшего языкового состояния. Формы существования живого языка изобиловали различными его вариантами, представленными диалектами, поддиалектами, говорами, наддиалектными койне, социальными диалектами и т.д. Выдвинутая Шлейхером теория родословного дерева как реального реконструируемого праязыка получила в истории лингвистики название "парадигма Шлейхера" [Koerner, 1982].

Несоответствие между моделью праязыка, предложенной Шлейхером, и языковой/диалектной реальностью привело к построению новой модели праязыкового состояния, так называемой теории волн. Обычно ее автором называют ученика Шлейхера — И. Шмидта, опубликовавшего в 1872 г. работу "Родственные отношения индоевропейских языков" [Schmidt, 1872]. Однако, как отметили историки лингвистики, на четыре года раньше Г. Шухардт в исследовании "Вокализм в вульгарной латыни" уже высказал основные идеи "теории волн" [Maurohofer, 1983]. Пытаясь раскрыть механизм членения генетически однородного языкового континуума, Шухардт отметил: "Мы думаем о языке в его единстве как о водоеме с зеркально гладкой поверхностью; приведенный в движение, он проявляет себя таким образом, что в разных местах образуются волновые центры, системы которых в зависимости от идентичности воздействующей силы пересекаются в большем или меньшем объеме" [Schuchardt, 1868, 34].

Теория родословного дерева и "теория волн", как основные концептуально обоснованные праязыковые модели, стали на длительное время исходными построениями, от которых отталкивались ученые в последующих поисках разрешающей концепции праязыкового состояния. Спор, начатый во второй половине XIX в. по поводу того, как надо понимать праязык: как некое моделируемое на единой временной плоскости полидиалектное пространство (статическая "волновая" модель Шмидта—Шухардта) или же праязык, непрерывно разрастаю-

щийся, движущийся во времени и дробящийся на языки (соответственно диалекты) языковой организм (динамическая модель А. Шлейхера), — имел важное значение не только для дальнейшего развития сравнительно-генетических исследований, но и для становления общей теории языка. Можно предположить, что дихотомическое построение "язык — речь" и "синхрония — диахрония" в теории Ф. де Соссюра возникло под влиянием сопоставления двух основных моделей реконструкции праязыковых состояний — родословного дерева как модели диахронической и "теории волн" как модели синхронической. Намеки на это обнаруживаются уже в его работе "Мемуар в первоначальной системе гласных в индоевропейских языках" [Соссюр, 1977].

Значительно скромнее вклад в теорию праязыковых состояний младограмматиков, занимавшихся накоплением и систематизацией данных в области сравнительной фонетики, морфологии, синтаксиса [Brugmann, Delbrück, 1897—1916]. Как отмечает Э.А. Макаев, слабым местом в их теории было отсутствие общей концепции статуса и эволюции общеиндоевропейского языкового типа. Многие факты языка соплагались младограмматиками без учета пространственной и хронологической соотнесенности языковых явлений. При этом индоевропейский праязык выступал как своего рода "складочное место" для отобранных регулярных образований, а также аномалий отдельных индоевропейских языков, вследствие чего праязыковая историческая перспектива, в сущности, утрачивалась [Макаев, 1977, 15].

Вместе с тем нельзя согласиться полностью с Э.А. Макаевым в том, что у младограмматиков отсутствовала теория праязыкового состояния. Так, у Б. Дельбрюка мы находим целый ряд оригинальных высказываний, которые свидетельствуют о том, что младограмматики, говоря о праязыке, понимали его не как застывший конструкт, а как развивающееся во времени состояние. Так, например, размышляя о развитии праязыка, Дельбрюк подчеркивал: "... в большей степени, чем Шлейхер, мы сознаем то, что законченный индоевропейский флективный язык имел за собой долгий путь развития" [Дельбрюк, 1964, 219]. Он же отметил, что "мы в наших реконструкциях ставим рядом такие этапы развития звуков, которые не все были одновременны друг с другом" [там же, 220]. Из этих высказываний становится ясным, что хотя младограмматики и провозглашали тезис о непреложности (безысключительности) фонетических законов, они уже понимали, что реконструируемые ими праформы конвенциональны, и уже вплотную подходили к понятию динамической реконструкции праязыковых явлений и праязыка в целом.

По-иному подходил к проблеме праязыковых состояний Ф.Ф. Фортунатов, которого интересовала не однолинейная (одноплоскостная) реконструкция праязыка, а исторические этапы последовательного развития языков.

В возможность и необходимость реконструкции праязыковых состояний верили не все лингвисты. Выдающийся французский языковед А. Мейе пришел к выводу о тщетности попыток воссоздания праязыкового состояния: "Путем сравнения невозможно восстановить исчезнувший язык: сравнение романских языков не может дать точного

и полного представления о народной латыни IV века н.э., и нет оснований предполагать, что сравнение индоевропейских языков дает большие результаты. Индоевропейский язык восстановить нельзя" [Мейе, 1938, 74]. Скептицизм А. Мейе разделяли итальянские неолингвисты Б. Террачини, Дж. Бонфанте, Дж. Девото, В. Пизани, которые полностью отказались от понятия "праязык" на всех диахронических уровнях, как праязыков первого порядка — общеиндоевропейского, так и вторичных праязыков — общегерманского, общеславянского и т.п., и заменили его определенной совокупностью изоглосс. Тем самым они считали, что речь должна идти не о реконструкции праязыкового состояния той или иной семьи языков, а лишь о реконструкции системы междиалектных (межъязыковых) сходжений-изоглосс.

Против возможности реконструкции праязыка активно выступал Н.Я. Марр, по словам которого "единый праязык есть сослужившая свою службу научная фикция" [Марр, 1937]. Реальность, фикция, алгебраическая формула, рабочая гипотеза, реконструкт — таков диапазон оценки понятийного содержания праязыка.

В этой научной контрверзе привлекает внимание высказывание известного русского компаративиста, ученика Ф.Ф. Фортунатова, В.К. Поржезинского: "Индоевропейский праязык не есть фикция, не есть, с другой стороны, только рабочая гипотеза, он — реальная величина, не уложенная еще вполне в надлежащие хронологические и диалектные рамки" [Поржезинский, 1914, 5].

Противоположные друг другу взгляды на праязык продолжают сохраняться и в современной компаративистике. Названный И. Шмидтом фикцией, праязык и сейчас некоторыми учеными расценивается как не поддающаяся воссозданию языковая величина. Известная французская исследовательница древнейших связей индоевропейских языков Ф. Бадер задается вопросом, не является ли попытка детальной реконструкции индоевропейского праязыка вообще миражем, поскольку мы даже не знаем, существовала ли в индоевропейском форма для личного местоимения "я" [Bader, 1983, 37].

С другой стороны, подвергнутая в свое время суровой критике попытка А. Шлейхера восстановить прототекст индоевропейской басни удивительным образом повторилась уже на новом уровне историко-лингвистических знаний в XX в. В качестве примера можно назвать работы по реконструкции поэтических и мифологических текстов, текстов древнего юридического индоевропейского права Р. Шмита, К. Уоткинса, В.В. Иванова и В.Н. Топорова. Наконец, эпиграфом к ностратическому словарю В.М. Иллича-Свитыча послужило реконструируемое им изречение из четырех строк на ностратическом праязыке, еще более древнем языковом состоянии, чем индоевропейский праязык у А. Шлейхера, что было воспринято довольно спокойно.

Своеобразной попыткой объединить обе парадигмы теории праязыка — парадигму А. Шлейхера и парадигму И. Шмидта и Г. Шухардта — явилась теория "аллогенетического родства" Н.С. Трубецкого, которая привела к открытию нового типа языковой общности — языкового союза. В статье "Вавилонская башня и смешение языков" Н.С. Трубец-

кой, говоря о многообразии национальных языков и культур, считает его следствием "закона дробления". С одной стороны, "язык есть непрерывная цепь говоров, постепенно и незаметно переходящих один в другой", с другой — языки объединяются в "семейства", "ветви", "подветви". Так складываются отношения языковых единиц, объединяющихся генетически, т.е. восходящих исторически к диалектам некогда единого праязыка "данной генетической группы", считает Н.С. Трубецкой, выражая распространенную точку зрения на праязык. Однако далее он излагает новый подход к проблеме генетических общностей.

Согласно Н.С. Трубецкому, помимо объединения языков в общности на генетических основаниях возможно также группировать языки, обнаруживающие особые сходства в результате длительного соседства или параллельного развития. Для таких групп, основанных не на генетическом принципе, он предлагает название "языковых союзов"². В качестве образца такого "языкового союза" он называет балканские языки — болгарский, румынский и новогреческий. Открыв новый тип языковой общности, которую можно назвать ареальной языковой общностью, он идет еще дальше, утверждая, что "языковые союзы" существуют не только между отдельными языками, но и между языковыми семействами. По его мнению, несколько генетически неродственных друг с другом семейств, находясь в одной географической и культурно-исторической зоне, объединяются рядом общих черт в "союзы языковых семейств" [Трубецкой, 1923, 114 и след.]. К числу таковых он относит "союз средиземноморских языковых семейств" включавших "семейства индоевропейское, семитическое, хамитическое и северокавказское"³.

Из этого Н.С. Трубецкой делает далеко идущие выводы: «Такие "союзы", генетически, по-видимому, друг с другом неродственных лингвистических семейств имеются по всему земному шару. При этом часто бывает, что одно и то же семейство или одиноко стоящий язык принадлежит сразу к двум союзам или колеблется между двумя соседними союзами, играя, таким образом, ту же роль, что и переходные говоры в генетической классификации. Таким образом, принимая во внимание обе возможные группировки языков, генетическую (по семействам) и негенетическую (по союзам), можно сказать, что все языки земного шара представляют некоторую непрерывную сеть взаимно переходящих друг в друга звеньев, как бы радужную. И именно в силу непрерывности этой языковой радужной сети и в силу постепенности переходов от одного ее сегмента к другому общая система языков земного шара при всем своем пестром многообразии представляет все же некоторое, правда только уопостижаемое, единое целое. Таким образом, в области языка действие закона дробления приводит не к анархическому

² Широко распространенное мнение о том, что Н.С. Трубецкой впервые высказал идею "языковых союзов" на I Международном конгрессе лингвистов в 1928 г. в Гааге, основано на недостаточно хорошем знании его научного наследия.

³ В связи с тем, что эта работа 1923 г. была опубликована на русском языке в малодоступном лингвистам издании, приводим изложение взглядов Н.С. Трубецкого более подробно.

распылению, а к стройной гармонической системе, в которой всякая часть, вплоть до мельчайших, сохраняет свою яркую неповторимую индивидуальность и единство целого достигается не обезличением частей, а непрерывностью самой радужной языковой сети» [там же, 17].

Обращает на себя внимание перекличка идей Н.С. Трубецкого ("дробление", "союз") с мыслями Ф.Ф. Фортунатова, который, размышляя над проблемами исторической дивергенции и конвергенции языков, писал в 1902 г.: "Каждый язык принадлежит известному общественному союзу, т.е. каждый язык принадлежит людям как членам того или другого общества, т.е. изменения, которые происходят в обществе, сопровождаются соответствующими изменениями: дробление общества на те или другие части соответствует дроблению языка на отдельные наречия, а объединение частей общественного союза соответствует и в языке объединению наречий" [Фортунатов, 1902, 24]. По-видимому, взгляды Ф.Ф. Фортунатова по этой проблеме оказали влияние на формирование идеи "языковых союзов" Н.С. Трубецкого.

Концепция "аллогенетического родства" Н.С. Трубецкого и "непрерывности ... языковой радужной сети" весьма близка также взглядам Г. Шухардта, сказавшего в 1925 г.: "Мне кажется, что ... родственные отношения между диалектами можно уподобить понятиям о бесконечном и разнообразном в математике" [Шухардт, 1950, 275]. Сходные идеи развивал в 20-е годы Е.Д. Поливанов.

Поэтому нельзя согласиться с тем, что "взгляды Н.С. Трубецкого на происхождение индоевропейских языков формировались без влияния марровской теории языкового скрещения" [ОЯ, 1973, 68]. Речь здесь может идти о поиске новой модели праязыка, поиске путей преодоления недостатков предшествующих научных парадигм, но не за счет их полного снятия или отрицания, а как синтеза уже достигнутых результатов.

В отличие от И. Шмидта, считавшего праязык научной фикцией, Н.С. Трубецкой все же не отказался от понятия праязыка, считая его своего рода "ингредиентной" системой и полагая, что языки одной семьи не обязательно должны восходить к одному и тому же праязыку. Языковая же семья может быть как результатом дивергенции (расхождения), так и конвергенции (схождения) языков.

Понятие "языковая семья", считает Н.С. Трубецкой, не обязательно должно предполагать общее происхождение определенного числа языков от одного-единственного праязыка. "Языковой семьей мы называем группу языков, которая кроме подобия в языковой структуре обнаруживает еще ряд материальных соответствий, т.е. языки, в которых значительное число лексических и морфологических элементов обнаруживает закономерные фонетические соответствия" [Трубецкой, 1939, 81—82]. Эта точка зрения Н.С. Трубецкого о "смешанном" характере праязыка вследствие преувеличения роли контактов в становлении языковых общностей не нашла широкого отклика у лингвистов, если не считать весьма спорной попытки М. Палмайтиса развить его взгляды о контактной природе праязыка [Палмайтис, 1978].

Таким образом, в истории развития теории праязыковых состояний можно выделить три конструктивные парадигмы: теорию родословного дерева А. Шлейхера и ее последующие преобразования, в ней праязык мыслится как языковая реальность; "теорию волн" И. Шмидта и Г. Шухардта — праязык представляется как диалектный континуум; теорию "аллогенетического родства" Н.С. Трубецкого — праязык выводится как результат контактного взаимодействия генетически разнородных общностей. Четвертая, деструктивная, парадигма отрицает эвристическую и познавательную ценность понятия праязыка как такового.

Основным недостатком теории "аллогенетического родства" Н.С. Трубецкого следует считать недостаточность оснований постулируемой концепции. Так, "союз срединноморских языковых семейств" выделялся им на основании единичных сходных признаков, таких, как наличие у имен существительных различных грамматических родов или же способность корня при формообразовании менять ступени огласовки (*соберу* — *собрать* — *собор*) [Трубецкой, 1923, 117]. Такого рода общности могут сейчас рассматриваться как чисто типологические (см. ниже).

О степени глубины реконструкции праязыковых состояний. Прежде чем приступить к характеристике современного состояния науки о праязыке, нужно указать на необходимость разграничения проблем глоттогенеза и реконструкции праязыковых состояний [Макаев, 1977; Климов, 1986]. Проблемы глоттогенеза, происхождения человеческой речи, относятся к антропологическому циклу (социоантропология и этноантропология) и не могут быть разрешены чисто лингвистическими средствами. В сферу антропосоциогенеза входят такие разделы, как исследование ископаемых и современных обезьян — приматология, исследование дифференциации и динамики человеческих рас — расоведение, этническая антропология [История первобытного общества, 1983, 70; Алексеев, 1985]. На этапе становления человеческого общества, т.е. перехода стада высших человекообразных, или предлюдей, к праобщине древних людей, процессы приобщения к труду происходили одновременно с зарождением мышления и речи.

Напротив, проблемы этногенеза непосредственно стыкуются с вопросами реконструкции праязыковых состояний. Наибольший интерес в этой связи вызывает теория этногенетических пучков, выдвинутая в конце 70-х годов советским антропологом В.П. Алексеевым [Алексеев, 1979]. Этногенетический пучок определяется им как "любая форма объединения народов, связанных между собой единством происхождения" [Алексеев, 1986, 88]. В рамках этногенетической типологии начата разработка нового направления — этногенетического родства, которая потребовала и новых классификационных понятий. Теория этногенетического родства до некоторой степени напоминает хорошо известную лингвистам теорию родословного дерева А. Шлейхера. Согласно ей этногенетические пучки в зависимости от генетического родства составляющих их народов разделяются на этногенетические деревья и этногенетические кусты. При этом последнее объединение определяется как бесструктурное и аморфное и поэтому не разлага-

ющиеся на соподчиняющиеся элементы. Структурно членимыми выступают лишь этногенетические ветви и этногенетические стволы. В качестве надежно выделяемой таксономической единицы названа этногенетическая ветвь — "группа народов, связанных общностью происхождения". В случае возможности установления родства между ветвями они объединяются в этногенетический ствол [там же, 72]. Проблемы реконструкции этногенетических стволов связаны с установлением отдаленного родства и на лингвистическом уровне.

Здесь интересно отметить, что при достаточной разработанности понятий, связанных с различными типами и видами этнических общностей как в плане структурной таксономии (этнос, этникос и т.п.), так и в плане их пространственного распределения (этническая область, провинция и т.п.), в этнографии наметился сдвиг в сторону сближения с лингвистикой в сфере реконструкции праэтнических общностей, о чем свидетельствует теория этногенетических стволов, пучков, кустов, ветвей и т.п.

Если проблемы глоттогенеза соотносятся с комплексом вопросов антропосоциогенеза, то этногенетические построения коррелируют с реконструкцией праязыковых состояний. Так, например, понятие этногенетических стволов в реконструируемой ретроспективе сопоставляется с праязыковыми макросемьями, этногенетическая ветвь соотносится с праязыком как единой формой для семьи языков. Лингвист, занимающийся реконструкцией праязыковых состояний, должен хорошо себе представлять диахроническую ретроспективу такой реконструкции, имея в виду предельность лингвистического времени. Компаративисты не должны заниматься реконструкцией таких отдаленных состояний языка, как ранние этапы возникновения человеческой речи [Журавлев, Нерознак, 1981, 6]. До какой же хронологической глубины может простираться праязыковая реконструкция?

На этот счет существуют различные точки зрения. Так, известная глоттохронологическая оценка степени родства языков мира М. Сводеша предполагает следующие реконструируемые хронологические стадии для языковых состояний различной временной глубины. Отдельным языком в группе родственных ему языков, по Сводешу, является такое его состояние, в котором процент общих слов соответствует периоду до 500 лет. Для языковой семьи, т.е. для периода, когда составляющие ее языки являли собой общее праязыковое состояние, устанавливается предельный возраст 2500 лет. Возраст ствола языков определяется в 5000 лет. Кроме того, для характеристики отдаленного родства языков вводится понятие языковой фило (микрофила — 7500 лет, мезофила — 10 000 лет и макрофила — свыше 10 000 лет) [Swadesh, 1954, 326]⁴.

В лексико-статистической методике хронологизации и периодизации развития языковых общностей с точки зрения современной компаративистики явно занижена шкала для периода существования языковых семей. Так, согласно последним исследованиям в области

⁴ Другие параметры оценки возраста различных языковых общностей предлагает С.Е. Яхонтов [1980, 151—156].

индоевропейского праязыка [Гамкрелидзе, Иванов, 1984] время его существования датируется IV тысячелетием до н.э.

Наиболее отдаленные во времени реконструируемые праязыковые состояния представлены в настоящее время рядом гипотез: ностратической [Pedersen, 1903; Иллич-Свитыч, 1971; 1976; 1984; Дыбо, 1978; Bomhard, 1984; Лингвистическая реконструкция, 1984], бореальной [Андреев, 1986], палеоевразийской [Старостин, 1982].

Реконструируемое общее языковое состояние для целого ряда языковых семей датируется временем позднего верхнего палеолита, т.е. периодом, отстоящим от нашего времени на 10—15 тысяч лет. Н.Д. Андреев даже возводит реконструируемый им раннеиндоевропейский праязык к еще более ранней эпохе. Интересно в связи с этим привести мнение известного антрополога В.П. Алексеева по поводу временных рамок реконструкции праязыковых макросемей: "Такая датировка не то чтобы уязвима с той или иной точки зрения — она абсолютно бездоказательна и гипотетична, так как основания для нее не содержатся в самих языковых материалах, а опираются на интуитивную оценку скорости фонетических изменений во времени и более или менее правдоподобное соответствие такой оценки представлениям о характере исторического процесса в первобытности" [Алексеев, 1986, 114].

Такая оценка справедлива в том случае, если реконструируемое праязыковое состояние на столь древнем уровне рассматривается как реальность, а не как парадигма или модель знаний, добытых компаративистикой к настоящему времени. Лингвисты это сознают и предлагают различать формальный аппарат реконструкции праязыка, т.е. лингвотехнику установления звуковых соответствий между родственными морфами и воссоздания архетипов для морфов и составляющих их фонем, и содержательную интерпретацию этих архетипов. Праязык является одной из возможных интерпретаций реконструируемых систем [Иванов, 1980, 181].

В последнее время в связи с проведенными исследованиями в области индоевропейского языкознания, в первую очередь в фундаментальном исследовании Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванова "Индоевропейский язык и индоевропейцы" [Гамкрелидзе, Иванов, 1984], которое в сущности привело к смене парадигмы в теории праязыковой реконструкции, значительно возросла при решении этой проблемы роль типологических данных. Новые данные о самых различных сторонах жизни древних индоевропейцев (о языке, протокультуре, прародине) в значительной части опираются на объединение историко-лингвистических показаний и историко-культурных свидетельств об индоевропейцах с типологическими параллелями, относящимися к языку и культуре многих неиндоевропейских народов. При этом целям реконструкции праязыковых и протокультурных состояний в одинаковой мере надежно служат как результаты синхронной типологии, так и историко-типологические построения.

На пути реконструкции праязыковых состояний столь отдаленной ретроспективы встают ограничения, которые налагают время, законы внутреннего развития языка, требования строгого соблюде-

ния принципа историзма в интерпретации языковых данных, их тщательная проверка "на чистоту".

Гипотезы отдаленного родства ряда языковых семейств, выдвинутые в начале XX в. Х. Педерсеном и развиваемые в работах А. Кюни, А. Тромбетти, Г. Мёллера, В.М. Иллича-Свитыча, А.Б. Долгопольского, В.А. Дыбо, С.А. Старостина, Н.Д. Андреева, относятся, скорее, не к проблеме реконструкции праязыка, а к кругу вопросов глоттогенеза. Дело в том, что список ностратической макросемьи, включавший вначале индоевропейскую, семито-хамитскую, картвельскую, уральскую, алтайскую и дравидийскую семьи, постепенно разрастался и был дополнен целым рядом других генетических языковых общностей — чукотско-камчатской, эскимосско-алеутской, юкагирской, а также семей исчезнувших хуррито-урартских языков и изолированного баскского. «Если учесть, что каждую из перечисленных „малых“ семей, каждую группу и каждый отдельный язык связывают узами генетического родства с языками, традиционно не относимыми к ностратическим, то может стать реальностью превращение ностратической гипотезы в гипотезу о единой глобальной языковой семье» [Щербак, 1984, 30]. Тем самым в такого рода попытках явно просматривается тенденция к объяснению той или иной группы сходств происхождением всех сравниваемых языковых общностей из единого источника, т.е. теорией моногенеза.

Гипотезы, направленные на реконструкцию праязыковых состояний большой хронологической глубины, подвергаются серьезной критике. Основное возражение вызывает несоблюдение принципа достаточности оснований в подходе, базирующемся на "сплошном сравнении" (Omnikomparatismus) [Doerfer, 1973, 10], и априорность выдвигаемых концепций. Остановимся на этом подробнее.

К проблеме достаточности оснований реконструкции праязыковых состояний. Применительно к гипотезам родства больших групп языков — иберийско-кавказской, алтайской и ностратической — на этой проблеме подробно остановился Б.А. Серебренников [Серебренников, 1982], который сформулировал следующие правила воссоздания (реконструкции) праязыкового состояния: 1. Реконструируемые системы (модели) гласных и согласных должны совпадать в основном с естественными, наблюдаемыми в живых языках, звуковых системах. 2. Линии исторического изменения звуков должны обосновываться не только подбором примеров, но и типологической проверкой. 3. Реконструкция грамматических форматов должна быть реконструкцией грамматических субсистем — падежной системы, системы глагольных времен и т.п. Элементы реконструированных систем должны находить отражение в ряду родственных языков. 4. Реконструируемые синтаксические системы не должны быть реконструкцией абстрактных чисто логических отношений типа SVO, SOV, но должны иметь под собой прежде всего субуровневое морфологическое основание.

Как показывают новейшие исследования, непременным условием достоверности реконструкции любой праязыковой величины — от праязыка до субуровня (вплоть до дифференциальных признаков фо-

нем) — должны стать полнота учета материала и его надежность. Тот факт, что предыдущие модели праязыкового состояния не устояли под наплывом поступающего материала новых языков, заставляет серьезно отнестись к мысли о неизбежности испытания любой гипотезы совокупностью данных всех языков как в генетическом, так и в типологическом плане.

Ностратическая теория была подвергнута всестороннему критическому разбору специалистов по разным языковым семьям с точки зрения надежности привлекаемого материала финно-угорских [Серебренников, 1982; Хайду, 1985], тюркских, шире — алтайских [Doerfer, 1973; Щербак, 1984], дравидийских [Андронов, 1982], кавказских языков [Климов, 1986]. Критики гипотез отдаленного родства сходятся в одном: методика реконструкции праязыковых состояний, призванных доказать древнейшее родство различных языковых семей, не удовлетворяет принципам корректного научного анализа.

Анализируя устанавливаемые В.М. Илличем-Свитычем соответствия индоевропейским сериям гуттуральных в уральских и алтайских языках, А.М. Щербак отмечает сомнительность привлекаемых примеров из алтайских языков. В качестве таковых названы заимствования, сопоставления, опирающиеся на внешнее созвучие, изобразительные слова, которых в словаре Иллича-Свитыча насчитывается треть от общего числа слов, и др. [Щербак, 1984, 32 и след.].

Рассматривая попытку С.А. Старостина установить генетическое родство между енисейскими и северокавказскими языками, по его мнению обнаруживающими "довольно большое количество общих корней с базисной семантикой, на множестве которых удастся установить в целом достаточно регулярные (и интересные) фонетические соответствия" [Старостин, 1982, 235], Г.А. Климов подвергает ее резкой критике как с точки зрения реалистичности реконструируемой фонологической системы (реконструируется более 100 согласных и 9 гласных), так и с точки зрения антиисторичности семантических реконструкций [Климов, 1986, 129 и след.].

Фантастической представляется попытка моделирования как фонологической и морфологической систем, так и семантического уровня раннеиндоевропейского и так называемого бореального состояния у Н.Д. Андреева. "Типология бореального праязыка была предельно проста: это был язык изолирующего строя, лексика которого состояла из двух согласных корневых слов, причем вокалические силлабемы внутри таких слов характеризовались позиционно заданным тембром, акцентно обусловленным количеством, отсутствием собственной дистинктивной функции. Частей речи как таковых в БП не было; морфология — в ее современном понимании — отсутствовала; единственным видом словообразования было корнесложение..." [Андреев, 1986, 4].

Доведение до такой глубины реконструкции праязыкового состояния приводит к неудержимому произволу, а методика омникомпаративизма напоминает печально известный "палеонтологический" метод. Примеры "протосем" и "диасем", реконструируемых для праязыкового уровня, представляются до некоторой степени анекдотическими и не

могут приниматься всерьез, ср.: "болтун + лепетун = лепетать", "бормотать + бормотать = баба" и т.п. [там же, 323]. Означает ли это, что реконструкция праязыковых состояний большой хронологической глубины невозможна? Так, например, Э.А. Макаев считает, что необходимо разграничивать глобальную реконструкцию, которая возможна лишь для единиц фонемного и морфемного уровня (закрытый список единиц), и парциальную, или частичную, реконструкцию, которая допустима для синтаксического и лексико-семантического уровня [Макаев, 1977, 90—91]. Напоминая слова Е. Куриловича о том, что мы должны "удовольствоваться реконструкцией этапов, граничащих с исторической действительностью", Макаев выражает сомнение в возможности реконструкции протоиндоевропейского состояния такой глубины, которая характеризуется наличием силлабем в его строе [там же, 7].

Предъявляя требования строго научных критериев верификации осуществляемых глобальных реконструкций, многие лингвисты-компаративисты выражают скептическое отношение к реконструкции праязыковых макросемей. В книге "Уральские языки и народы" венгерский языковед-компаративист П. Хайду пишет: "Реконструкция языковых явлений более чем восьми-десяти тысячелетней давности методами современной компаративистики заведомо безнадежна и заранее обречена на неудачу" [Хайду, 1985, 169]. Одновременно он предлагает объяснять морфологические и лексические параллели уральских и других языков не древнейшим родством или даже заимствованиями, а "квазиродственными связями", обусловленными не моногенезом, а контактами. По словам Хайду, контактирующие языки "еще на стадии своего зарождения развивались как члены единого языкового союза" [там же, 169]. В этом объяснении чувствуется влияние концепции "аллогенетического родства" Н.С. Трубецкого.

Таким образом, в качестве строгого научного концепта представит лишь инструментально реконструируемое праязыковое состояние, воссоздаваемое как система закономерных соответствий на всех уровнях — от фонетико-фонологического до лексико-семантического. Такими генетическими общностями, определяемыми с помощью специального научного анализа (метод внутренней и внешней реконструкции), выступают семьи, для них и возможно воссоздание верифицируемой праязыковой модели — общиндоевропейского, общетюркского, общеславяно-угорского и других праязыков. Следовательно, на этом уровне хронологической глубины (от V до II тысячелетия до н.э.) реконструируемые праязыковые модели могут рассматриваться как отражающие языковую реальность.

Реконструкции же большей хронологической глубины, претендующие на воссоздание праязыков для ряда языковых семей (алтайская, иберийско-кавказская, ностратическая, "бореальная", палеоевразийская), — уровень хронологической глубины для каждой из них различен — требуют значительных разработок и дополнительных аргументов. Поэтому они должны рассматриваться как научные конструкторы, в разной мере способствующие расширению наших знаний о доисторическом языковом развитии.

Особую проблему представляет реконструкция так называемых

промежуточных праязыков между праязыковым состоянием семьи (индоевропейский праязык) и праязыковым состоянием отдельных языковых ветвей (праславянский, праиранский, пракельтский и т.п.), которые в индоевропеистике называются "языковыми единствами", ср. балто-славянское, итало-кельтское, индоиранское языковые единства. Эта проблема, как и другие проблемы реконструкции праязыковых состояний разных порядков, должна решаться в рамках теории языковых общностей (в первую очередь с учетом оппозиции однопризнаковых и многопризнаковых классификаций языковых общностей разного типа).

Индоевропейское языкознание пережило несколько этапов в своем развитии. В значительной степени его периодизация связана с принятием того или иного индоевропейского идиома за эталон компарации. Наиболее существенны две парадигмы в индоевропеистике — санскритоцентричная⁵ и хетто-лувоцентричная. Последняя после детронизации санскрита как эталона реконструируемого праязыкового состояния выступает уже в смягченном виде. Между ними после открытия хетто-лувийских языков как возможный эталон-компромисс предстает индо-хеттская гипотеза Э. Стёртеванта.

Детронизация отдельных языков (санскрит) или даже целого их ряда (санскрит — греческий — латинский) как эталона компарации привела к концептуально противоположным воззрениям на праязык: 1) праязык — реально существовавшее и поддающееся воссозданию полидиалектное языковое пространство; 2) праязык — определенный реконструкт, характер которого зависит от цели реконструкции и выбора полагаемых в его основу языков; 3) праязык — инвентарь абстрактных формул.

Идея формульности праязыка привела к новым его моделям, выдвинутым в последние годы в индоевропеистике. Представляется весьма показательным прокомментировать подход к моделированию индоевропейского языкового состояния с ориентацией на балтийские языки — балтоцентрическую гипотезу В. Шмида [Schmid, 1978].

В схеме-проекции доисторических отношений индоевропейских языков В. Шмида сделана попытка новой интерпретации праязыка. Его модель представляет собой три концентрические окружности, пересекаемые в центре горизонтальной и вертикальной линиями. В результате в каждом круге образуются четыре сектора. Малый круг — центр иррадиации, или точка отсчета, — занимают балтийские языки. В среднем круге верх левого полушария занимают германские языки. В нижнем секторе этого же полушария размещены итальянские языки, верхний сектор правого полушария пуст. Основная же часть языковых образований располагается Шмидом в нижнем секторе правого полушария: здесь размещены сверху вниз индоиранские (начало — во 2-м круге, продолжение — в 3-м), славянские, фракийский, албанский, иллирийский. В третьем круге в верхнем секторе левого полушария обозначены кельтские языки, а в его нижней части имеет место лакуна. Правый верх-

⁵ Подробно о периоде развития сравнительно-исторического языкознания под знаком санскритоцентризма см.: [Mayrhofer, 1983].

ний сектор правого полушария отведен тохарским языкам, а нижний сектор этого полушария заполняется полностью соответственно индоарийскими (продолжение заполнения второго круга), армянским, хеттским, фригийским, греческим языками. Модель Шмида пространственно ориентирована: верх вертикальной линии обозначен как север (С), низ — как юг (Ю), левая оконечность горизонтальной линии обозначается как запад (З), а правая — как восток (В). Тем самым балтоцентрическая модель Шмида налагается и на определенное географическое пространство (прародину), занимаемое в период индоевропейской языковой общности носителями индоевропейского праязыка [схему см. в кн.: СИИЯРС, I, 23].

При построении своей модели отношений индоевропейских идиомов Шмид отказывается от понятия "праязык" в его различных терминологических вариантах [Schmid, 1978, 11]. Вместо этого выдвигается понятие "Bezugssprache" — "язык отношений", "язык отсчета". В качестве такого "языка отношений" из всех языковых групп он избирает балтийскую группу языков. В математической цепочке La, Lb, Lc... Lx языком Lx, субститутотом праязыка, выступает балтийский (Baltisch). Таким образом, понятие праязыка исчезает вовсе, оно заменяется "языком отсчета". В то же время, как мы постараемся показать, эта замена кажущаяся, так как "язык отсчета" наделяется целым рядом конститутивных черт, характерных для праязыка.

Рассмотрим подробно балтоцентрическую модель В. Шмида, т.е. основания помещения балтийских языков в центр индоевропейского языкового пространства.

Просмотр этимологической литературы показывает, что нет другой такой языковой группы, как балтийская, которая бы выказывала генетические связи со всеми языками во всех направлениях одновременно, будь то западноевропейские, средиземноморские, восточноевропейские или языки Передней, Средней и Южной Азии. Кроме того, существенное значение имеет древнеевропейская гидронимия, которая, подчеркивает В. Шмид, распределяется также балтоцентрически. Это основание можно принять пока как модель, построенную *ad hoc*.

Основание 1. Во внешнем круге за пределами выделенного жирной чертой сектора неожиданно оказываются только языки *centum*. Тем самым развитие палатального *k* в шипящие должно рассматриваться как инновация. Недостаточность основания видится в следующем. Если балтийский язык — точка отсчета, то как понимать, что он сам не попадает в зону сатемовой инновации? Кроме того, каким образом, обладая ярко выраженной сатемовой палатализацией, названной инновацией, балтийский стал языком отсчета?

Основание 2 (историко-географическое). Ни один из языков внешнего круга в своих границах, как известно, не является автохтонным, а импортирован из области, располагавшейся ближе к центру (т.е. к балтийским языкам). Недостаточность основания: в последнее время произведена переоценка роли восточного ареала индоевропейской языковой периферии и ее связей с западным ареалом, в частности тохарского [Иванов, 1981] и восточноиранских языков [Эдельман, 1986].

Недостаточна определенность самого термина "автохтонность". Говоря другими словами, автохтонность есть прародина. А понятие прародины в последнее время уже не рассматривается как историко-географическое понятие. "Взятие" прародины не единовременный акт, а меняющаяся во времени и пространстве языковая ситуация, сама же прародина выступает как лингвоэкологическая среда существования. Отсюда порой прямо исключаящие друг друга точки зрения о прародине не только индоевропейцев, но и исторически засвидетельствованных индоевропейских групп, ср. теории о славянской прародине (висло-одерская, карпатская, днепровская, дунайская), малоазийскую и балканскую концепции греческой прародины. Или возьмем исторически более ясный случай. Пути экспансии кельтов в разные стороны мы хорошо знаем — галаты в Малой Азии, лигуры в Италии, кельтиберы в Испании, кельты в Ирландии. А вышли они, возможно, из Богемии. Так где не автохтонны кельты? В то же время хетты, которые стоят тоже во внешнем круге, автохтоны в Передней Азии.

Недостаточность обоснования аргумента автохтонности состоит в том, что оно всякий раз привносилось лингвистами или историками, а не устанавливалось как объективный, закономерный фактор.

Основание 3. Отношения между центром, т.е. балтийскими языками, и каждой отдельной группой, расположенной в модели во втором языковом кольце, — это не отношения диалекта и индоевропейского праязыка. Эти связи носят характер отношений близкородственных языковых групп: балто-германской, балто-итальянской, балто-славянской, балто-албанской. Недостаточность основания: выявление связей балтийских языков с другими группами не означает, что данные этих языковых групп служат лишь верификации исходности показаний балтийских языков. Речь идет лишь об установлении эксклюзивных изоглосс, набор которых меняется при смене избираемой для сравнения пары языковых общностей (групп).

Основание 4. Балтийские языки могут служить точкой отсчета только тогда, когда отсчитываются по крайней мере два не соседствующих в модели языка, которые, кроме того, дополняются стоящим в другом секторе языком. Так, санскрит, латынь и греческий могут быть основой для реконструкции, если в других языках сравниваемые явления суть инновации. В данном случае мы также наблюдаем противоречие с точки зрения идей автора о сатемизации как инновационном процессе. Представленное им мнение о том, что реконструкция, основанная на данных санскрита, греческого языка и латыни, оправдывается лишь тогда, когда в других языковых группах речь идет об инновациях, противоречит его же идеям о сатемизации. Так, в индоиранских языках сатемизация — явление показательное, тогда как и греческий и латинский — языки кентумные.

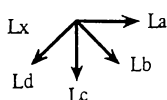
Словом, если мы считаем, что внешнее кольцо языков есть кольцо экспансии, то пересчет языкового порядка идет от центрального круга к концентрическим кругам.

Аналогом к балтоцентрической гипотезе могла бы стать, если принять ту точку зрения, что праязык есть абстрактно выводимый

реконструкт, следующая лингвологическая формула, где L — язык, Lx — праязык:

$$\text{Дано: } Lx = La + Lb + Lc + Ld \dots$$

$$La \rightarrow Lb + Lc + Ld$$



Наш комментарий был посвящен общетеоретическому построению, где сделана попытка смоделировать реконструкт — аналог праязыка.

Праязык — многопризнаковый тип языковой общности. Рассмотренные нами подходы к реконструкции праязыка могут быть интерпретированы в терминах общей теории языковых общностей [Нерознак, Герценберг, 1986]. В соответствии с критериями выделения генетических общностей различаются многопризнаковые и малопризнаковые классификации. Малопризнаковые, в том числе и однопризнаковые, классификации диалектов внутри праязыкового состояния опираются на одну из показательных черт структуры, охватывающую несколько языков, составляющих ареально-генетическую общность внутри генетической многопризнаковой общности, каковой выступает праязык. При этом в соответствии с динамической моделью реконструкции праязыкового состояния могут быть выделены праязыки различной хронологической глубины (ностратический, общеиндоевропейский, древнеевропейский, балто-славянский, праславянский и т.п.).

Примером однопризнаковых ареально-генетических общностей можно считать объединение индоевропейских диалектов в группы по признаку *centum/satem* (индоиранские языки, балтийские, славянские, албанский и армянский, палеобалканские). Для более отдаленной хронологической ретроспективы таким однопризнаковым объединением языков в одну ареально-генетическую общность служит деление индоевропейских диалектов по признаку *decem/tajhun* от латинского и готского названий для "десяти". Децемизация, как и сатемизация, дифференцирует праязыковое диалектное пространство на зоны вторичных ареально-генетических общностей. Поэтому можно говорить о реконструкции праязыка не как о достоверно устанавливаемой реальности, а как о достоверно устанавливаемой генетической общности, базирующейся на открытом списке признаков. При этом следует иметь в виду, что реконструкция праязыка устанавливается не эмпирически, не на основе очевидных наблюдений, а инструментально.

Именно в силу того, что наше знание о предшествующих доисторических этапах языкового развития само находится в постоянном развитии, периодически меняется и праязыковая модель, т.е. меняется парадигма знания. Следовательно, праязыковая модель никогда не может быть реконструирована как реальность, она предстает как исторически развивающаяся модель знания, отражающая современное состояние сравнительно-исторического языкознания, опирающегося не

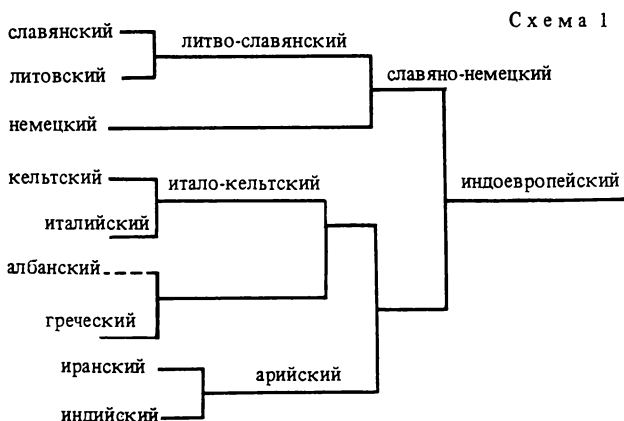
только на приемы генетической реконструкции (как внутренней, так и внешней), но и на достижения всего синхронного языкознания, в первую очередь типологического.

Вопрос о реальности праязыка, формах его проявления в реконструируемых моделях в настоящее время должен решаться с опорой на три основных исходных критерия: 1) традиционные методы сравнительно-исторических исследований, включающие все процедуры и приемы реконструкции (фонетико-фонологической, морфологической, синтаксической, лексико-семантической); 2) данные типологии, учитывающие все многообразие структур языковых единиц; 3) теорию языковых общностей, интерпретирующую праязык и другие типы генетических и ареально-генетических общностей в терминах многопризнаковых классификаций.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРАЯЗЫКОВЫХ ИЗОГЛОСС ОБЩЕИНДООЕВРОПЕЙСКОГО ДИАЛЕКТНОГО КОНТИНУУМА

1

Реконструкция первоначальных индоевропейских диалектных взаимоотношений всегда связывалась компаративистами с проблемой ареального членения общеиндоевропейского праязыка и образования отдельных индоевропейских ветвей, групп и языков. Решающим критерием при такой реконструкции А. Шлейхер считал данные грамматики (морфологии, прежде всего словоизменения) [Schleicher, 1852, 12, 107, 437]. Поскольку словоизменительные показатели не могут заимствоваться, переходить из одного "организма" в другой, то возможности каких-либо значительных взаимовлияний в области грамматического строя между уже разошедшимися диалектами А. Шлейхером не допускались, диалектные взаимоотношения представлялись лишь в виде последовательного членения родословного дерева (схема 1).



По-иному это членение представлялось К. Лотнером [Lotther, 1858, 1, 18, 162], считавшим, что выделение индоиранской (арийской) ветви предшествовало разделению европейских языков на северную (немецко-славянскую) и южную (греческую) ветви, и отрицавшим наличие особой близости между греческим и итало-кельтскими языками (схема 2).



Позже А. Фик [Fick, 1873], учитывая открытые в это время закономерности в фонетических изменениях отдельных индоевропейских языковых групп, предложил свой вариант родословного дерева, являвшийся фактически компромиссом между лотнеровской и шлейхеровской схемами (схема 3).



Схема родословного дерева хорошо передавала относительную хронологию диалектной дифференциации, однако не могла отображать многостороннюю генетическую связь языков и диалектов. Между тем введение в качестве критерия генеалогической классификации помимо морфологических также и фонетических данных, учет действия строгих фонетических законов должны были неминуемо привести к переоценке самих принципов классификаций, к отказу от прямолинейного применения схемы родословного дерева как единственно возможной модели развития генетических связей. Еще в 1863 г. Г. Грасман показал, что в древнеиндийском и греческом языках действовал общий закон диссимиляции придыхательных уже после разделения этих языков, после оглушения придыхательных согласных в греческом [Grassmann, 1863]. Диссимиляция звонких придыхательных в древнеиндийском привела к появлению начальных звонких: **dhadhāmi* ← *dadhami* 'кладу', подобная

диссимиляция глухих придыхательных в греческом привела к появлению начальных глухих: * $\vartheta i\vartheta \eta \mu i \rightarrow ti\vartheta \eta \mu i$. Таким образом, возникновение закономерного соответствия др.-инд. $d \sim$ греч. t — объяснялось последовательным действием двух фонетических процессов: 1) $dh \rightarrow \vartheta$ (процесс, разделявший греческий и индийский), 2) $\vartheta \rightarrow t \rightarrow \vartheta$, $dh \rightarrow dh \rightarrow d \rightarrow dh$ (процесс, общий для греческого и индийского). Расхождение индоевропейских диалектов может предшествовать их сближению.

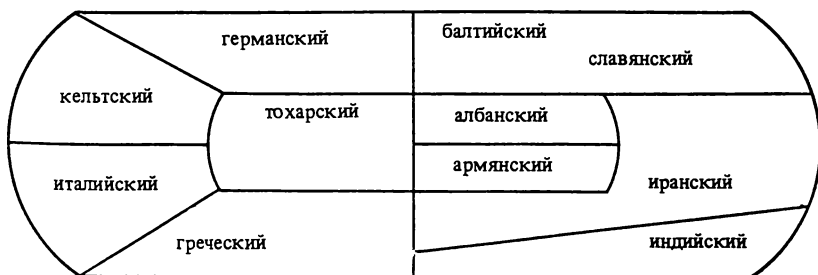
Успехи диалектологии, сравнительно-историческое изучение близкородственных языков приводили к убеждению, что и после распада первоначального единства у разошедшихся диалектов или даже близкородственных языков возможны общие закономерные изменения (в особенности в области звукового строя), возможные вторичные изменения, по-новому сближающие диалекты, образующие новые, вторичные объединения и группы. И. Шмидт [Schmidt, 1872, 201; 1875] представил диалектное членение индоевропейской общности в виде находящих один на другой, перекрещивающихся волновых кругов (схема 4).

Схема 4



Позже, с учетом новых данных, другой вариант по сути все той же волновой схемы был представлен А.Мейе [Meillet, 1908, 131—134] (схема 5).

Схема 5



Преимуществом таких волновых схем по сравнению с родословным древом была возможность изобразить многосторонние

генетические связи: при помощи набегающих друг на друга кругов можно было представить, что, например, балтийские и славянские языки одними чертами оказывались генетически связанными с германскими языками, другими — с индоиранскими, латинский оказывался на перекрестке явлений, сближающих его с греческим, и явлений, общих с кельтскими, и т.д. Однако относительная хронология этих древних диалектных образований не могла быть отображена.

"Круги" и "волны" как бы моделировали древние индоевропейские диалекты. Ф.Ф. Фортунатов еще в знаменитом послесловии к своей магистерской диссертации и в ранних лекциях, отказавшись даже от самого термина "праязык", систематически подчеркивал полидиалектную природу реконструируемого общиндоевропейского языкового состояния: "Когда мы говорим об языках индоевропейском, литовско-славянском, индоиранском и т.д., мы не должны представлять для каждого из них такое внутреннее единство, которое исключало бы диалектическое различие" [Фортунатов, 1875/76, 24]. "Воссоздавая общий индоевропейский язык в эпоху его распада, мы не можем в нем найти следов полного единства, но должны признать в нем существование диалектных различий, т.к. иначе не было бы появления тех обществ, которые называются индоевропейскими народами" [там же, 27]. Диалектные различия не могли быть результатом единовременных процессов. "Говоря об индоевропейском языке, мы разумеем тот период его жизни, который непосредственно предшествовал каким-то примитивным языкам, но должен был иметь за собой богатую историю" [там же, 13]. Историческая последовательность диалектных процессов может быть представлена лишь в виде генеалогического древа, поэтому обе моделирующие схемы, "волны-круги" и "древо", остались и сосуществуют в практике сравнительно-исторических исследований, дополняя друг друга.

Новые открытия в индоевропеистике ни в какой мере не приводят к отказу от общих принципов описания и от самого представления генетических связей при помощи этих двух взаимодополняющих моделирующих схем. Изменяются лишь конкретные представления о диалектных взаимодействиях в эпоху общиндоевропейского языкового состояния, уточняются критерии и принципы, на основании которых проводится реконструкция древнейших диалектных различий.

А. Мейе в своих реконструкциях помимо фонетических и морфологических критериев впервые стал широко использовать данные сравнительно-исторической лексикологии, однако продолжал рассматривать их лишь как свидетельство вторичных междиалектных и межъязыковых связей, но не клал их в основу генеалогической классификации [Meillet, 1908]. Большое значение лексике придавали в своих построениях неолингвисты [Bonfante, 1931; Devoto, 1958] и В. Пизани [Pisani, 1933], позже — В. Порциг [1964]. Г. Солта в своих работах стал считать лексический критерий решающим при реконструкции диалектных различий [Solta, 1960].

Между тем опыт конкретного изучения живых диалектов сов-

ременных индоевропейских языков показывает, что сами по себе лексические критерии не могут быть положены в основу генетической классификации диалектов (и развившихся из них родственных языков). Лексика легко подвергается заимствованиям, степень ее устойчивости часто зависит от внешних и случайных причин. Генезис диалектов наиболее надежным образом выявляется при опоре на данные сравнительно-исторической фонетики и морфологии, лишь дополненные отдельными и хорошо проверенными данными лексики [Кузнецов, 1951, 103; Аванесов, 1949, 320—321]. Диалектные группы (наречия) характеризуются не случайными и разрозненными чертами, а прежде всего общими исторически сложившимися новообразованиями; общие архаизмы учитываются лишь в том случае, когда они приобретают особые, свойственные лишь данной диалектной группе специфические функции. Представляется, что эти хорошо отработанные традиционные принципы современной диалектологии должны быть перенесены и в практику сравнительно-исторической реконструкции индоевропейских диалектных изоглосс.

2

Учитывая данные современной сравнительно-исторической индоевропеистики, представляется возможным предполагать для первоначального общиндоевропейского диалектного континуума три ареальные зоны, которые условно можно назвать юго-восточной (реконструируемой из архаических особенностей греческого, армянского и арийского языков), юго-западной (восстанавливаемой по древнейшим особенностям италийских и кельтских языков) и северной (реконструируемой по архаическим данным германских, балтийских, славянских и албанского языков). Не укладываются в эту схему первоначального членения данные агнео-кучанских (псевдотохарских) и особенно хетто-лувийских языков.

Юго-восточная диалектная группа выделяется на основании особенностей, многие из которых в традиционной индоевропеистике, опиравшейся в первую очередь на соответствия греческого и санскрита, долгое время приписывались реконструируемому единому общиндоевропейскому праязыку. Но еще К. Лотнер предполагал ранее выделение индоиранских и греческого из общиндоевропейского [Lottner, 1858]. А. Мейе отмечал особые контакты греческого языка с армянским и арийским [Meillet, 1908]. Позже на древность и специфичность этих контактов (свидетельствующих о раннем образовании особой греко-армяно-арийской общности) указывал Ф. Шпехт [Speccht, 1935; 1939; 1944]. Об этих схождениях писали Дж. Бонфанте [Bonfante, 1931, 175; 1976, 71—94, 116], И.А. Кернс и Б. Шварц [Kerns, Schwartz, 1937, 163, 277]. А.Л. Крёбер и К.Д. Кретьен [Kroeber, Chrétien, 1937] показали, что общих черт у греческого языка с армянским и арийскими языками больше, чем с другими индоевропейскими. Это дало основание Г. Краэ выделить особую греко-армяно-арийскую группу [Krahe, 1954], к нему присоединился В.И. Георгиев (включавший сюда и язык древних фракийцев) [Георгиев,

1956, 66], а также Б.В. Горнунг, считавший, что в эту группу входил и один из компонентов языка протославян [Горнунг, 1956, 34 и след; 1963, 21 и след.]. Г. Солта показал, что армянский язык в области исторической диалектологии наиболее тесные связи обнаруживает с греческим и древнеиндийским языками [Solta, 1960, 482].

В области фонологии юго-восточной зоне свойственна широкая, *a*-образная окраска рефлексов редуцированного **ь* (*schwa secundum*) в соседстве с носовыми (так называемые слоговые носовые, возникавшие, по-видимому, в неначальных предупредных слогах при выпадении **e//o* [Фортунатов, 1956, 238—241, 255—266; Богородицкий, 1914, 140—144; 1917, 17—21]): греч. ἑκατόν, др.-инд. *ṣatām*, авест. *satām* (←**ḱmtom*), греч. τάφος ‘могила’ — арм. *damban* (←**dhymbh-*), др.-инд. (вед.) *ganā* ‘жена, женщина’ — арм. (мн.ч.) *kanayk'*, греч. (беот.) βαῖα и др., такая же окраска свойственна и хеттскому языку. Исключения составляли ахейско-микенский, аркадский, кипрский и эолийский диалекты греческого языка, где развилась *o*-образная окраска. В отличие от юго-восточных в языках северной и юго-западной групп на месте **ь* в этих случаях развивались *e*, *i*, *u*. В языках юго-восточной зоны сохранилась (развивалась) серия смычных придыхательных согласных (греч. φ, θ, χ, арм., арийск. *bh*, *dh*, *gh*; в языке иранских памятников придыхательность утратилась; в армянском это были, по-видимому, особые напряженные согласные со звонким придыханием, противостоящие ненапряженным с глухим придыханием [Pisowicz, 1976, 13—17]; в других зонах мы не находим следов придыхательности у этой серии [ср.: Герценберг, 1978, 388—390].

Для морфологии юго-восточной зоны прежде всего характерно последовательное употребление в спряжении превербальной частицы **e-* (аугмент) для отличения форм прош. времени от непрошедшего и поствербальной частицы **i* (так называемые первичные окончания) для отличия форм наст. времени от настоящего. Этим двум означенным, признаковым формам противостояли формы беспризнакового, неозначенного инфьюнктива (пережитки которого сохраняются в гомеровских и ведийских текстах): **e-bheret* ‘нес (в прошлом)’ — **bheret* (инфьюнктив) — **bheret-i* ‘несет (сейчас)’. ”Первичные” окончания отражены в греч. -μι, -σι, -τι, -ει, -vτι, др.-инд. -mi, -si, -ti, -nti; ”вторичные” — в греч. -v (из **-m*), -ς, -v (из **-nt*), др.-инд. -m, -s, -t, -n (из -nt); также и в медиопассиве: греч. наст. вр. -μαι, арк. -σοι, -τοι, -vτοι — прош. вр. -σο, -το, -vιο, др.-инд. наст. вр. -e, -se, -te, -nte — прош. вр. -sa, -ta, nta. Явные следы этих противопоставлений отражают авестийский и древнеперсидский, также и армянский: *berē* ‘приносит’ ← **berey* ← **bheret-i* — *eber* ‘принес’ ← **e-bheret*, *gtanē* ‘находит’ — *egit* ‘он нашел’, ср. также *eļēz* ‘лизнул’ ← **e-leiǵhet*. Противопоставления форм прошедшего/непрошедшего времени при помощи аугментированных/неаугментированных образований отражены также в реликтах фригийского языка (εθαες ‘поместил, устроил’, εσταες ‘поставил’, εβελарκες ‘приготовил’, ελικ=ελιτε), обнаруживающего и в других чертах большое сходство с греческим.

За пределами языков, связанных по происхождению с юго-восточной зоной, у нас нет данных для реконструкции таких четких

противопоставлений. Аугмент встречается только на юго-востоке, энклитическая частица *-i* еще более последовательно, чем в протогреческом, протоармянском и протоарийском, употреблялась для обозначения одновременности события, о котором сообщается, с моментом речи только в хетто-лувийских языках (ср. хет. наст. вр. *-mi/-hi*, *-ši/-ti*, *-zi/-i*, *-weni*, *-teni*, *-anzi*, прош. вр. *-un*, *-š*, *-t*, *-wen*, *-ten*, *-ir*), но для юго-западных и северных диалектов мы не можем реконструировать столь жесткого противопоставления "первичных" флексий с *-i* и "вторичных" без *-i*.

Хотя архаическая латынь и различает флексию 3-го лица *-d*, восходящую к "вторичному" окончанию **-t*, от флексии *-t*, восходящей к "первичному" **-ti*, но это различие не связано строго с обозначением времени: в формах латинского претерита в самых ранних памятниках (надписях) встречаются формы на *-t* (*fuet*, *dedet*, *redieit*, *probaveit*, *coeravit* наряду с *fhefhaked*, *kapiad*, *feced*, *fecid*), так же как и в формах имперфекта (*erat*, *legebat*), в то время как формы на *-d* встречались в опативе (*sied*) и буд. времени, восходящем к конъюнктиву (*esed*). Др.-ирл. формы *berid* 'несет', *berait* 'несут' отражают "первичные" окончания **-ti*, **-nti*, но в конъюнктивных (составных) формах наст. времени *as-beir* 'говорит', *as-berat* 'говорят' отражены "вторичные" окончания (**eks-bheret*, **eks-bheront*).

В готском наряду с формами наст. времени *baīriþ* 'несет' (где *-þ* восходит к "первичному" **-ti*) существуют также формы наст. времени *wili* 'хочет' (из **wele-t* с "вторичным" окончанием, отражающим опатив), здесь различие "первичных" и "вторичных" окончаний также не связано с грамматическим противопоставлением наст. и прош. времени. Не отражают этого противопоставления и балтийские языки: в наст. времени в 1-м и во 2-м лице ед. числа имеются рефлексy "первичных" окончаний (ст.-лит. *es-mi*, *dūo-mi*, *esi*, *dūo-si*), но в 3-м лице наряду с реликтами "первичного" (*ēsti*, *dūos-ti*) обычны рефлексy совершенно особого окончания, не имеющего прямых параллелей в других языках (*dūoda*, *yrā*); флексии же прош. времени в этом отношении не противостоят флексиям настоящего и не могут быть возведены к "вторичным" индоевропейским окончаниям (ср. *matai* 'вижу', *matai*, *māto* — прош. вр. *mačiaū*, *matei*, *māte*, *dirbau* 'работал', *dirbai*, *dirbo*). В албанском языке различие форм наст. времени, имперфекта и аориста не связано с противопоставлением "первичных" и "вторичных" флексий: наст. вр. *jam*, *je*, *është* (<**esmi*, **esi*, **esti*), 3 л. мн. ч. *janë*, также *kam* 'имею', *kanë* 'имеют' — аорист *qenë* 'были', *patnë* 'имели', наст. вр. *them* 'говорю', *kam* 'имею', *ke* 'имеешь', *ka* 'имеет' — аорист *the* 'ты сказал', *tha* 'он сказал', наст. вр. *hapin* 'открывают' — имперфект *thoshin* 'говорили', *kishin* 'имели', *ishin* 'были'. В славянском как в формах наст. времени, так и в аористе окончания, восходящие к "первичным", употреблялись наряду с "вторичными": наст.вр. **ИЕСТЬ** (<**esti*) — **ИЕ** (<**est*), **МОЖЕТЬ** (<**mogeti*) — **МОЖЕ** (<**moget*), **ВЪРЮИЖТЬ** — **ВЪРЮИЖ**; аор. **ДА** — **ДАСТЬ**, **БЫ** — **БЫСТЬ**, **ОТЪИДЕ** — **ОТЪИДЕТЬ**.

Данные греческого языка и санскрита показывают, что все или почти все глагольные формы, употреблявшиеся с энклитикой **-i*, могли

употребляться и с проклитикой **e-*. Вместе с тем выделялся ряд глагольных основ, которые употреблялись только в формах прош. времени, т.е. без *-i*, с "вторичными" окончаниями. Отсутствие значения одновременности с моментом речи таким основам было свойственно как бы изначально. Это основы аориста, обычно отличавшиеся от основ наст. времени и имперфекта, а также и от основ перфекта большей простотой образования, отсутствием дополнительных аффиксов. Только в греческом, армянском и арийских можно выделить такого рода односложные аористные основы (первоначально, по-видимому, с полной огласовкой в ед. числе и с нулевой во мн. числе, а также в средне-страдательном залоге): греч. ἔσθη 'он (в)стал, стоял', др.-инд. *ásthāt* (средн. *ásthita*); греч. ἔθεμεν 'мы положили, посадили', ἔθετο 'он положил', арм. *ed*, др.-инд. *ádthāt* (средн. *ádthita*); греч. ἔδομεν 'мы дали' (средн. ἔδοτο 'он дал'), арм. *et* 'он дал', др.-инд. *dādāt* (средн. *ádita*); арм. *ekn* 'он пришел', др.-инд. *ágan* 'он пришел', *agman* 'они пришли'; греч. ἔβη 'он пришел', др.-инд. *ágāt*; гом. κλύθι 'услышь', вед. *ṣrudhí*, *áṣrot* 'он услышал', авест. гат. *sraotá* 'услышьте', лесб. πῶθι (атт. πῖτι) 'выпей', др.-инд. *ápāt* 'он выпил'. В других языках от этих основ могли образоваться формы наст. времени (лат. *dō* 'даю', *dāmus* 'даем'; *condit* 'слагает', д.-в.-н. *lōt* 'кладет'). В юго-восточных диалектах основы аориста могли отличаться от основ наст. времени отсутствием удвоения (греч. ἔστην, ἔθεμεν, ἔσομεν от ἴστημι, τίθημι, δίδωμι, также ἔγενόμην от γίγνομαι 'рождаюсь, происхожу'), отсутствием суффиксов и инфиксов (ἔπυθόμεν от πυνθάνομαι 'вывеदываю, разужнаю', ἔδαμον от δάκνω 'кусаю', ἔταμον от τέμνω 'отрезаю', ἔκταμεν 'мы убили' от κτείνω), нулевой огласовкой (ἔλιπον от λείπω 'оставляю', ἔπυθόμην от πεύθομαι 'разужнаю, выведываю') и др. Особо стояли сигматические основы аориста, созданные при помощи распространителя *-s: греч. ἔδειξε 'он показал', ἔγραψε 'написал', ἔτεισε (на)тянул', ἔρρηξε 'сломал', арм. *egerc* 'брил', *ek'erc* 'царапал', *exac* 'кусал', др.-инд. *ábharṣat* 'он нес', *anaīṣat* 'вел', *araudsat* 'сдерживал, препятствовал'.

Подобные образования спорадически могут встречаться и в других языках (ср. лат. *dixit*, *scripsit*, *clepsit*, *vexit* и др.), однако там они не носили регулярного характера и не представляли сколь угодно определенной категории с определенным значением. В славянском и албанском была некоторая регулярность в сигматическом образовании лишь 1-го лица претерита (развившегося в славянском в аорист: РЪХЪ, ДАХЪ, ГРЪСЪ, ЦВИСЪ, НЪСЪ, МОЛИХЪ, ІАСЪ от РЕКЖ, ДАМЪ, ГРЕБЖ, ЦВЪТЖ, ВЕДЖ, ВЕЗЖ, НЕСЖ, МОЛІЖ, ИМЖ; ср. алб. *dhashë* 'я дал', *rashë* 'я упал', *lashë* 'я оставил', *pashë* 'я(у)видел', *thashë* 'я сказал'), однако и здесь не было последовательного противопоставления сигматических основ с аористическим значением основам асигматическим. В юго-восточных языках в отличие от аориста основы наст. времени при тех же "вторичных" флексиях и также с аугментом образовывали формы имперфекта, содержавшего указание на длительность или повторяемость действия: греч. аор. ἔ-λιπε — имперф. ἔ-λειπε — наст. вр. λείπε-ι 'оставляет', др.-инд. аор. *a-dā-t* — имперф. *a-dadā-t* — наст. вр. *dādā-ti* 'дает'. Поскольку нет убедительных доказательств

существования подобных форм имперфекта (противопоставлявшегося по своей основе аористу, а по своим флексиям наст. времени) за пределами юго-восточной зоны, то нельзя говорить и о реконструкции общеиндоевропейских форм аориста.

Глагольные основы, соединявшиеся с "вторичными" окончаниями, были первоначально более единообразны, в отличие от них основы наст. времени часто имели разного рода словообразовательные распространители, придававшие основному глагольному значению разные дополнительные оттенки. В юго-восточных диалектах добавление к основам суф. **-je/o-* (с корневой переогласовкой *e : o*) придавало дополнительное значение многократности, интенсивности или каузативности, ср. ст.-слав. НЕСЖ — НОШЖ (← **nos-jo-m*), греч. φέρω 'несу' — φορέω **φορέ-jō* 'много ношу', др.-инд. *bhārāmi* — *bhārāyāmi* 'заставляю носить'; др.-инд. *vāhāmi*, ст.-слав. ВЕЗЖ — ВОЖЖ, греч. ὀξέω, др.-инд. *vāhāyāmi* 'заставляю возить', греч. φόβομαι 'боюсь' — φοβέω 'заставляю бояться, пугаю'. Таких регулярных противопоставлений не было за пределами юго-восточной зоны. Из других грамматических особенностей следует отметить последовательное употребление в греческом и арийских для форм средне-страдательных причастий суф. **-m(e)no-* (греч. ἐπόμενος 'следующий', др.-инд. *sacamana-*, авест. *baramna-* 'несущий, носимый'; в армянском эти формы, возможно, утратились); в латинском языке этот суффикс употребляется только как словообразовательный: *alumnus* 'воспитанник', *femina* '(кормящая) женщина'; однако следы этого словоизменительного причастного суффикса имеются в лувийском: *keš-ama-* 'причесанный', иерогл. *asīma-* 'любимый' (где *-m-*, возможно, из **-mn-*). Следует также указать на греко-арийский суффикс сравнительной степени **-tero-*: греч. ὁμότερος, др.-инд. *āmātara* 'более сырой' (в других языках этот суффикс — только словообразовательный: лат. *exterus* 'внешний', *interus* 'внутренний', *uter* 'который из двух', гот. *haþar*, лит. *katrās*, ст.-слав. КОТЕРЫЙ, гот. *anþar*, лит. *añtras*, ст.-слав. ВТОРЪ). Индоиранскому суффиксу превосходной степени *-tama-* (из **-temo-*, др.-инд. *puru-tama-* 'очень много') соответствует греч. *-tato* (из **-tām-to*, σοφώ-татος 'мудрейший'). Можно еще отметить аффиксы инфинитива **-ai*, **-menai*: греч. δομεναι, кипр. δοῖναι, др.-инд. *dāmane*, *davāne*.

Ряд общих явлений имеется в специфическом строении отдельных общеиндоевропейских слов [Порциг, 1964, 241—242; Solta, 1960, 73, 164, 180, 292, 333, 405, 474; Kretschmer, 1896, 168—170]. Только в языках юго-восточной зоны имеются образования сред. рода на *-es-* от общеиндоиранских корней **g^hher* и **wek^u*: греч. τὸ θέρος 'летняя жара', арм. *ĵer*, др.-инд. *haras* 'жар'; греч. (F)έπος, вед. *vacas*, авест. *vačō* 'слово'. Только на юго-востоке название женской груди начиналось на **st-*: греч. στῆνιον, στῆθος, арм. *stin*, др.-инд. *stāna-s*, авест. *fštāna-* (ср. др.-исл. *speni*, д.-в.-н. *spen*, лит. *spenys*, прус. *spenis* 'сосок'). Характерно название человека как смертного: греч. βροτός, μортός, ἄνθρωπος, θνητός (Hesych.), арм. *mard* (ср. *meṛanim* 'умираю'), др.-инд. *mārta-s* (ср. *maryāte* 'умирает', *mārtya-* 'смертный'), авест. *marəta-*, *maš(y)a-*, перс. *mard* (ср. *martiya-* 'смертный'), ср. заимствования из общеарийского: удм. *мурт*, коми *морт* 'человек' (фин. *martaa* 'мерт-

вый') — в отличие от древнего общиндоевропейского названия человека как "земного" (лат. *homo*, оск. *humuns* 'люди', гот. *guma*, лит. *žmuo*, прус. *smou* 'человек', *smūni* 'личность', агн. А *řom*, куч. В *řauto* 'человек', фриг. ζεμελος; тот же корень — в слав. *земля*, лит. *žemė*, лат. *humus* 'почва', греч. χθών 'земля', др.-инд. *ksam-*, агн. А *tkañ*, хет. *iekan*). В значении 'старый, старик' употреблялся корень **ǵer-* (первоначальное значение, по-видимому, 'тереть, крошить', ср. лат. *grānum*, ст.-слав. ЗРЬНО): греч. γέρων, арм. *ser*, др.-инд. *jārant-* (ср. также *jīrnāk* 'старый'), авест. *zarant-*, осет. *zäronð*. Показательно также общее образование от корня **dheǵh-* 'лепить' для обозначения глиняной плотины, глинобитной стены, также крепости: греч. τεῖχος, τοῖχος, фрак. -διζα (в топонимах), арм. *dez*, др.-инд. *dehī*, авест. *uz-daēza*, др.-перс. *dida* [Solta, 1960, 462—466; Грантовский, 1970, 184]¹. Специфические "юго-восточные" именные корни: греч. μεῖραξ, μεῖράκιον 'юноша', др.-инд. *mārya-s*, *maryakā-s* (в митанийском арийском *maryan-* 'колесничий'), ср.-перс. (пехл.) *mērag* (ср. заимствования в финно-угорских: мар. *марий* 'мужчина, человек, мариец'); греч. αἶξ 'коза', арм. *auc* (ср. авест. *izaēna* 'из козьей шкуры, кожаный'), греч. ἀρήν 'ягненок', арм. *gain*, вед. *úrā* 'овца', др.-инд. *úraṇa-s* 'барашек', ср.-перс. пехл. *warrag*, перс. *barrā* 'барашек, ягненок', осет. *джәр*, пушту *wrau* (ср. заимствование в коми *варнӧс* 'годовалый ягненок'). Характерным новообразованием является обозначение тысячи: греч. χεῖλιοι, др.-инд. *sahāśra-*, авест. *hazañra-*, согд. *z'r*, пушту *zər*, хот.-сак. *ysāra* (ср. заимствования: коми, удм. *сюрс*, хант. *сёрыс*, манс. *сётыр*).

В греко-армяно-арийской лексике имеется также ряд архаизмов, замененных в итало-кельтских, германских и балто-славянских языках общими новообразованиями (так называемые *le vocabulaire du nord-ouest* [Meillet, 1908, 17, 23]). На большую древность всех общих слов, подобных перечисленным, указывают регулярные фонетические соответствия (кентум/сатем, "передвижение согласных" и др., например: греч. γέλως — арм. *cañr* 'смех', греч. χιών — арм. *jiwn* 'снег', греч. κενός — арм. *sin* 'пустой', греч. μεγαίρω 'завидую' — арм. *tesaret* 'ценю', греч. κίον — арм. *siwn* 'колонна', греч. πόρκος — арм. *ors* 'сеть, силок', греч. αὐχὴν 'шея' — арм. *awjik* 'ожерелье'). Значит, эти слова уже существовали в диалектах еще до их позднейших значительных расхождений [Порциг, 1964, 244, ср.: Solta, 1960, 462—466].

Непосредственные данные о фракийском и фригийском языках (апеллятивная лексика, переданная в греческих глоссах, прочитанные фрагменты фригийских надписей) говорят об их большой близости как между собой, так и с греческим языком: фрак. вин. п. *νίβα* 'снег' — греч. *νίφα*, фрак. *ζελας*, *ζηλας*, *ζιλας* 'вино' — греч. *χῦλος* 'сок', фрак. *ζετραи* 'сосуд' — греч. *χύτρα*, фрак. *ενεα* — греч. *ἐννεα* 'девять', фриг. *γλωρον* 'выгон', *γλουρος* 'золотой' — греч. *χλωρός* 'желтый, зеленый', фриг. *Κικλη* 'полярная звезда, Воз' — греч. *κύκλος* 'колесо, воз', фриг. *ζευμαν* 'источник' — греч. *χεῦμα* 'струя, поток', фриг.

¹ Однако и за пределами юго-восточной зоны: оск. вин. п. мн. ч. *féihüss* "muros".

δομος 'община', 'курган' — греч. θυμός 'куча', фриг. θεος — греч. θεός 'бог', фриг. дат.п. Favaктеi — греч. ἀναξ 'царь', фриг. ιος, ιοσκε — греч. ὅς, ὅστε 'который', фриг. γορδος 'город' (?) — греч. χορτος 'пастбище, загон, ограда', фриг. κακουv — греч. κακόν 'зло', фриг. ονομαv — греч. ὄνομα 'имя', фриг. κνουvαv 'надпись' (дат. п. κνουvαvι, κνουvαvει) — греч. κνῦμα 'нацарапанное', фриг. τιαμα 'надгробие' — греч. σῆμα 'знак', фриг. *εζις (?) 'еж' — греч. ἐχίς 'змея', ἐχίνοc 'еж'. Несомненно, к этой же языковой группе, которую можно назвать греко-фракийской или палеобалканской [Нерознак, 1978], принадлежали языки македонцев и карийцев [Откупшиков, 1966].

Помимо палеобалканской (греко-фракийской) в юго-восточную (греко-арийскую) диалектную зону входили группы протоарийская и протоармянская. Данные исконной общей лексики этих трех групп показывают, что носители древнейших греко-арийских диалектов были хорошо знакомы со скотоводством, при этом значительную роль играло разведение крупного рогатого скота (греч. βοῦς — др.-инд. *gaus* 'бык, корова', греч. ὀρός 'сыворотка' — др.-инд. *sara-s* 'творог', греч. τυρός 'сыр' — авест. *tuīrya-*); этим индоевропейским племенам было знакомо коневодство (греч. ἵππος, фрак. имя собств. Βετεσπιος — др.-инд. *aśva-s* 'конь'), они знали колесо (греч. κύκλος — др.-инд. *śakra-s*), ось (греч. ἄξων — др.-инд. *aksa-s*), ярмо (греч. ζυγόν — др.-инд. *yuga-m*); знали ткачество (греч. ὑφαίνω — др.-инд. *urna-vabhi-* 'паук', букв. 'шерстопряд'), зачатки земледелия (греч. ζέα 'полба' — др.-инд. *yáva-s* 'ячмень'). Эти племена строили укрепленные поселения на возвышенностях (греч. πόλις — др.-инд. *pur*), обнесенные стеной (греч. τεῖχος — др.-инд. *deha-s, dehī*), умели делать лодки или корабли (греч. ναῦς — др.-инд. *pau-s*, также греч. ἐρετρὸν 'весло' — др.-инд. *aritra-*). Им был знаком медовый опьяняющий напиток (греч. μέθυ — др.-инд. *madhu*). По-видимому, уже существовала частная собственность (греч. πόσις 'господин, хозяин' — др.-инд. *pāti-s* 'хозяин, муж'), а значит, могли быть и обездоленные сироты (греч. ὄρφανός — арм. *orb*). У этих племен уже сложилась патриархальная семья (греч. πατήρ — др.-инд. *pitā*, греч. νύος 'сноха' — др.-инд. *snuṣā*, греч. ἑκυρός 'свекор' — др.-инд. *śvācūra-s*, греч. δαῖρ 'деверь' — др.-инд. *devā*, греч. εἰνάτερες 'ятровки, жены мужниных братьев' — др.-инд. *yātaras*). Социально-семейные отношения получили отражение в религии (греч. Ζεὺς πατήρ — др.-инд. *Dyaus pitā* 'небесный отец богов'; из других общих божеств ср. греч. Ἑὼς — др.-инд. *Uṣas*, греч. Πάν — др.-инд. *Pūṣā*, букв. 'делающий тучными стада, наполняющий').

Все эти лингвистические данные говорят о патриархальных племенах, не знавших или плохо знавших металл, имевших развитое скотоводство. Поздненеолитические культуры юга Балканского полуострова и Нижнего Подунавья, восходящие своими традициями еще к местному раннему неолиту, по-видимому, не принадлежали индоевропейцам (ведущим у них было мотыжное земледелие, а не скотоводство, в стаде преобладали овцы и козы, коровы появились позже, было почитание женских божеств-прародительниц, а не небесных богов), индоевропеизацию Балкан следует приписывать пришлым племенам.

Если согласиться с археологами, увязывающими эллинизацию юга Балканского полуострова с появлением там в первой половине II тысячелетия до н.э. серо-минийской керамики [Титов, 1969], а распространение протоиранцев и протоиндоарийцев в степной и лесостепной зоне Восточной Европы с развитием (в начале и в середине II тысячелетия до н.э.) катакомбных, полтавкинской и срубных культур [Горнунг, 1964, 35, 38, 46; Грантовский, 1970, 358—360; Кузьмина, 1981, 109—115], то греко-фракийскую (палеобалканскую) общность следует относить к более ранней эпохе и связывать с распространением в середине и второй половине III тысячелетия до н.э. курганно-мегалитических культур к югу от Дуная вплоть до Эгейского моря, Фессалии, Аттики и северо-восточного Пелопоннеса (Лерна), а индоиранскую (арийскую) общность — с образованием и распространением в лесостепной и степной полосе Восточной Европы скотоводческо-земледельческой ямной культуры. Допустимо предположение, что единой исходной базой этих халколитических культур, которая может быть идентифицирована с юго-восточной (греко-арийской) диалектной индоевропейской общностью, была серия родственных поздненеолитических-раннехалколитических культур, протянувшаяся в IV тысячелетии до н.э. с запада на восток от нижнедунайского левобережья и Добруджи через приднестровские, приднепровские и крымские степи (нижнемихайловская и кемиобская культуры) в Приазовье (культуры мариупольского круга) и далее за Дон на юго-восток и юг до северо-западного Кавказа (новосвободненская культура). С продвижением этих культур (генетически, по-видимому, связанных с кругом культур воронковидных кубков Средней Европы) развивалось экстенсивное пастушеско-земледельческое хозяйство, ведущим для которого постепенно становилось разведение крупного рогатого скота. В отличие от матриархально-родовых общин мотыжных земледельцев, населявших плодородные лёссовые районы Подунавья (носители культур крашеной керамики), это были подвижные патриархальные племена, постепенно осваивавшие обширные степные и лесостепные пространства. Их экспансии способствовало изобретение колесного транспорта и domestикация (впервые — в северном Причерноморье) лошади². Этим племенам были свойственны культ предков по мужской линии (отраженный в ритуальных курганных захоронениях), почитание огня. Характер захоронений свидетельствует о выделении из рода отдельных семей, начале имущественного и социального неравенства.

Юго-западную (итало-кельтскую) диалектную группу выделяли уже А. Шлейхер [Schleicher, 1852, 141], К. Лотнер [Lottner, 1858, 18], Г. Эбель [Ebel, 1863]. Сторонниками теории итало-кельтского единства были А. Мейе [Meillet, 1908], Х. Педерсен [Pedersen, 1925, 19], в последнее время — В.И. Георгиев [1956, 67; 1958, 279]. Если принимать возражения К. Марстрандера [Marstrander, 1929, 241—259], то все же следует не отбрасывать эту теорию в целом, но вместо "един-

² К IV тысячелетию до н.э. относятся древнейшие в мире следы ритуальных захоронений конских черепов и изображения коня в Приазовье [Кузьмина, 1981, 110].

ства" говорить лишь о древней общности, допускающей не только значительное диалектное дробление, но и разного рода внешние схождения отдельных диалектов (отраженные, в частности, в некоторых итало-германских реликтовых соответствиях).

Диалектные особенности юго-западной зоны реконструируются по данным италийских (включая венецкий) и кельтских языков. Из фонетических особенностей следует отметить *e*-образную окраску рефлексов **ь* в соседстве с носовыми: лат. *centum* — др.-ирл. *cét*, лат. *dens* 'зуб' — др.-ирл. *dét* (← **dǣnt*-; *a*-образная окраска в бриттских, возможно, результат более поздних изменений: кимр. *cant*, корн. *cans*, брет. *kant* 'сто', кимр., брет. *dant*, корн. *dans* 'зуб'); дистактную регрессивную ассимиляцию губного **p* лабиализованным **k^u* следующего слога: лат. *quinque*, др.-ирл. *coic* (также оск. *pompe*-, кимр. *pimp*, *pump* из **k^uymk^ue* ← **rynk^ue*), венец. *Quarqueni* (ср. лат. *quercus* 'дуб' ← **perkwo*s). В области морфологии следует указать прежде всего на флексии 1-го лица ср.-страд. залога ед. числа -*ōr*, мн. числа -*mor*: лат. *loquor*, др.-ирл. *labrur* 'говорю', мн.ч. *loquimur*, *labrimmir*; ср. также кимр. *cerir*, корн. *keryr*, брет. *carer* 'люблю'. Окончания на -*r* известны также в оском, умбром и венецком языках: оск. *vincer*- ~ лат. (*con*)*vincitur*, *lamatir* 'приносить в жертву', умбр. *emantur* 'даются, берутся', *ařfertur* 'доставляется' ~ лат. *affertur*; ср. также венец. *tuler/toler* 'obtulit (?)' 'подвергнул', *kvidor* "solvit(?)" 'избавил'; следы форм на -*r* обнаруживаются также в мессапском (инфинитив *dular*) [Statha-Halikas, 1980, 477—483]. За пределами итало-кельтской зоны древние формы 3-го лица на -*r* сохранились также во фригийском (αββερεтор, αβδαкетор 'приделяет'), арийских (др.-инд. *duhre* 'доят', *šere* 'лежат', авест. *šōire*). Особые самостоятельные системы средне-страдательного спряжения на -*r*- развились, с одной стороны, в хеттском, с другой — в агнео-кучанских [Kammenhuber, 1961, 45, 75], однако там окончания 1-го лица не родственны ни между собой (хет. -*hari*-, -*waštari*, но агн. А ед. ч. -*mar*, мн. ч. -*matär*), ни с итало-кельтскими.

Другой древней особенностью итало-кельтских языков является окончание род. падежа ед. числа второго склонения -*i* (лат. *lupī*, *equī*, др.-ирл. *maicc* ← *maqi* 'сына'; ср. также венец. -*oi*, -*ei*, -*i*: Trumusi jatei donom "donum Trumusiati", donom Sainati, Vhouxontioi "Fougontii", Veixnoi "Vicini", также мессапская форма Platorrihi "Platorii" (что дает некоторые основания для возможности отнесения к юго-западной зоне и мессапского языка). Италийским языкам было также известно и сложное окончание **-os* + *io* (общее с гом: -*oio*, арм. -*су*, др.-инд. -*asya*): фалис. *Kaisiosio* "Caesii".

Италийским и кельтским языкам свойствен особый суффикс превосходной степени **-(i)samo-*: лат. *facillimus* 'легчайший', *pigerrimus* 'ленивейший' (из **facil-samo-s*, **piger-samo-s*, ср. также гапологию в *maximus*, *proximus* из **mag-simos* ← **magis-samo-s*), оск. *maimas* 'наибольшие', *nessimas* 'proximae ближайšie', умбр. *nesimei* 'близко', др.-ирл. *nessan*, кимр. *nesaf* 'ближайший', галл. *Uxama*, Ουξισαμν, кимр. *uchaf* 'высший', *hinham* патриций'. Характерен словообразовательный суффикс в лат. *natio*, *mentio*, умбр. *natine* (абл.), др.-ирл. *toimtiu* 'мысль'.

В морфологии глагола итальянским и кельтским языкам была свойственна общая форма условного наклонения на *-a-* (лат. *feram*, др.-ирл. *bera* 'если несу, чтобы я нес'), латинскому, фалисскому и ирландскому — форма буд. времени на **-bh-* (лат. *amābo, monēbo, audībo*, фалис. *carefo, pipafo*, др.-ирл. *rranfa* 'приму участие', *léicfeā* 'оставлю').

Только в итало-кельтских языках индоиранский корень **mē-* 'зреть, расти, процветать; рождаться' (ср. хет. *mai-, miya-*, др.-инд. *mīmīte, māti*) с распространением **-t-* получил значение 'косить, жать': лат. *meto* (ср. *metior* 'измерять'), кимр., брет. *medi*, ср. др.-ирл. *meithleorai* 'жнецы', ср.-ирл. *meithel* 'группа жнецов' (ср. другое распространение в д.-в.-н. *maen*, др.-англ. *māwan* 'жать, убирать урожай'). От индоевропейского глагольного корня **i(e)rs-* 'сушить; жаждать' (греч. *τέρσομαι*, др.-инд. *tṛṣyati*) образовалось итало-кельтское название земли: лат. *terra*, оск. *teerūm*, ирл. *tír*, кимр. *tir*. Корень со значением 'река, вода' имел форму **ab-* (лат. *amnis*, др.-ирл. *abann*, кимр. *afon*, др.-брет. *Abona*, брет. *avon*) в отличие от *ap-* в других языках (др.-инд. *ap*, авест. *āfs*, прус. *ape, apus*). Из глагольного корня **ter-, *tr-* (др.-инд. *tárati* 'проникает') возникли служебные слова (предлоги): лат. *trans*, умбр. *tra(f)*, кимр. *tra-*, др.-ирл. *tar*; ср. также лат. *de* 'от, прочь, вниз', др.-ирл. *dí*, кимр. *dí*, корн. *the* (ср. лат. *deses* 'ленивый, праздный' — др.-ирл. *dééd, deēs*). Другие лексические схождения: лат. *veru* 'дротик, копье' — умбр. (отл. мн.) *berus*, др.-ирл. *bir*, кимр. *ber*; лат. *currus* 'повозка', *carrus* (из галльского) 'телега' — др.-ирл., кимр. *care*, брет. *karr*; лат. *saeculum* 'век, поколение' — кимр. *hoedl*, др.-брет. *hoetl*; лат. *bilis* 'желчь' — кимр. *bustl*, др.-корн. *bistel*, брет. *bestl*; лат. *velum* 'покрывало, полотно, парус' (*vexillum* 'знамя') — др.-ирл. *figim* 'тку', кимр. *gweu* 'тку', *gueetic* 'ткаческий'; лат. *solium* 'престол, трон' — др.-ирл. *suide* 'сиденье'.

Отделение носителей юго-западных диалектов (предков кельтских, итальянских, венецского языков, а возможно, также и диалектов мессапов-япигов и иллирийцев) от древнейшего общиндоевропейского диалектного континуума скорее всего можно связывать с продвижением в III тысячелетии до н.э. вверх по Дунаю и его правым притокам пастушеско-земледельческих культур, для которых исходной областью была Среднедунайская низменность (ср. родственные с более северными культурами воронковидных кубков позднеэолитическую тисапольгарскую и раннехалколитическую бодрогкерестурскую, позже — печельскую культуры в Венгрии, родственные им коцофеньскую в Трансильвании, банатскую и мондзейскую в Австрии, косточачскую и вучедольскую в Югославии, альтгеймскую в Южной Баварии [Монгайт, 1973, 241—255, 319]; предполагаемые дальнейшие продвижения к северо-западу от Альп и на юго-запад в Италию можно связывать с возникновением кельтских и итальянских языков.

Северная (германо-балто-славянская) группа выделялась уже индоевропейцами середины XIX в. [Zeuss, 1837, 18 ff.; Grimm, 1848; Schleicher, 1852, 141 ff.]. В фонетике характерной древней чертой, объединяющей германские, балтийский, славянские, а также албанский языки, является слияние, неразличение рефлексов индоевропейских

кратких *o и *a. "Северному" *a в одних случаях может соответствовать ирландское, латинское, греческое, армянское a (гот. *ahsa*, лит. *ašis* — лат. *axis*, греч. ἄξων 'ось'; др.-исл. *aka* 'ехать' — др.-ирл. *agim*, лат. *ago*, греч. ἄγω, арм. *acet* 'веду'; алб. *kap* 'хватать' — кимр. *câf*, лат. *capio*; алб. *ballë* 'лоб' — греч. φάλυς 'гребень шлема'), в других — o (алб. *ah* 'бук', д.-в.-н. *ask* 'яшень' — греч. ὄξυα 'бук', гот. *arbja* 'наследник' — др.-ирл. *orbe* 'наследник', лат. *orbis* 'сирота', греч. ὄρφανός, арм. *orb* 'сирота', ср. также заимствование из общеарийского в саами *oarbes*, *orhpes* 'сирота'; лит. *pàts* 'господин, жених', гот. *bruþ-faþs* 'жених' — лат. *potis*, греч. πόσις 'господин, супруг'; алб. *darkë* 'ужин' — греч. δόρπον). В славянских языках письменной эпохи рефлексом общесеверного *a было o, но заимствования в греческом и финском показывают, что первоначально здесь произносился *a (греч. Πειράγαστος < *ПИРОГОСТЬ, Δαργάμπος < *ДОРГОМЪРЪ, фин. *akkuna* < око́но, *tappara* < топоръ).

В древнеписьменных индоиранских языках была не четырехугольная (как на севере), а треугольная система вокализма:

i	u	ī	ū
a	ē	ō	
	ā		

Гласная ā произошла из слияния *ē, *ā, *ō, на первоначальное (в дописьменную эпоху) различие этой триады гласных указывает, с одной стороны, закон Коллитца (палатализация k→c, g→j перед a, восходящим к *e: др.-инд. *catvāras*~лит. *keturi* 'четыре', др.-инд. *jīva*~лит. *gūvas* 'живой'), с другой — закон Бругмана — удлинение в открытом слоге a, восходящего к *o: греч. ὄνυ ~ др.-инд. *jāni* 'колено', греч. γέγονα ~ др.-инд. *jajāna* 'породил'. Предпринимавшиеся прежде попытки объяснить такое удлинение в индоиранских языках как чисто морфологическое явление и результат сложных изменений по аналогии [Kuryłowicz, 1956, 321—338; 1977, 163—178] трудно признать убедительными, скорее всего мы имеем следы первоначального различия в арийском рефлексов *a и *o (удлинявшегося в открытом предупредном слоге), а следовательно, можем реконструировать треугольный "окающий" вокализм и для раннего арийского, объединяя его тем самым с "окающим" армянским, греческим, итальянским и кельтским и противопоставляя, таким образом, языкам с четырехугольным северным "акающим" вокализмом (славянским, албанскому, балтийским, германским). "Акающий" вокализм прослеживается также и в агнео-кучанских языках [Windekens, 1976, 15—20, 24], имеющих и ряд других древнейших схождения с языками северной группы [ср.: Порциг, 1964, 277]. О хетто-лувийских языках мы не можем сказать ничего определенного, поскольку шумеро-аккадская клинопись не могла отразить различие между o и a.

В области фонетики особенностью албанского и балтийских языков является различие рефлексов долгих *ō:ā (ср. *ō в алб. *pele* 'кобыла', лит. *dūoti*, *dūomi* — греч. πῶλος 'жеребенок', δίδωμι 'даю', но *ā в алб. *motër* 'сестра', лит. *motė* 'мать', дор. *māthra*) при

неразличении кратких *ō:*ā (в славянских, как и в германских, не различаются рефлексы ни *ō:*ā долгих, ни *ō:*ā кратких).

В области морфологии следует прежде всего отметить наречные образования с элементом *-n- (развившиеся позже в падежные формы) в отличие от образований на *-bh- в языках юго-восточной и юго-западной зон: дат.п.мн.ч. гот. *wulfam*, лит. *vilkāms*, ст.-слав. ВЛЪКОМЪ (ср. др.-инд. *vrkebhyaś*, авест. *vahrkaeibyo*; также арм. -b-, -w-, греч. -φι, др.-ирл. -b-, лат. -bus). В таких диалектах (языках), где употреблялись образования на -m-, развивался род. падеж ед. числа тематического склонения на *-es-so (*-os-so, где вторая часть восходит, по-видимому, к местоименной основе *so, ср. др.-инд. *sa, sā*, греч. ὁ, ἡ): гот. *wulfis* 'волка' (из **wylkwe-so*), рун. *Asugisalas* (*-oso), прус. *deiwas* 'бога' (←**deiwo-so*), ст.-слав. ЧЕГО 'чего'. Итальянские, греческий, армянский и арийские языки (имеющие падежные или наречные образования на *-bh-) отражают и.-е. *-es-io (*-os-io, где вторая часть восходит, по-видимому, к местоименной основе *io-, ср. др.-инд. *ya-s, yā, yad*, греч. ὅς, ἥ, ὅ): фалис. *Evotenosio, Kaisiosio* "Caesii", гом., эол. ἱπποιο, λῦκοιο, πολέμοιο (из **-ohjo*), арм. *khnoy* 'сна' (из **swpno-syo*), *işoy* 'осла' (из **-ekwo-syo*), авест. *ahurahyā* 'бога', др.-инд. *açvasya* 'коня', *vṛkasya* 'волка' [Семереньи, 1980, 196]³. Первоначально особой индоевропейской формы род. падежа, по-видимому, не существовало, формы атематического род. п. *-os совпадают с тематическим именительным (подобно тому как формы атематического дат. п. *-di совпадают с тематическим местным, греческий же тематический дат. п. οι оказывается как бы "вдвойне тематическим" [Широков, 1983, 121—124]. Древнейшие падежные формы албанского языка, преобразовавшего всю свою систему склонения, нам не известны.

В германских, литовских и старославянских причастиях жен. рода противопоставлялось в им. падеже ед. числа окончание, восходящее к и.-е. *-ī, окончанию вин. падежа ед. числа, восходящему к *-iām: *frijōndi –frijōndja*, лит. *áuganti – áugančq*, ст.-слав. БЕРЖЦІ — БЕРЖЦІЖ (в других языках обобщалась либо основа на *ǵə: греч. φέρουσα — φέρουσιν, либо основа на *-ī: др.-инд. *bharanī – bharanīm*). В формах им.-вин. падежа мн. числа слов сред. рода в славянском и германском представлена флексия *-ā (ст.-слав. *uga, словеса, имена*, гот. *waúrda, triwa, kunja*) в отличие от *-ə на юге (др.-инд. -i, греч. α, лат. -ā).

Только в северной зоне местоимения трех родов могли иметь в косвенных падежах одинаковые формы: дат. п. мн.ч. гот. *faim*, лит. *tiems*, ст.-слав. ТѢМЪ.

Много сходства имели системы числительных: сочетаниям ст.-слав. ДВѢ ДЕСАТИ, ТРИ ДЕСАТИ и т.д. соответствуют сочетания же в литовском (*dvi dēšimtys, trys dēšimtys*) и готском (*twai tigjus, freis tigjus*) в отличие от цельных слов в других языках (лат. *viginti, triginta*, греч. εἴκοσι, τριάκοντα и т.д.); ср. также лит. *vienúolika* "11",

³ Допустимо также сопоставление второй части "южного" окончания -oso с хеттской энклитической частицей (союзом) *ya*, агн. А *yo* 'и'.

dyýlika "12" — гот. *ainlif, twalif*. Значение тысячи также передается одинаково: гот. *fusundi*, лит. *tūkstantis*, ст.-слав. ТЫСАЩА.

Ряд особенностей имеется в глагольном основообразовании и словоизменении. Славянским основам наст. времени на -НЖ- (УЖАС-НЖТИ) соответствуют готские на -*n(a)-* (*usgeisnan*), в литовском — с носовым инфиксом (*pabundù*). Каузативные глаголы имеют в германских, балтийских и славянских формообразующий суффикс *-*i/-i-* (ст.-слав. ПРОСИТИ — ПРОШЖ < **prosjom*, лит. *prašyti — prašau*, гот. -*nasja*) в отличие от *-*ejo-* в латинском, греческом и санскрите (*doceo*, φορέομαι, φοβέομαι, *bhārayāmi* 'заставляю носить', *svāpayāmi* 'усыпляю', *bodhayāmi* 'бужу').

Можно выделить несколько общих черт в именном словообразовании: суф. *-*isko* (в особенности для обозначения этнического происхождения или сходства: гот. *fiud-isks* 'народный', *mannisks* 'человеческий', д.-в.-н. *frenkisk* 'франкский', лит. *lietuviškas* 'литовский', прус. *prusiskan* 'пруссский', ст.-слав. СЛОВѢНСКЪ); абстрактные суффиксы *-*sni-*, *-*sna-* (гот. *furhsni* 'хрустѣнъ', ст.-слав. ПѢСНЬ), *-*ijā-* (гот. -*fwo-*, ст.-слав. -ТВА), *-*stjo-* (ст.-слав. БѢСТВО, гот. *waúrstjw*). От корня **g^uer(ə)-* (ср. др.-инд. *gur-ú-* 'тяжелый', *gari-mā* 'тяжесть', греч. βαρ-ύ-ς, лат. *grā-v-i-s*) образование со значением 'жернов, ручная мельница' имело вид **g^uerə-nu-/*g^u ərə-now-* (гот. *asilu-qairnus*, др.-исл. *kvern*, др.-англ. *cveorn*, д.-в.-н. *quirn*, прус. *girnaywis*, лит. *girna*, *girños*, лтш. *dziřnus*, ст.-слав. ЖРѢНЫ (ср. иные образования в др.-ирл. *bráiu*, др.-инд. *grāvan-*). Основа **wel-/wol-* 'владеть, управлять, вельть' (ср. куч. *B walo*, агн. *A wālo* 'царь', др.-ирл. *fol n-*, *fal n-* 'господствовать', оск. *valaetom* 'лучший', лат. *valeo* 'являюсь сильным') была усложнена распространителем *-*dh-*: гот. *waldan*, др.-исл. *valda*, д.-в.-н. *waltan*, лит. *veldù, vėldu, veldėti, valdaù, valdyti*, лтш. *valdu, valditi*, ст.-слав. ВЛАДЖ, ВЛАСТИ, ВЛАДѢТИ (ср. прус. вин. п. мн.ч. *wāldnikans* 'королей'). Название золота образовывалось от корня **ghel-/ghol-* 'желтый' (ср. др.-инд. *hári-*, авест. *zari-* 'желтый', также греч. χόλος 'желчь', лит. *želiù* 'зеленю', прус. *saligan* 'зеленое', лтш. *zēlt* 'зеленеть', ст.-слав. ЗЕЛЕНЬ) с помощью суф. *-*to-* (гот. *gulþ*, др.-англ., д.-в.-н. *gold*, лтш. *zēlts*, вост.-лит. *želtas* 'золотой', ст.-слав. ЗЛАТО; ср. без этого распространителя др.-инд. *hiraṇya-*, авест. *zaranya-*, др.-перс. *daraniya-* 'золотой'); распространитель *-*t-* имело и слово, обозначающее 'десять': гот. *taihun* (сохранение -*n-* говорит об отпадении конечного *-*t-*, ср. также др.-англ. *tien*, д.-в.-н. *zehan*), ст.-слав. ДЕСАТЬ, прус. *dessimpta*, лит. *dėšimts*, алб. *dhjetë* (ср. в языках южной зоны без *-*t-*: лат. *decem*, др.-ирл. *deich n-*, греч. δέκα, арм. *tasn*, авест. *dasa*, др.-инд. *dāca*).

Индоевропейские именные основы первоначально в процессе склонения подвергались регулярному чередованию огласовок **e/o/ø*; например, в слове со значением 'снег' в разных падежах основа имела вид: **sneig^uh-/snoig^uh-/snig^uh-*. В языках северной зоны последовательно обобщался вид **snoig^uh-*: гот. *snaiws*, др.-исл. *snjór*, др.-англ. *snāw*, д.-в.-н. *snēo*, прус. *snaygis*, лит. *įsnaigas, įsnaiga, snaigala* 'снежинка', *sniegas* 'снег', лтш. *snieg̃s*, ст.-слав. СНѢГЪ (за пределами северной зоны такую огласовку отражают только др.-инд. *sneha-s*,

авест. *naeža*, *snaēžāt* 'пойдет снег', ср. другую огласовку в греч. *viž*, *veíφei*, *viφei*, фрак. *viβa*, лат. *nix*, *ninguit*, др.-ирл. *snechtae* 'снег', *snigid* 'капает, дождит', кимр. *nyf*, однако и в д.-в.-н. *snīwan* 'идти снегу, снежить').

Для слова со значением 'кулак' в основу было положено обозначение 'пяти (и.-е. **penk*^u-/*pyñk*^u-) пальцев' (др.-англ. *fýst*, д.-в.-н. *fūst*, ст.-слав. ПАСТЬ, лит. *kūmpstė* вм. **pumpkstė*); для понятия "народ, люди, свободные воины" — корень **leudh*- 'расти' (д.-в.-н. *liut*, лит. *liaúdis*, лтш. *laudis*, ст.-слав. ЛЮДИЕ). От индоевропейского глагольного корня **mē*- 'измерять' (др.-инд. *mimāti*, лат. *metior*, ст.-слав. МѢРА) в языках северной зоны были образованы названия времени, момента, часа — **mē-l*-, **mē-t*- (гот. *mel*, др.-исл. *mal*, др.-англ. *mæl*, д.-в.-н. *māl*, вост.-лит. *tuо mēl* 'сразу', лит. *mėtas* 'время', *mėtai* 'год', алб. *mot* 'год, погода' [Широков, 1981, 18; 1984, 20], ср. иное образование от этого корня — хет. *mehur* 'время').

Из других лексических схождений можно отметить название для сосуда, судна, челна (норв. диал. *olda*, др.-англ. *ealdof*, *aldaht*, лит. *aldijà*, *eldijà*, ст.-слав. АЛДИИ, ЛАДИИ); др.-исл. *klafi* 'ярмо для коров', лит. *glėbti* 'обнимать', рус. *оглобля*; др.-исл. *meiss* 'корзина', лит. *māšas* 'мешок', ст.-слав. МѢХЪ; гот. *driugan* 'служить в войске', *gadraúhts* 'воин', др.-исл. *drótt* 'дружина, свита', лит. *draūgas*, ст.-слав. ДРОУГЪ; гот. *gadaban* 'соответствовать', лит. *dabà* 'природа, характер', *dabnūs* 'красивый', ст.-слав. ДОБРЪ; гот. *halis* 'здоровый, целый', др.-исл. *heill*, др.-англ. *hāl*, прус. *kails* 'здравствуй', вин. *kailūstiskan* 'здоровье', ст.-слав. ЦѢЛЪ (в языках южной зоны обычно употреблялся лишь старый корень, отраженный в др.-инд. *sārva*-, арм. *oļ*, греч. *ὅλος*, лат. *salvus*); др.-исл. *slápr* 'ленивый', исл., норв. *slapa* 'вялый', лит. *slābnas* 'слабый', *slabstù*, *slōbti* 'слабеть', ст.-слав. СЛАБЪ; гот. *naus* 'труп мертвец', *ganawistan* 'похоронить' (*отправлять на ладье от и.-е. **nau*-s 'ладья, корабль'), др.-исл. *nár* 'труп', лтш. *nāve* 'смерть', др.-чеш. *nav* 'могила, преисподняя', др.-рус. НАВЪ 'привидение'; гот. *baírgan* 'сохранять', лит. *birginti* 'жадничать, беречься', ст.-слав. БРѢГ, БРѢШТИ; гот. *blandan sik* 'смешиваться', *blinds* 'слепой', лит. *blandūs* 'нечистый, мутный', ст.-слав. БЛЖДЪ, БЛАДЖ (за)блужда(юсь); гот. *dails* 'часть', *dailjan* 'делить', лит. *dailýti*, ст.-слав. ДѢЛИТИ; гот. *daug* 'достает, достаточно', нем. *taugen* 'годиться', лит. *daūg* 'много', рус. *дюжий*, укр. *дуже* 'очень'; гот. *ju*, лит. *jaĩ*, ст.-слав. ЮЖЕ 'уже'. К более поздним схождениям относятся др.-исл. *rugr*, др.-англ. *rygge*, д.-в.-н. *rocko*, лит. *rugys*, *rugiaĩ*, лтш. *rudzis*, др.-рус. РЪЖЪ 'рожь', гот. *silubr*, др.-исл. *silbar*, др.-англ. *seolfor*, д.-в.-н. *sil(a)bar*, прус. вин. п. *sirablan*, лит. *sidabras*, лтш. *sidrabs*, *sudarbs*, ст.-слав. СЪРЕБРО (по-видимому, неиндоевропейское заимствование в отличие от южного **arǵ*- букв. 'белое' [Mallory-Huld, 1984]); гот. *fusundi* 'тысяча', др.-исл. *þúsund*, др.-англ. *þūsend*, д.-в.-н. *dusunt*, лит. *tūkstantis*, лтш. *tukstuots*, прус. *tūsimtons*, ст.-слав. ТЫСАШТЬ. Сюда можно добавить еще германо-албанское схождение: с.-н.-н. *būr*, др.-исл. *burr* 'сын', алб. *burr* 'мужчина'; ср. также др.-англ. *sprecam*, д.-в.-н. *sprechan*, алб. *shpreh* 'говорить, высказываться' (ср. лит. *sprāga* 'трещит', др.-инд. *sphūrjati* 'проявляется', греч. σφαραγέομαι 'трещу, щиплю').

Следует обратить особое внимание на то, что подобные древние германо-албанские, германо-славянские и германо-балтийские схождения регулярно отражают корреспонденции передвижения согласных и кентум/сатем: др.-англ. *tergam*, с.-н.-н. *tergen* 'рвать, дергать' — алб. *drudh* 'давить, толочь'; д.-в.-н. *wurgjan* 'давить', др.-исл. *virgill* 'веревка, узел' — алб. *zvjerdh* 'отнимать от груди ребенка, отвязывать', *vurdh* 'плющ', лит. *vežti* 'вязать, сжимать', ст.-слав. ПОВРЪСТИ, -ВРЪЗЖ; др.-исл. *gorn*, д.-в.-н. *garn* 'кишка, бечева' — алб. *zorre*, лит. *žárna*), что говорит о глубокой древности северной диалектной общности. Представляется наиболее приемлемым предположение, что эта общность существовала в IV — начале III тысячелетия до н.э. на территории Северо-германской и Великопольской низменностей — исходной области формирования и экспансии поздне-неолитических и халколитических культур воронковидных кубков и шаровидных амфор [Горнунг, 1963, 51, 68, 76, 127; Монгайт, 1973, 54, 277—284]. Несомненна генетическая связь этих культур (и, возможно, предшествовавшей им лендельской культуры) с культурами пастушеско-земледельческих племен Среднего Дуная и нижнедунайского левобережья, причерноморских и приазовских степей, восточноевропейской лесостепи. Характер природных условий Западной Прибалтики обусловил развитие именно экстенсивного скотоводства, а рост стад способствовал экспансивным тенденциям подвижных патриархальных племен [Клейн, 1966, 1974].

Трехчленное деление индоевропейской области на северную (прибалтийскую), юго-западную (среднедунайскую) и юго-восточную (причерноморскую) диалектные зоны следует, по-видимому, считать древнейшим после отделения от общеиндоевропейской общности хеттолувийской группы [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, 371—428]. Это не значит, что отдельные диалекты, принадлежавшие к разным зонам, не могли быть по-особому связаны между собой наличием наиболее архаичных черт. Однако мы еще не располагаем достаточными данными для того, чтобы хоть приблизительно наметить такие предпологаемые более ранние группировки. Предположение же о названных трех зонах основано на целой системе данных и из области сравнительно-исторической фонологии и морфологии, и дополнительно из лексикологии.

На это древнейшее из доступных для реконструкции членение могли накладываться новые группировки. Наиболее важным здесь представляется вычленение группы сатем. Едва ли следует безоговорочно принимать концепцию некоторых индоевропейцев [Десницкая, 1955, 235; Георгиев, 1958, 28—57], вообще отрицающих существование такой общей для ряда древних диалектов фонетической изоглоссы (сама "сатемизация" часто трактуется как процессы позиционной палатализации заднеязычных, происходившие независимо и в разное время в отдельных поздних, далеко разошедшихся диалектах). Более обоснованным представляется мнение Б.В. Горнунга [1956; 1963, 76—92], что переход определенного рода заднеязычных согласных в переднеязычные (передненёбные шипящие или зубные свистящие) был спонтанным, а не комбинаторно-позиционным процессом,

и происходил одновременно у части контактировавших между собой индоевропейских диалектов; это была общая изоглосса, связывающая ряд диалектов, более поздняя, чем другие реконструируемые древние изоглоссы. В. Порциг привел ряд примеров, которые могут служить доказательством относительно более позднего появления изоглоссы сатем, отсекающей от индоевропейского диалектного континуума некоторые диалекты, принадлежавшие первоначально (по предлагаемому здесь нами членению) к северной и юго-восточной группам.

В фонетике языкам сатем был также свойствен переход *rs→rš (→слав. rx); др.-инд. *varṣīya-s*, ст.-слав. ВРЪХЪ, лит. *viršūs* (лат. *verruca*), др.-инд. *dharṣaṇo/dhṛṣṭa-*, авест. *dərəšnaomi*, др.-перс. *adarš naus* (греч. *θαρσύς* 'дерзкий', гот. *gadaúršan*); др.-инд. *tarṣ-/trṣ-*, арм. *t'aršamin* (←**tarānim*), гот. *gaḟairsan*, греч. *τέρσομαι* 'сушу', арм. *mořanam* (←**moršanam*), лит. *mařšas*, *mařšau* 'забываю' (агн. *A marsneñs* 'забывают'); др.-инд. *rṣabha-s* 'бык, буйвол', авест. *aršan* (греч. *ἄρσην* 'самец'); др.-инд. *ṣīršan-*, лит. *širšeñs*, ст.-слав. СРЪШЕНЬ (←*СРЪХЕНЬ, греч. *κόρση* 'шершень'); др.-инд. *carṣani-s* 'мужчина', *kṛṣaka-s* 'земледелец', *karṣati* 'пашет', авест. *karšvarə*, арм. *k'aršem* 'тащу' (лат. *curro*←**curso* 'бегу') [Misra, 1981].

Для морфологии языков сатем характерно развитие дифференцированных вторичных падежей из наречных образований на *-bh- (на юге) или *-n (на севере), восходящих, по-видимому, к основосложениям типа бахуврихи и татпуруша. В литовском образования на *-m- имеют различия в формах числа (*avimì* 'овцой', *sunumì* 'сыном' — *dviemì avimì*, *sūnumì* 'двумя овцами, сынами' — твор. п. мн. ч. *avimis*, *sūnumis*), с другой стороны, в дв. и мн. числе формам твор. падежа противопоставляются формы дательного (твор. п. дв. ч. *dwiemì avimì*, *sūnumì*, *galvōm*, *vilkām* — дат. п. дв. ч. *dviem avim*, *sūnum*, *galvōm*, *vilkām* 'двум овцам, сынам, головам, волкам', твор. п. мн. ч. *avimis*, *sūnumis*, *galvamis* — дат. п. мн. ч. *avims*, *sūnums*, *galvōms*, ср. также *vilkāms* 'волкам'); в старославянском различаются формы ед., дв. и мн. числа (ГОСТЬМЬ — ГОСТЬМА — ГОСТЬМИ, СЫНЬМЬ — СЫНЬМА — СЫНЬМИ, дв. ч. ГЛАВАМА — мн. ч. ГЛАВАМИ, твор. п. ед. ч. ВЛЬКОМЬ — дв. ч. ВЛЬКОМА — дат. п. мн. ч. ВЛЬКОМЪ) и формы твор. и дат. падежей мн. числа (ГОСТЬМИ — ГОСТЬМЪ, СЫНЬМИ — СЫНЬМЪ, ГЛАВАМИ — ГЛАВАМЪ).

В арийских образованиях на *-bh- противопоставляются формы мн. и дв. числа, а также твор. и дат. падежей (др.-инд. *avibhis* 'овцами' — *avibhyas* 'овцам' — дв. ч. *avibhyām*, *sūnūbhis* 'сыновьями' — *sūnūbhyas* 'сыновьям' — дв. ч. *sūnūbhyām*, *senābhis* 'войсками' — *senābhyas* 'войсками' — дв. ч. *senābhyām*, *ācvebhyas* 'коням' — дв. ч. *ācṣvābhyām*, авест. *gairibyo* 'горам', *ažibya* 'обеим(и) змеям(и)', *bazubyo* 'рукам', *bazūbya* 'двум рукам', *bāzubiš* 'руками', *gaedabyo* 'существам', *gaedabiš* 'существами', *vaḍwabya* 'двум стадам', *vəhraeibyo* 'двум волкам', *aspaeibya* 'двум коням'). В армянском противопоставляются формы ед. и мн. числа (*harsamb* 'невестою' — *harsambk'* 'невестами', *srtiw* 'сердцем' — *srtiwbk'* 'сердцами', *išov* 'ослом' <*ek'wo-bhi — *išovk'* 'ослами' <*ek'wo-bhis).

В отличие от этих языков образования, восходящие к формам

на *-m- или *-bh-, в греческом, итальянских, кельтских, германских языках не имеют дифференциации, это или просто наречные формы с нечетким значением (греч. ἀγέληφι 'толпой', ἐρέβεσφι 'в эребе', θεόφι 'богом, богам(и)', θύρῃφι 'за дверью', ἰφι 'мощно', ναῦφι 'на корабле, на кораблях', ὄρεσφι 'в горах', ἱκσιόφιν 'в сторону, сбоку'), или формы падежа во мн. числе (но без противопоставления разных падежных форм) — таковы падежи на -bus- в итальянских (лат. *ovibus* 'овцам(и)', *duabus* 'двум(я)', *ambabus* 'обеим(и)', *filiabus* 'дочерям(и)', *deabus* 'богиням(и)', оск. *luisarifs* 'lusoríis', *ligis* < **ligifs* 'legibus', умбр. *fratrus* из **fratrufs* 'fratribus'; также венет. *oposofos* 'operibus'; ср. также мессап. дат. п. мн. ч. *Daidehiabus*, *Logetibas* — от собственных имен, ср. Λάγεις· θεός, Σικελοί (Hesych.), падежи на *-b- в кельтских (галл. *mairebo* *Ναμαυσικαβο* 'немаусским богиням-матерям', др.-ирл. *aithrib* 'patribus', *feraih* 'viribus', *tuathaib* 'народам(и)', *fathib* 'поэтам(и)'), герм. дат. п. мн. ч. -m (гот. *wulfam* 'волкам(и)', *gastim* 'гостям(и)', *sunim* 'сыновьям(и)'). Образования такого характера совсем не отражены в хеттском, лувийском, агнео-кучанских языках, развившихся, видимо, из периферийных диалектов.

Допустимо предположение, что в диалектах общиндоевропейской эпохи были и другие подобные соединения основ с энклитическими частицами: гом. οἴκο -θεν 'из дому', οὐρανό-θεν 'с неба', Κορινθό-θι 'в Коринфе', κηρό-θι 'в сердце', в том числе и с той частицей, которая в греческом отражена как флексия дат. п. мн. ч. -σι: гом. φίλοισι, θεῆσι (**θεησι*-си, **φιλοις*-си), Ἀθήνη-σι 'в Афинах' и χερ-σί 'рукам(и)' и т.п.). Родственной была частица -se, отраженная в литовском (*vilkuosė* 'волке'), и частица -su, отраженная только в языках сатем: ср.-инд. *triṣi*, *vṛkeṣu*, *patsu*, авест. *vahrkaēšu*, ст.-слав. ТРѢХЪ, ВЛЦѢХЪ, может быть, также алб. *ujqsh* 'волках, волков', *fushash* 'равнинах, равнин', арм. *astekʰs* 'звездах', *dsters* 'дочерей (-ях)', *hars* 'отцов, отцах' и т.п. [Meillet, 1908, 123].

Для языков сатем восстанавливаются праформы вин. падежа ед. числа личных местоимений **mēm* 'меня', **i(w)ēm* 'тебя'; ст.-слав. МА, ТА, прус. *mien*, *tien*, алб. *tuia* (гег. *tuie*), др.-инд. и др.-перс. *mām*, *tvām*; возможно, что к этим формам восходят и арм. *inēn* '(от) меня', *ken* '(от) тебя'.

Общим в славянских, балтийских, албанских и арийских языках было употребление указательного (или относительного) местоимения **io-s*, **ia* для присоединения определений и приложений. За пределами языков сатем в такой функции тематическая форма этого местоимения употреблялась только в греческом (ὅς, ἥ, ὅ) и фригийском (ιος) [Kammenhuber, 1961, 41]; кроме того, следы такого употребления можно обнаружить в ирландских особых глагольных энклитиках (*bert-e* 'который несет', *berm-e* 'кого несем'), но обычно же для юго-западных, северных и хетто-лувийских языков в качестве относительного выступало лишь местоимение **kço-*, **kçi-*, а атематические формы гот. *is*, д.-в.-н. *ir*, др.-ирл. *hé*, лат. *is* употреблялись как указательные и личные местоимения 3-го лица. Но в балтийских и славянских языках местоимение **io-*, **iā* развилось во флексии определенных форм прилагательных: лит. *geràs-is sūnūs*, *gėro-jo sūnaūs*,

ст.-слав. ДОБРЪ-ЛЪ СЫНЪ, ДОБРА-ЈЕГО СЫНОУ; лит. *gerō-jī duktē*, *gerōs-ios dukteřs*, ст.-слав. ДОБРА-ЈА ДЪШТИ, ДОБРО-И ДЪШТЕРИ. В албанском из этого местоимения произошел связующий артикль: *miku i mirë* 'хороший друг' (букв. 'друг, который хороший'), *plep i verdhë* 'зеленый тополь', *degë e plepit* 'ветви тополя', *vajza e bukur* 'красивая девушка', *rosë e bardhë* 'белая утка', *lule e trëndafilit* 'цветок розы'; также — флексии определенных форм существительных: *plep-i*, *ros-a*, *lul-ja*. В авестийском местоимение *yo*, *yā* может употребляться, подобно албанскому связующему артиклю: *kharam yam ašavanam* 'того священного осла', *tāis šyaodanais yāis vahištais* 'теми достойными деятелями', *imaṃ daēnam yam āhuṛīm* 'эту религию Ахуры', *maθrəm yim haurvitato* (формула благорасположения). Также в древнеперсидском: *kara hya babāruviya* 'войско вавилонское', *yauna tyaiu (h)uškahyā uta tyaiu arayahyā* 'Ионийцы (те) материка и (те) на море'; если же прилагательное стоит перед существительным, то, как и в албанском, указательное местоимение ему предшествует: *hya aniya kāra pārsa* 'то другое войско персидское'. В ведийском местоимение *yah*, *yā* употребляется иногда (в им. падеже), подобно балто-славянскому "артиклю", в позиции после прилагательных: *ācīvā hiraṇyavarṇā prthupājaso ye* 'кони золотые, широ-косверкающие (те)' [Порциг, 1964, 245].

В морфологии глагола языки сатем характеризуются общностью формы буд. времени. В диалектах общиндоевропейского праязыка нереальность или несвязанность с моментом речи, несоответствие во времени каким-то образом связывалась с особыми сигматическими глагольными основами (на базе этих образований, в частности, формировался, по-видимому, и сигматический аорист). На западе формы сослагательного наклонения от атематических сигматических основ стали употребляться для выражения нереального, несуществующего, но ожидаемого процесса, отсюда греч. буд. вр. *δείξω* 'покажу', *δείξεις*, *δείξει* и т.д. (где к атематическим основам на *-s-* "первичные" окончания присоединялись при посредстве тематических гласных **o/e*), лат. *faxo* '(после того, как я) сделаю', *capso* '(после того, как я) возьму', *dixo* '(после того, как я) скажу'; др.-ирл. *seiss* 'будет сидеть', *reiss* 'будет бежать'. На востоке в этой же функции от сигматических основ стали употребляться формы, по-видимому, желательного наклонения, так возникли в языках сатем образования на **-sjo/e-*: лит. *dúosiu* 'дам' (*dúosi*, *duōs*, *dúosime*, *dúosite*), др.-инд. *dāsyāmi* (*dāsyasi*, *dāsyati*, *dāsyāmas*, *dāsyastha*, *dāsyanti*, авест. *vaxšya* 'скажу' [Семереньи, 1980, 304; Савченко, 1974, 285]. Возможно, тот же показатель содержали и славянские формы причастия БЫША, БЫШАШТЕИЕ, БЫШЖШТЕИЕ 'будущее', а также армянские формы буд. времени с показателем *-ç-*: *garciçem* 'буду делать, сделаю', *taç* 'дам' [Mann, 1963, 162].

К этим грамматическим параллелям, сопровождающим изоглоссы сатем, следует добавить еще некоторые лексические схождения: лит. *ožỹs* 'козел', *ožkà* 'коза' (лтш. *azis*, прус. *wossux* 'козленок', *wosee* 'коза'), ст.-слав. ІАЗЬНО '(козья) кожа', также 'рубашка' (лит. *ožinis* 'козлиный'), алб. *dhi* 'коза', *edh* 'козленок', др.-инд. *ajā-s* 'козел', *ajā*,

ajikā ‘коза’, *ajina-m* ‘козья шкура’, ср.-перс. *azak* ‘козел’, перс. *azg* (ср. заимствование из диалекта сатем на северо-западном Кавказе: каб. *ажă*, адыг. *ачă* ‘козел-производитель’); название бороды, подбородка имеет распространитель *-r-*: лит. *smākras*, *smakrà* ‘подбородок’, лтш. *smakrs*, алб. *mjekërr* (тоск. *mjekrë*) ‘борода’, др.-инд. *çtāçru*, арм. *mawruk*’, *moruk* (ср. “сатемное” заимствование в дагестанских языках: лезг. *ччуру*, табас. *миджир*, агул. *муджур*, дарг. *муцлур*, лак. *члурп*, арч. *мочлор*, рут. *мичлри*, цах. *мучлру*, хин. *мичлеш* ‘борода’; ср. в индоевропейских языках кентум, кроме хет. *zamankur* ‘борода’, без этого распространителя: др.-ирл. *smech*, лат. *mala*, *maxilla* [Широв, 1981, 12; 1984, 19]. Особо следует обратить внимание на одну отрицательную изолеку: ни в одном языке сатем нет слова со значением ‘бук’, непосредственно соответствующего лат. *fāgus*, ирл. *faighe*, д.-в.-н. *buohha*, др.-исл. *bōk* (из германского — лит. *bukas*, ст.-слав. БОУКЪ) [Кудрявцев, 1957, 113—126]; по-видимому, древнейшая область произрастания бука находилась юго-западнее тех областей, где проживали предки славян и балтийцев (на территории других языков сатем европейский *fagus silvatica* не произрастает и в новое время).

В исторической диалектологии известна одна закономерность: обычно в месте своего возникновения новое явление реализуется по более сложным архаическим правилам, непоследовательно; по мере же своего распространения по диалектному континууму эти правила упрощаются, нововведение проводится последовательнее (ср. архаическую зависимость от места ударения озвончения интервокальных глухих согласных в тосканском диалекте и простое озвончение в североитальянских; сложные типы диссимилятивного “яканья” в северо-восточных белорусских и в некоторых западных южновеликорусских говорах и простой вторичный тип “аканья” и “сильного яканья” в юго-западных белорусских и большинстве южновеликорусских говоров). Если перенести это наблюдение на проблему реконструкции изоглоссы кентум/сатем, то допустимо будет предположение, что языки со сложной непоследовательной “сатемностью” (балтийские, албанский, отчасти славянские) в этом отношении более архаичны, последовательность и простота “сатемности” в индоиранских (арийских) языках может говорить о ее привнесенности, вторичности.

Можно предположить, что “сатемизация” и связанные с ней другие языковые явления распространялись по Восточной Европе к началу II тысячелетия до н.э. в связи с миграциями (по-видимому, из Висло-Одерской области) культур “боевых топоров и шнуровой керамики” (и родственных ей среднеднепровской и абашевской культур). Это могло происходить лишь после начала распада индоевропейской общности, когда предки хетто-лувийцев уже отселились на юг за Черное море, протогерманцы — на северо-запад (между Эльбой и Одером) в сторону Ютландии (баальберг-зальцмюндская и вольтерниенбург-бернбургская, позже саксо-тюрингская культура, культура одиночных погребений конца III — начала II тысячелетия до н.э.), предки итало-кельтов — на запад, предки греков и фракийцев — на юго-запад и далее [Горнунг, 1964, 39, 46]. “Сатемизация” не

распространилась на диалекты этих отделившихся индоевропейских групп, и дошедшие глоссы не дают основания для теорий о "сатемном" характере фракийского и фригийского языков [Широков, 1981; 1984], позднейшие же элементы "сатемности" в ономастике и топонимике Балкан можно объяснять как результат миграции из области Северных Карпат в конце II — начале I тысячелетия до н.э. [Pałkowski, 1984, 63; ср.: Горнунг, 1963, 95; Кудрявцев, 1957, 11—73]. Лишь частично и непоследовательно (т.е. лишь на ранних архаичных этапах) "сатемизация" затронула те индоевропейские диалекты, из которых развились агнео-кучанские языки (отсутствие лабиализованных, как во всех языках сатем, но ограниченная лишь определенными позициями ассимиляция заднеязычных). Отрыв от общеиндоевропейского диалектного континуума "протохаров" (предков агнео-кучанцев) Б.В. Горнунг связывал с переселенцами (из областей "боевых топоров и шнуровой керамики" и среднеднепровской культуры) далеко на восток воинственных носителей абашевской и балановской культур (продвигавшихся с начала II тысячелетия н.э. по Десне, Оке и Клязьме), а также фатьяновской культуры (продвигавшейся по Десне, Клязьме и Верхней Волге), далее афанасьевской культуры [Горнунг, 1963, 89—91] (влияние этого продвижения в Южную Сибирь можно усмотреть и в карасукской культуре [Новгородова, 1977, 131]).

"Сатемизация" должна была начаться до выселения "протоармян" из южных областей ямной или катакомбной культур в Южное Закавказье и Малую Азию (при этом у нас нет реальных лингвистических оснований для гипотезы о западном, "балканском" пути армян и их особой связи с фригийцами [Широков, 1980]), первый этап "сатемизации" (развитие общеиндоевропейских заднеязычных палатальных в препалатальные аффрикаты или фрикативные) имел место и до переселения предков индоарийцев. К еще более раннему времени относится славяно-арийское (охватившее отчасти и албанский, и, по-видимому, палеобалканские языки) изменение $*s \rightarrow \check{s} (-\rightarrow x)$ в позиции после $*r, *i, u$ [Фортунатов, 1956, 427; Барроу, 1976, 77—78]. Второй этап "сатемизации" (развитие новых зубных свистящих s, z) из арийских захватил только иранский [Горнунг, 1964, 74, 78], поэтому он мог иметь место только после окончательного разделения "протоиранцев" (срубная культура) и "протоиндийцев" (поздняя катакомбная культура до ее вытеснения срубной)⁴.

"Южные протоарийцы", "протоиндоарийцы" отличаются от "протоиранцев" и сближаются с "протоармянами" характером серий шумных смычных согласных. Закон Бартоломэ, отраженный кроме древнеиндийского только в некоторых случаях в гатах Авесты, показывает, что первоначально "южноарийские" b, d, g не были (как и в армянском) звонкими: в то время как конечные звонко-придыхательные корни озвончали глухую согласную суффикса (др.-инд.

⁴ О древнейшем передвижении протоиндийских и протоиранских племен через Волгу косвенно свидетельствуют ее названия: мордовское "Раво" и греческое "Pā", соответствующее ведийской "Большой Реке": в Арьянведже *Rasā*, авест. *Raṇhā* [Абаев, 1981, 88].

dagdha-, авест. *dayda-* 'сожженный' — корень *dagh-*, суф. *-ta-*), конечные *b, d, g* такого озвончения не вызывали (др.-инд. *yukta-*, авест. *yuxta-* 'запряженный' — корень *yug-*) [Широков, 1980]. Таким образом, можно предполагать, что в периферийных ареалах юго-восточной зоны (катакомбная культура?), так же как и в других периферийных областях (в "протогерманском"), сохранялась архаическая "глухость" серии *b, d, g*. Вместе с тем у нас нет никаких оснований предполагать такую "глухость" рефлексов *b, d, g* в палеобалканских языках: среди апеллятивной лексики только фриг. βέκος 'хлеб' толкуется иногда как свидетельство "передвижения" (нем. *backen*, греч. φάω 'пеку'). Все остальные более или менее надежные в семантическом отношении примеры явно говорят о звонких рефлексах: ἀργυῖτας τὴν λαμίαν, Φρῦγες (Hesych.) — греч. ἄργυρος 'серебро' (но арм. *arcar*); ἄξένα πώγωνα, Φρῦγες (Hesych.) — греч. γένυς, γευείας (но арм. *spawt* 'борода'), фриг. βέδω 'сосуд для воды' — рус. *вода* (но арм. *get* 'река'), фриг. γέλαρος 'зюловка' — греч. γάλως; фриг. κνοῦμαν, приводимое иногда в качестве примера "передвижения", значило, по-видимому, не 'надмогильный памятник' (и не соответствовало греч. γνῶμα), а 'надпись' (и соответствовало греч. κνῶμα).

Для большей части диалектов сатем было свойственно одно древнее фонетическое явление, сближавшее их с "протогреческим" и с "протохарским" (но не распространившееся на территорию "протобалтийских" диалектов), — это так называемая "палатализация" рефлексов индоевропейских поствелярных согласных (в языках кентум — лабиовелярных): агн. *A çärte* 'летняя жара', ст.-слав. ЖАРЪ, алб. *zjarr, zjerm*, арм. *jer, jerm*, др.-инд. *haras*, греч. τὸ θερὸς 'жар', ср. также ст.-слав. ЧЕТЫРЕ (но лит. *keturi*), др.-инд. *catvaras*, греч. τέσσαρες; ст.-слав. ЖЕНЖ 'гоню' (но лит. *genù*), алб. (*për*)zë 'гнать, преследовать, хватать', арм. *jnem*, др.-инд. *hanti*, авест. *ja'nti* (перс. *zänäm*), греч. θεῖνω 'бью' и др. По-видимому, начальные этапы "палатализации" предшествовали "сатемизации" и имели место еще до окончательного отделения "греко-фракийцев" от носителей других юго-восточных диалектов.

"Сатемизация" была последним индоевропейским диалектным процессом. Дальнейшие изменения происходили в уже разделявшихся языковых ветвях, ни одна из которых никогда не представляла собой абсолютного единства. "Лингвист постоянно должен иметь в виду диалектические различия в этих теоретически воссозданных языках. Было бы ошибочно думать, что все различия, существовавшие между литовским и славянским языками, образовались после распада литво-славянского языка. Этот язык, как и всякий другой, должен был иметь диалекты, и в них уже могли существовать в зародыше некоторые черты, отличающие языки славянские от литовских" [Фортунатов, 1975, 76, л. 27].

На любой стадии реконструкции мы имеем дело не с цельными ветвями, выделяющимися из единого общиндоевропейского праязыка, но с отдельными диалектными группами, образовавшимися из более раннего, относительно общего, но всегда полидиалектного состояния.

ВНУТРЕННЯЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Современная компаративистика характеризуется пристальным вниманием к теории и практике реконструкции, смещением интереса с внешней, собственно сравнительной, реконструкции на реконструкцию внутреннюю. Основоположником теории внутренней реконструкции считается Е. Курилович. IX Международный конгресс лингвистов открылся его докладом "О методах внутренней реконструкции" (1962), где были подведены итоги многолетней работы ученого (с 1927 г.) над данной проблемой. Ему же было поручено составление обстоятельного очерка "Внутренняя реконструкция" для международного многотомного издания о состоянии лингвистики (1973, т. 2). Все это стимулировало выдвижение внутренней реконструкции во главу угла современной компаративистики вообще и теории реконструкции в частности. По признанию Куриловича, элементы внутренней реконструкции можно видеть в известном "Мемуаре" Ф. де Соссюра [1977], в работах В. Пизани [1956], Г. Хёнигсвальда [Hoenigswald, 1944; 1960], Э. Бенвениста [1974], В. Порцига [1964] и др. Впервые термин "внутренняя реконструкция" был предложен Дж. Бонфанте [Bonfante, 1945].

По Куриловичу, внутренняя реконструкция противопоставлена традиционной компаративистике и является "чисто лингвистической реконструкцией" (purely linguistic reconstruction) [Kuryłowicz, 1964, 30], ограничивающейся сферой внутренней взаимосвязи языковых элементов, собственно лингвистическим аспектом того или иного языкового элемента; внешние и внешнелингвистические факты (акустико-физиологические, культурно-исторические, социально-экономические и т.п.) остаются за рамками ее компетенции [там же, 11—12, 30]. Традиционная компаративистика, по мнению Куриловича, не проводила четкого разграничения внешнего и внутреннего. Базой такого подхода к явлениям истории языка Е. Курилович считал "постмладограмматические" достижения лингвистики: постулат автономии, самостоятельности языкознания как науки, независимой от экспериментальной фонетики, психологии, культурной антропологии и т.п. [там же, 30], современный понятийный аппарат (система, оппозиция, предсказуемость и т.п.), осознание различия между фонетическими и морфофонемными законами и т.д. Поскольку метод внутренней реконструкции принципиально нацелен на анализ данного, и только одного данного языка, то наиболее существенным и решающим оказывается первый шаг процедуры такой реконструкции: выбор опорного языка или диалекта из всей семьи родственных языков. Эмпирической базой этого метода являются архаические явления, наблюдаемые в системе одного языка. По ним и восстанавливается языковая система.

"Цель лингвистической реконструкции, — неоднократно подчеркивал Курилович, — установление относительной хронологии доисторических состояний и изменения, предшествующие самой древней эпохе" [там же, 9]. Его монография о праиндоевропейской акцентологии построена на постулате системности: лингвистической реконструкции поддаются лишь те явления, которые "определялись системой".

Внутренняя реконструкция, в понимании Куриловича, является синонимом лингвистической и системной, противопоставляясь традиционной компаративистике как новое старому. В.И. Георгиев [1967, 511] называл совокупность такого рода методов и приемов реконструкции "структуральным неокомпаративизмом".

В настоящее время понятие внутренней реконструкции значительно уточнено [Birnbaut, 1977]. Она является лишь составной частью современной компаративистики, где различаются реконструкции: внутренняя и внешняя (сравнительная), системная и динамическая, субстанциональная и релятивная, глобальная и парциальная, а также ретроспективная и проспективная.

Значительно изменилась формулировка задачи реконструкции в сторону увеличения ее экспланаторной (объяснительной) функции. Это не восстановление сети отношений между элементами родственных языков, не реконструкция праязыка самого по себе и не построение схемы последовательного расщепления праязыка на родственные диалекты, а раскрытие каузальных, причинно-следственных связей между историческими процессами, последовательной трансформации исходной системы в исторически засвидетельствованные родственные языки и диалекты. Реконструкция древнейшего состояния языка осуществляется с целью непротиворечивого и наиболее полного объяснения генезиса специфики родственных языков в их отличии друг от друга и от другой родственной языковой семьи, с целью раскрытия внутренних закономерностей их развития, обусловивших как сходство, так и различие между ними [Гамкрелидзе, Иванов, 1984].

Внутренняя реконструкция противопоставлена внешней принципиальным различием их эмпирической базы. Первая сознательно ограничена материалом данного языка в его историческом развитии. Она нацелена на анализ внутриязыковых соответствий, на вскрытие внутренних связей и отношений между элементами данной, и только данной языковой системы в ее статике и динамике. Материалом второй, внешней, реконструкции являются факты родственных языков. Она опирается на генетическую гипотезу, на постулат языкового родства и модель родословного древа. Сходство между двумя языками объясняется их прежним единством либо по крайней мере территориальной близостью их носителей в отдаленном прошлом.

Внутренняя реконструкция опирается на принцип системности как проявление принципа всеобщей связи, а тем самым принципа причинности и принципа развития, историзма. Здесь хронологическая иерархия языковых процессов, их относительная хронология строится на принципе их взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообусловленности. В идеале история языка, построенная на такого рода хронологизации, — цепь языковых явлений и процессов, взаимосвязанных причинно-следственными отношениями. И в этом смысле прав Е. Курилович, утверждая, что относительная хронология и есть основная цель внутренней реконструкции.

Хронологическая иерархия языковых явлений и процессов, установленная по данным внешней реконструкции, строится по принципу приуроченности к определенным "коленам" родословного древа. Чем

больше сходства, тем теснее родство. Реконструируются прарусское, праславянское, прабалто-славянское и т.п. состояния. То, что отличает родственные языки друг от друга, относят к явлениям, развившимся соответственно на славянской или балтийской, восточнославянской или южнославянской почве. Все, что объединяет, например, русский, украинский и белорусский языки, относят к прарусскому состоянию. То, что их отличает друг от друга, часто считается поздней инновацией, развившейся соответственно на украинской или русской почве. В центре внимания — дивергентные процессы, установление последовательности расщепления праязыка на родственные диалекты. Такой подход более характерен для ранних этапов развития компаративистики, вероятно, поэтому за ним и сохраняется более традиционный термин "сравнительная реконструкция".

Однако такое употребление терминов представляется не вполне корректным. Внутренняя реконструкция в такой же мере сравнительная, как и внешняя. Принципиально это две стороны одного и того же сравнительно-исторического метода, суть которого заключается в сравнении родственных морфем, но в данном случае — между разными языками, заведомо родственными, а в другом — внутри одного и того же языка в разных вариантах (безусловно родственных!) одной и той же морфемы. Например, дифтонгическое происхождение праславянской фонемы /**ě*/ (Ѣ) можно установить как на основании внешнего (рус. *цена*, ст.-слав. ЦѢНА, лит. *kaina*), так и внутреннего (ПѢТИ, рус. *петь* — *пою* < **poi-*) сравнения.

РЕКОНСТРУКЦИЯ АРХЕТИПА

Этот прием реконструкции архетипа отдаленно напоминает решение орфографических задач при овладении элементами русского правописания: задача сводится к анализу вариаций и вариантов родственных морфем в родственных словах с целью выявления инварианта: [вѣд]овѣз — [вѣд]ѣ — [вот] — [вѣд]ѣчка — [вѣд]ный. При этом выявляется позиционная обусловленность чередования аллофонов [ѣ — ѣ, ѣ — ѣ, ѣ — ѣ]. Выбор инварианта архетипа осуществляется путем снятия позиционной обусловленности и выявления "сильной" позиции. Так восстанавливается своего рода архетип [**вод*]. Здесь необходимо оставаться в пределах той же морфемы во всех ее вариациях, как бы ни изменялись семантика и звуковая материя. Тот же "архетип" выявляет в данном случае и внешняя реконструкция, сравнение с другими славянскими языками: укр., блр. *вода*, др.-рус., ст.-слав. ВОДА, болг. *вода*, с.-хорв. *вода*, словен. *voda*, чеш., слвц. *voda*, польск., в.-луж., н.-луж. *woda*.

Дальнейший поиск инварианта морфем включает в сферу анализа морфемные варианты *лук* — *лука* и *луга*, но:

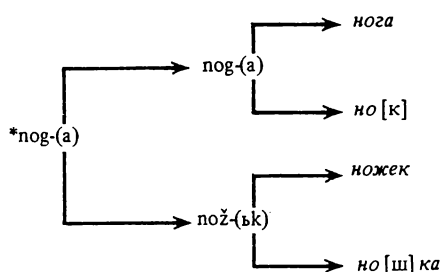
лу[к] — *луга* — *лужок* — лу[ш]ком

лу[к] — *лука* — *лучок* — *лучком*.

Здесь отмечается как варьирование, обусловленное фонологической позицией (г//к, ж//ш), так и позиционно не обусловленное (г~ж,

к~ч), допустимое в одной и той же позиции: *лужок* — *кружок* и *кругом* (перед *о*), *ножа* — *нога* и *ножек* — *но[ш]ка*. Если в первом случае имеет место варьирование аллофонов в соответствующих вариациях одной морфемы, то во втором — чередование фонем в соответствующих вариантах одной и той же морфемы. И в первом и во втором случае задача сводится к выявлению инварианта-архетипа (**nog-a*~**nog-ьk-a*). Последний можно считать диахроническим инвариантом, архетипом древнего (праязыкового) состояния на основании того, что варианты одной и той же морфемы восходят к единому архетипу в прошлом, а варьирование исторически закономерно: оно восходит к позиционному чередованию в прошлом. Последовательно снимая живую, ныне функционирующую, и древнюю, ранее функционировавшую, позиционную обусловленность, можно реконструировать архетип, исходное состояние. Развитие некогда единой праформы — дивергентный процесс, процесс расщепления, напоминающий родословное древо (схема 6).

Схема 6



В славистике такой способ реконструкции архетипов имеет длительную традицию, восходящую к А.Х. Востокову [1820]. Сравнение русских слов с беглым гласным типа *день* — *дня*, *сон* — *сна* при др.-рус. и ст.-слав. ДЬНЬ, СЬНЬ послужило основанием для гипотезы о звуковом содержании букв Ъ, Ъ в древних памятниках славянской письменности. Чередование типа рус. *жать* — *жмунавело* ученого на мысль о звуковом значении юсов (ЖАТИ — ЖЪМЖ, ДЖТИ — ДЪМЖ) — носовых гласных, подобных польским *e* и *a*, произносимых в тех же морфемах. Здесь выводы, сделанные на основании внутренней реконструкции, подкреплены данными реконструкции внешней.

Пожалуй, наибольшее внимание этому приему уделял Е.Ф. Будде [1913], изложивший на нескольких страницах краткую историю праславянских звуков ретроспективно, начиная с "конца", с последнего праславянского процесса, с падения редуцированных. Он опирался на "исторические чередования звуков" в современном русском языке и сопоставлял их с данными древнерусской письменности (*рот* — *рта* — РЪТЬ < *rьtь; *петь* — *пою* — ПЪТИ < *rěti < *roiti; *терпеть* — *терпишь* ~ *кричать* — *кричишь* — *крик* ~ *видеть* — *вид* — -ЪТИ ~ -АТИ < *-ēti, *krīkēti > krīčēti > kričati).

Таким образом может быть реконструирован архетип любой ис-

конной морфемы (корень, суффикс, флексия), любое слово. Однако не всегда результаты внешней и внутренней реконструкции совпадают.

Рус. *луг* соответствуют укр. *луг* (с фрикативным *h*), с.-хорв. *lûg* – *lûga*, словен. *lôg*, н.-луж. *lug*, в.-луж. *lûh*, болг. *лъг(ъм)*, польск. *łęg/łęg*, ст.-слав. ЛЖГЪ — ЛЖЖЪНЪ (при некотором различии значений). Это свидетельствует об архетипе **lqǵ* подтверждаемом некоторыми параллелями из других индоевропейских языков: лит. *langóti*, др.-прус. *Langodis* и др. Рус. *лук* соответствуют укр., блр., *лук*, болг. *лѹк(ъм)*, с.-хорв. *lŭk*, словен. *lùk* – *lúka*, чеш. *luk*, ст.-слав. ЛЃУКЪ, что свидетельствует о дифтонгическом происхождении гласного и позволяет реконструировать архетип **luk-* < **lauk-*, сопоставимый с прагерм. *lauka-*. Как видно из данных примеров, различное происхождение гласного в первом и втором случаях не может быть восстановлено лишь способом внутренней реконструкции на материале только одного русского, либо сербского, либо чешского языков. Старую добрую сравнительную реконструкцию нельзя сдавать в архив. Э.А. Макаев [1977], Г. Бирнбаум [Birnbaum, 1977] и др. не пошли вслед за Е. Куриловичем, они предложили использовать "интегративный" [Shevelov, 1964, 6—9] сравнительно-исторический метод, объединяющий достоинства как сравнительной, так и внутренней реконструкции.

Э.А. Макаев, анализируя современное состояние компаративистики, возвел противоречивые результаты обеих реконструкций в степень парадокса: реконструкция на основании ряда языков (сравнительная) оказывается эклектичной, а на основе одного языка — ущербной. Выход из парадоксального состояния может быть лишь в "сопряжении приемов сравнительной и внутренней реконструкции" [Макаев, 1977, 92]. И далее: "Завершение парадигмы сравнительного языкознания... мыслимо на путях еще более строгого обоснования исходных постулатов, лежащих в основе сравнительно-исторического метода, самой существенной частью которого является процедура реконструкции" [там же, 202].

В самом деле, внутренняя и внешняя реконструкции архетипа принципиально разнонаправлены и идут навстречу друг другу. Внутренняя реконструкция базируется на анализе синхронного состояния одного языка, ретроспективна, направлена от настоящего к прошлому. Она сосредоточивает внимание на иррегулярных, нарушающих принцип системности фактах. Чем больше вариативность, чем шире ее размах, тем интереснее и глубже реконструкция. Отсутствие вариативности затрудняет процедуру внутренней реконструкции. Так, например, если в словенском языке все глаголы в форме I лица ед. числа имеют флексию *-m*, то реконструкция **-q//*-m* (ст.-слав. ЗНАѢЖ // ДАМЪ и т.п.) лишь по данным этого языка невозможна. По сербохорватской (*znâm – znâš – znâ*) или польской парадигме (*znam – znasz – zna...*) нельзя реконструировать **znaj-* – **znaješi* – **znaje(t)*. Есть, следовательно, не только дивергенция, но и конвергенция. Морфема не только дивергирует, не только расщепляется, порождая и усиливая вариативность, но и конвергирует, унифицируется: *рука — руци — руце* → *рука — руки — руке...* Результаты аналогического выравнивания (рус. *плáкать — плáчу — плáчешь*; *икать — икаю, устар. ичу; ткать — тку — ткешь*,

устар. *тчешь*, ср. укр. *ткати* — *тчу* и т.д.) могут затруднить внутреннюю реконструкцию архетипа. Здесь без данных внешней реконструкции задача восстановления реального архетипа неразрешима.

Внешняя реконструкция, в общем, перспективна, направлена от прошлого в настоящее. Она нацелена на поиски реликтов праязыка, на выяснение судьбы праязыкового явления "на почве" отдельного языка между коленами родословного древа (на русской почве, на восточнославянской, на славянской, на балто-славянской), на поиски рефлексов унаследованного состояния. Правда, само это прошлое состояние реконструируется на основании засвидетельствованных, по возможности, наиболее древних фактов родственных языков. Выводы внешней реконструкции всегда гипотетичны, носят вероятностный характер и зависят от объема фактов, от числа сравниваемых языков. Выводы, сделанные на основании внутренней реконструкции, более однозначны, но и они нуждаются в верификации данными реконструкции внешней.

Процедура реконструкции архетипа должна включать в себя четкие критерии выбора диахронического инварианта. Выявив по возможности максимально полный набор исторических вариантов морфемы и соответствующие чередования морфем, необходимо установить их историческую иерархию и выбрать то, что может соответствовать наиболее раннему состоянию. Так, например, выявив архетип **krik-/č-*, необходимо установить направление мутации ($k > \check{c}$ или $\check{c} > k$) и характер дивергентного процесса (**krik-* → *krik-* ::= *krič-* либо **krič-* → *krič-* ::= *krik-*).

Если в процедуре выбора синхронного инварианта необходимо снять позиционную обусловленность варьирования, то и выбор диахронического инварианта сводится к реконструкции позиционного варьирования в прошлом. Классики компаративистики (Ф.Ф. Фортунатов, К. Бругман, А. Лескин и др.) призывали искать причины "звукового изменения" в фонетическом окружении, в позиционной обусловленности. Это уже другой тип реконструкции: не реконструкция отдельного архетипа, а реконструкция фонетического процесса.

ФОНЕТИЧЕСКИЙ ЗАКОН

Внутренняя реконструкция фонетического процесса опирается на гипотезу регулярности, на фундаментальное положение компаративистики о непреложности фонетических законов, выдвинутое младограмматиками.

Сущность фонетического закона можно выразить формулой [Журавлев, 1983]:

$$L \left\{ \frac{a > b}{P} \right\} T.$$

Звук [a] регулярно переходит в звук [b] в строго определенных позициях P в данном языке L на данном этапе его развития T. Непреложность фонетического закона заключается в том, что соответствующим изменениям подвергаются все слова данного языка, все его морфемы у всего коллектива говорящих на данном языке или диалекте. Ре-

конструкция фонетического закона должна опираться на тщательный анализ по возможности большего количества реконструированных архетипов. Это обуславливает высокую степень индуктивности, предсказуемости фонетических законов. На основании определенного минимума тщательно проверенных и осмысленных данных легко обзревается вся масса фактов. Если, например, установлено, что в данном языке на определенном этапе его развития, скажем, $k > \check{c}$ в позиции перед гласными переднего ряда, то тем самым предсказывается $-\check{c}-$ на месте более раннего $-k-$, стоявшего перед передним гласным во всех без исключения словах и морфемах.

С точки зрения современного состояния нашей науки фонетический закон есть закон синхронного функционирования аллофонного варьирования фонем в потоке речи, т.е. в зависимости от определенных фонетических (позиционных) условий. Известно, что такое варьирование осуществляется действительно механически, автоматически, непреложно предсказывается позицией и, как правило, не замечается носителями данного языка. Ср., например, варьирование $\hat{e}/e$ в современном русском языке (*это — эти*). "Фонетический закон не может иметь действительных исключений, — учил Ф.Ф. Фортунатов, — и кажущиеся исключения представляют собой или действие другого фонетического закона, или нефонетическое изменение слов, или заимствование из другого языка или из другого наречия того же языка" [Фортунатов, 1956, 205]. Иными словами, "должно существовать правило для неправильности, нужно его только открыть" [там же]. Исключения свидетельствуют об изменении параметров Р, Т, L. В самом деле, чтобы подсознательное, автоматическое синхронное варьирование аллофонов стало осознанным, оно должно стать "историческим чередованием". Вот почему фонетические законы, оставившие след в истории языка, не могут оставаться без исключений, будучи принципиально безысключительными в эпоху своего функционирования. Лишь наличие исторических чередований, собственно исключений из фонетических законов может служить надежным источником для внутренней реконструкции самих фонетических законов.

Прежде всего, фонетические законы — достаточно надежный аппарат для разграничения своего и чужого. Так, наличие исключений из закона о переходе $k > \check{c}$ типа рус. *Кирилл, кентавр, кино, кефир* и т.п. может свидетельствовать, что эти слова не принадлежали данному языку L в эпоху действия закона о переходе $k > \check{c}$ и были заимствованы из другого языка L_2 уже после прекращения его действия. Сопоставляя, например, пары *угры — венгры, узел — вензель* в русском языке, можно сделать безошибочный вывод, что первые (с у-) оформились на восточнославянской почве, а вторые заимствованы из польского после утраты носовых гласных ($\check{a} > u_2$, $\check{e} > a_3$) и протетических согласных перед вторичным и третичным $-u_2-$, $-u_3-$.

Если отступление от предсказуемой закономерности, исключение из фонетического закона наблюдается в исконных словах и морфемах, то, следовательно, изменился параметр Р, а не L. Так, наличие случаев типа рус. *цена, цедить и кидать, кий* может свидетельствовать, что в эпоху действия закона первой палатализации на месте современных

гласных переднего ряда стояло нечто другое, а в данном случае имеет место вторичный (*цена* < ЦѢНА < **ke₂na* < **kaina*) либо даже третичный (*кидать* < КЫДАТИ, *i₃* < *y* < *ȳ* < *ū*) гласный переднего ряда. Наличие рефлексов первой палатализации не перед гласным переднего ряда (ср. рус. *чудесный* — *кудесник*, *смешно* — *смех*) должно стимулировать реконструкцию соответствующего переднего гласного, обусловившего в свое время палатализацию: *чуд-* < **čeud-* < **keud-*; *смешно* < СМЪШЬНО < **smě₂šbn-* < **smאיִšin* < **smאיִxin*.

Непреодолимая ценность фундаментального понятия "фонетический закон" состоит не только в том, что он служит надежным аппаратом реконструкции архетипов и истории отдельного звука. Фонетический закон позволяет реконструировать фонетические процессы отдаленного прошлого и объединять разрозненные звуки в определенные группы. По первой славянской палатализации все задненебные (*k*, *g*, *x*) перед всеми передними гласными (*ĩ*, *ě*, *ěi*, *ěu*, *ēn*, *ʹr*, *ʹl*, а также *j*) данного языка на данном этапе его развития переходят в шипящие (*č*, *dž/ž*, *š*). Тем самым реконструируются и некоторые качества восстанавливаемых звуков. Так, если установлено, что взрывной глухой [*k*] дает глухую аффрикату [*č*], то и звонкий должен дать звонкую аффрикату [*dž*]. Если этого нет, то либо произошла дезаффрикация (*dž* > *ž*; *нога* — *ножка*), либо звонкий задненебный был фрикативным в период действия закона первой палатализации (*g* > *h*). Если установлено, что задненебные [*k*], [*g*] переходят в шипящие [*č*], [*dž/ž*], а не наоборот, то более вероятен переход *x* > *š*, а не наоборот, как иногда полагают на основании данных внешней реконструкции (в литовском на месте слав. [*x*] находим [*š*], МЪХЪ ~ лит. *maišas* < **maisas*).

Решения, полученные методом внутренней реконструкции архетипов, иногда могут вступить в противоречия с данными внешней реконструкции. Оба способа реконструкции и здесь должны взаимно дополнять друг друга. Фонетические законы должны быть тщательно выверены, верифицированы данными как внутренней, так и внешней реконструкции. Сопоставляя лишь рус. *ворѡна* — *ворон*, *корова* — *город*, в принципе можно реконструировать **wārnā* — **wārnās* на основании знания о законе открытого слога. Внутриславянские сопоставления (польск. *wrona* — *wron*, чеш. *vrána* — *vran*, *kráva* — *hrad*, с.-хорв. *kràva* — *grād*, *vràna* — *vrân*) уже позволяют реконструировать интонационные различия в праславянском (**wārnā* ~ **wařnās*). Это подкрепляется сопоставлением с лит. *vārna* ~ *vařnas*. Можно и далее реконструировать: **wārnā* — **wārnās* — закон трансформации признака долготы в признак интонации в дифтонгических сочетаниях до процесса монофтонгизации дифтонгов [Журавлев, 1963].

Здесь уже выступает фактор времени, параметр Т: один фонетический процесс шел до или после какого-то другого. С изменением параметра Т прежде всего меняется параметр позиции Р и сам характер отношений между а и в фонетического закона. Так, сопоставляя рус. *крик* — *кричать* и *вид* — *видеть*, можно заметить следы по крайней мере двух процессов 1) *k* > *č* и 2) *ě* > *ā*. Зная условия одного (задненебные палатализуются перед гласными переднего ряда) и другого (*ě* > *ā* в позиции после палатальных согласных), легко установить, что

появление [č] палатального предшествует переходу гласного, обусловившего палатализацию [*ě], в задний ряд. Второй закон отменил первый, породив серию "исключений" из него. Теперь палатальный (č, ž, š) может стоять не только перед гласными переднего, но и заднего ряда (**křičěfi* > *kričati*). Таким образом, понятие фонетического закона может служить надежным аппаратом реконструкции хронологической иерархии прежних фонетических процессов, т.е. их относительной хронологии.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ХРОНОЛОГИЯ

Относительная хронология, основанная на внутренней реконструкции, опирается прежде всего на фундаментальное положение компаративистики о непреложности фонетических законов, на положение о том, что в эпоху своего действия (параметр T_1) они не знают исключений, а исключения — результат поздних преобразований ($T_2, T_3, \dots$). Последующий закон отменяет предшествующий. Символы $T_1, T_2, \dots$ вводят лингвистическое время как смену лингвистических условий существования языковых явлений. Это и позволяет устанавливать хронологическую иерархию фонетических законов и процессов, а также уточнять реконструкцию отдельных явлений (гласных и согласных, морфем, архетипов и т.п.). Так, в эпоху господства представления о трехчленном вокализме праиндоевропейского языка на основании данных древнеиндийского Ф.Ф. Фортунатов и другие младограмматики реконструировали * $\bar{a}^e$, * $\bar{a}^o$, * $\bar{a}$, которые в древнеиндоиранском совпали в одном [a] после палатализации задненебных перед * $\bar{a}^e$: * $k > \check{c}$, * $g > \check{g}$ [Фортунатов, 1956, 217].

Возвращаясь к уже упомянутым славянским архетипам, можно констатировать, что **křikēti* предшествовало **kričati* и т.п., **smě₂ъn* появилось позже, чем **smaišъn*-. Последнее восходит к *smaiхъn*-, ибо шипящий здесь мог образоваться только из задненебного [x], который может возникнуть из [*s] в позиции после [i], [u], [r], [k], следовательно, гласный [e] здесь восходит к [*ě] (др.-рус. и ст.-слав. СМЪХЪ), но не первичного $\check{e}_1 < *ě$, а вторичного $\check{e}_2$ дифтонгического происхождения: **smaiхъn* < **smaišъn*-. Все это означает, что [*x] возник раньше первой палатализации, [*š], раньше монофтонгизации дифтонгов и $\check{e}_2 < ai$.

Различие первичных и вторичных гласных позволяет уточнить хронологическую иерархию процессов. Так, если перед первичными гласными переднего ряда отмечается шипящая палатализация праславянских задненебных ($k > \check{c}$, $x > \check{s}$ и т.п.), а перед вторичными ($\check{e}_2/i_2 < ai$) — свистящая ($k > s$, $x > š$ и т.д.), то ясно, что последняя (др.-рус. РАКЪ — РАЦИ) "моложе" первой (др.-рус. СТАРЧЕ зват. ед.). Особенно показательным будет столкновение позиций, обусловивших различные процессы: ст.-слав. ОТЬЦИ — ОТЬЦЬ — ОТЬЧЕ — ОТЬЧЬ (**ǫtřikāi* — **ǫtřikās* — **ǫtřikē* — **ǫtřikjās*). Здесь задненебный находится в позициях, обуславливающих прогрессивную (после $\check{i}$), так называемую бодуновскую, палатализацию и регрессивные — свистящую (перед $i_2 < ai$) и шипящую (перед $\check{e}, j$). Ясно, что шипящая регрессивная палатализация "старше" других (существует переход $k > \check{c}$ перед $\check{e}_1$, но не $s > \check{s}$). Если бы прогрессивная палатализация была "старше" регрес-

сивной, как это рисуется в генеративистской модели, то в формах зват. падежа ед. числа (*отче*) и притяжательном прилагательном (*отчий*) был бы свистящий, а не шипящий рефлекс. В ст.-слав. ОТЬЦЬ Ц — результат бодуэновской палатализации, а флексия -Ь — вторичного происхождения (Ь > Ъ после Ц как показатель перехода в мягкий вариант склонения). Первичный -ь перевел бы к > ċ. В форме им. падежа мн. числа ОТЬЦИ Ц соответствует результату как второй (регрессивной), так и третьей палатализации. Для решения вопроса об относительной хронологии второй и третьей палатализации необходимо выйти за рамки фонетических законов. Собственно фонетический подход дает в данном случае противоречивые результаты.

Разграничение славянского первичного $*s_1 < \text{и-е}$. $*s$ и вторичного $*s_2 < *k$, возникшего в результате так называемой сатемовой палатализации, позволяет заметить, что вторичное $*s_2$ не переходит не только в [x], но и в [$*z$], лишь $s_1 > x, z$ в соответствующих условиях. Это может свидетельствовать о безусловном старшинстве генезиса [x] если не по отношению к сатемовой палатализации ($*(\hat{k} > s)$), то по крайней мере к процессу конвергенции $s_1 \times s_2 \rightarrow s$. Между тем, по данным внешней реконструкции, сатемовая палатализация, разделившая весь индоевропейский языковой мир на языки кентум и сатем, трактуется как древнейшая диалектная черта праиндоевропейского языка. И в данном случае результаты внутренней и внешней реконструкции противоречивы. Внешняя реконструкция требовала бы для праславянского восстановления $k > \check{s} > s$ на основании лит. *šimtas*, ст.-слав. СЪТО и упустила бы из вида бесспорную взаимосвязь сатемовой палатализации с судьбой древнего [$*s$] и последующей конвергенции ее аллофонов с рефлексами сатемовой палатализации.

Фонетические законы и основанная на них относительная хронология прежних фонетических процессов могут быть надежным критерием хронологизации некоторых морфологических процессов. Так, на основании внешней реконструкции происхождение местоименных (полных) форм прилагательных у славян относят к балто-славянской эпохе. Действительно, и у славян и у балтов препозиционный артикль существительного (*is, jis, jь* из указательного местоимения) стал постпозиционным артиклем прилагательного: лит. *gėras – geràsis* и слав. **dobrь – dobrьjь*, др.-рус. ДОБРЬ — ДОБРЫИ. Именно славянский материал свидетельствует о параллельном и независимом развитии: артикль присоединялся уже на славянской почве, после действия собственно славянского закона открытого слога и падения конечного -s. Гипотетическая балто-славянская форма преобразовалась бы в **dobrosь* или **dobrošь* ($< *dābrās + \text{is}$ или $j\check{s}$) вм. *добрый* [Журавлев, 1976].

Как бы ни было велико значение фонетических законов в сравнительно-исторических исследованиях, необходимо помнить, что они имели отношение лишь к аллофонному варьированию фонем в зависимости от определенных позиционных условий. Переход $s > x$ в определенных позициях — лишь первый этап звукового изменения: $s//x$ останутся позиционными вариациями одной и той же фонемы, их различие может даже не замечаться говорящими до тех пор, пока не наступит второй этап — этап фонологизации аллофонов, превращения их в самостоятельные фонемы.

ФОНОЛОГИЗАЦИЯ.

КОНВЕРГЕНТНО-ДИВЕРГЕНТНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Суть фонологизации аллофонов заключается в выходе из состояния дополнительного распределения, в изменении отношений между самими объектами фонетического закона $a > b$. Вариации фонем должны стать самостоятельными фонемами, т.е. иметь хотя бы одну позицию релевантности, различия (P_r), пусть другие позиции останутся позициями нейтрализации, неразличия (P_n):

$$L \left\{ \frac{a > b}{P} = \frac{a}{P_1} : \frac{b}{P_2} \right\} \quad T \rightarrow L \left\{ \frac{a : b}{P_r} \right\} T_2.$$

Должен быть отменен действующий фонетический закон (отношения a/b , P_1/P_2) другим, более поздним законом. В данном случае расщепление, дивергенция $s_1 \rightarrow s =: x$, начатая как фонетический процесс, сопровождалась переходом $*\hat{k} > s_2$ с последующей конвергенцией $s_1 \times s_2 \rightarrow s$ как необходимым условием фонологизации новой оппозиции. Так появились случаи их противопоставления в одной и той же позиции типа *pixati* – *pisati* < **pīs-* — *pik-*. Последующие фонетические процессы усиливали эту оппозицию, нарушая условия функционирования прежнего фонетического закона о переходе $s_1 > x$ и увеличивая число исключений из него: **rūds-* > **rūs-* > **rys-* > *рысь*, **taiskn-* > **taiskn* > *tě₂sn-* > *тесный* (переходу $s > x$ ранее препятствовал согласный, который выпал после действия этого закона), **porx-* > *порох* (теперь $-x$ стоит вне позиций, обусловивших его происхождение) и т.п.

Заслуга Е. Куриловича состоит в том, что он обратил внимание на процессы фонологизации и положил их в основу своей теории внутренней реконструкции. С его точки зрения, важнейшая проблема сатемовой палатализации заключается в выяснении того, каким образом фонологизировался аллофон [k] и стал самостоятельной фонемой. И в этом процессе немаловажную роль играл, по Куриловичу, факт совпадения типа санскр. **pis-to* и **pik-to* в форме *pista*, а также лит. **rs* и **rk* в *rš* [Kuryłowicz, 1964, 12—13]*.

Процесс фонологизации аллофонов, по нашему мнению, должен опираться на прочный фундамент конвергентно-дивергентной теории Е.Д. Поливанова. В теорию внутренней реконструкции вводятся фундаментальные формулы конвергенции ($a \times b \rightarrow c$) и дивергенции ($a \rightarrow b =: c$).

Ценность этой теории заключена в фундаментальном положении о непреложной связи конвергенции и дивергенции: дивергенция сопровождается конвергенцией, диктуется последней и наоборот [Поливанов, 1957]. Так, упомянутая выше дивергенция $k \rightarrow k =: \check{c}$, начатая как фонетический процесс (закон, породивший позиционные аллофоны $k/\check{c}$), сопровождается конвергенцией $\check{c}_1 \times \check{c}_2 \rightarrow \check{c}$, где $\check{c}_1 < k'$ перед передним гласным, а $\check{c}_2 < kj$. Это, в свою очередь, сопровождается ди-

*Аналогичный подход к проблеме сатемовой палатализации был доложен автором настоящего раздела на конференции в Минске в 1961 г. Детальное изложение этой концепции внутренней реконструкции см. также: [Журавлев, 1967].

вергенцией $\bar{e} \rightarrow \check{e}_1 ::= a$ в связи с законом о переходе $\bar{e} > \bar{a}$ после палатальных согласных. Далее первичный $\check{e}_1$ конвергирует со вторичным (из $*ai$): $\check{e}_1 \times \check{e}_2 \rightarrow e$, дифтонг $*ai$ дивергирует: $ai \rightarrow \check{e}_2 ::= i_2$, последний конвергирует $i \times i_2 \rightarrow i$ и т.д.

При этом целая серия звуковых изменений как бы сама собой выстраивается в иерархически последовательную цепь процессов, связанных причинно-следственными отношениями: то способствуя фонологизации прежних аллофонов (в позиции $a < *e$ аллофоны $k/\check{c}$ становятся самостоятельными фонемами), то порождая новый фонетический закон, новые аллофоны как потенциальные конвергенты. Фонетический закон создает такое позиционное варьирование, которое сможет принять участие в дальнейших конвергентно-дивергентных процессах. Казалось бы, в группе родственных диалектов существует один итог же фонетический закон, но результаты его действия зачастую разные.

Многообразны рефлексы праславянских сочетаний $*dj, *tj$ в славянских языках: вост.-слав. *ж, ч* (рус. и блр. *свеча*, укр. *свіча*, др.-рус. СВѢЧА), болг. *жд, шт* (*свещ*), макед. *џ, ќ* (*свеќа*), с.-хорв. *џ, с'* (*свијећа*), словен. *j, č* (*sveča*), польск. и слвц. *ż, ś* (*świeca, świeca*), чеш. *z, s* (*svíce*), в.-луж. и н.-луж. *sweca*. При всем старании трудно все это выстроить в единую цепь постепенных переходов ($\check{s}t > k'$ или наоборот, $c > \check{c}$ или наоборот и т.п.), хотя попытки такого рода реконструкции не прекращаются со времен младограмматиков. Трудно найти какой-то общий звук — прототип, из которого просто и непротиворечиво можно было бы получить все разнообразие рефлексов, зафиксированных в действительности. А между тем закономерности йотации, процесса превращения сочетания согласных в одну согласную, легко проясняются на фоне всей совокупности конвергентно-дивергентных процессов, связанных с йотацией и палатализацией, в отдельных фонологических системах славянской изоглоссной области. У восточных славян эти рефлексy конвергировали с рефлексами первой ($tj > \check{e}_2, k + 'v_1 > \check{c}_1$), а у западных славян — второй ($tj > c, \check{k} + 'v_2 > c$) палатализации. В первом ареале образовалась слабая, а во втором — сильная оппозиция ($\check{c} : c$). При таком подходе становится яснее и палатализация задненебных через губно-губной согласный (польск. *kwiąt, gwiazda* ~ рус. *цвет, звезда*). Переход $*kw > cw$ отмечается там, где слабая оппозиция ($\check{c} : c$) нуждается в усилении. Там же, где она усилена переходом $tj > c$, нет и перехода $kw > cw$. Слабая оппозиция может исчезнуть, оппози́ты могут конвергировать (ср. диалектное русское и славянское чоканье и цоканье).

Теория конвергентно-дивергентных процессов позволяет объяснить подмеченный Куриловичем факт связи сатемовой палатализации с судьбой исконного $[*s]$ в позиции после $[r]$ и т.п. И в данном случае нельзя лишь на основании внешней реконструкции переходов в сходных условиях (рус. *верх*, др.-рус. ВѢРХЪ, лит. *viršūs*, лтш. *viršus*, др.-прус. *Wiršune*, санскр. *varṣman* и т.п.) реконструировать цепь промежуточных переходов $*s > \check{s} > \check{s} > x$. Для обеих стадий у славян не было подходящих условий: ни соответствующего потенциального конвергента, ни признака, ни корреляции палатальности, а тем более церебральности. Был признак гуттуральности, отсюда и характер дивергенции: $*s \rightarrow s ::= x$.

Нельзя реконструировать и ряд последовательных изменений $*\hat{k} > *\hat{c} > \hat{s} > \check{s} > s$ лишь на основании данных внешних сопоставлений (санскр. *sátam*, авест. *satam*, лит. *šim̃tas*, лтш. *šim̃ts*, ст.-слав. и др.-рус. СЪТО, лат. *centum* и т.п.). У славян рефлекс "палатального" $*\hat{k}$ поддержал немаркированный коррелят зарождающейся оппозиции ($s : x$), послужив основным способом ее фонологизации (рус. *писать* — *пихать*, *поросенок* — *порох* и т.п.). У литовцев потенциальный конвергент $\check{s}_1 < \hat{k}$ поддержал маркированный член, обусловив специфику дивергенции $*s_1 \rightarrow s_2 := \check{s}_2$ и конвергенции $\check{s}_1 \times \check{s}_2 \rightarrow \check{s}$. Литовское соответствие *maišas* слав. МѢХЪ не может свидетельствовать ни в пользу $[\check{s}]$, ни в пользу $[x]$ для балто-славянской эпохи. Это вступит в противоречие с моделью родословного древа: лтш. *māiss*, др.-прус. *moasis*, др.-инд. *meṣah*, авест. *maeša-*. Не стоит искать и особый архетип для литовской формы, если встретим случаи отсутствия такого перехода: лит. *taisyti* — др.-рус. ТѢШИТИ ($< *tais- \rightarrow t\check{s}_2x-$). В санскрите церебральный дивергент $*s_1 \rightarrow \check{s} := s$ должен был усилить церебральный ряд ($t, \text{ṭh}, d, \text{ḍh}, n, \check{s}, \check{r}$). В среднем индоарийском предшествующие $\check{r}, r$ могли "церебрезовать" все зубные. В дальнейшем, как справедливо заметил Курилович, в результате слияния "унаследованных" $*s$ и $*\hat{s}$ (в определенных позициях) появилась новая фонема $/\check{s}/$. Конвергентно-дивергентные процессы продолжались [Барроу, 1976, 86 и след.]. Их анализ может показать, что эти процессы в санскрите имели свою специфику, отличаясь от соответствующих процессов в авестийском.

Рефлексы сатемизации звонких гуттуральных в Авесте конвергировали: $*\hat{g} \times *\hat{gh} \rightarrow z$, а в санскрите прежняя оппозиция трансфонологизировалась и сохранилась: $(*\hat{g} : *\hat{gh}) \rightarrow (j : h)$. Наоборот, рефлексы первичных и вторичных палатальных гуттуральных конвергировали в санскрите: $*\hat{g} \times g'_2 \rightarrow j$, но в Авесте прежнее противопоставление сохранилось $(*\hat{g}_1 : *g'_2) = (z : \check{j})$ и т.д. [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, 103 и след.].

Все эти явления понятны: и при значительном сходстве "звуко-типа" лингвистическое содержание фонемы даже в родственных диалектах и языках может быть различным. Лингвистическое содержание фонемы в некотором роде уникально и определяется ее местом и ролью в данной фонологической системе данного языка или диалекта на данном этапе его развития. Фонологическая система языка, как учили основоположники фонологии, уникальна. Только этим и можно объяснить специфику процессов фонологизации в родственных языках.

Традиционно восстанавливавшиеся ряды постепенно изменившихся звуков не находят подтверждения в теории внутренней реконструкции. Как было показано выше, в такой ряд не выстраиваются рефлексы одного и того же пражвука в диалектах одного и того же языка. Едва ли приемлемы и различные, зачастую противоречивые, ряды, построенные на базе чисто антропофонического подхода как постепенное изменение артикуляции; ср., например, недавно реконструированный переход $k > \check{c}$ в результате праславянской йотации $kj > k' > k^h > \text{ḥ} > \check{c}$. Дело в том, что любой переход звука $a > b$ есть прежде всего аллофонное варьирование в определенных позиционных условиях, рядом с каким-либо другим звуком, т.е. ассимиляция или диссимиляция. Последние не могут быть постепенными;

в позиции рядом с определенным классом звуков они могут быть различными.

В теории внутренней реконструкции нет места такого рода цепям постепенных изменений, так сказать, по определению: антропофоника — фактор внешний по отношению к фонологической системе. К тому же пока нет надежных критериев для реконструкции той или иной артикуляции много веков тому назад. Это отнюдь не означает, что внутренняя реконструкция игнорирует материальное содержание реконструируемых явлений.

Если по отношению к внутренней реконструкции внешними являются данные родственных диалектов и языков, то отдельные факты неродственных языков, нередко называющиеся данными типологии, бесспорно, еще более внешние. Поэтому и для модифицированных рядов последовательных изменений в виде "типологического древа" Чекмана (ср. $k > k' > \text{ǰ} > \text{č} > \text{č}$) [Чекман, 1979] не могло быть места в реальной действительности. При реконструкции отдельных элементов более надежной опорой служит опора на инвентарь реконструированных "своих" архетипов.

Однако это не означает, что внутренняя реконструкция отказывается от внешней фактологии неродственных языков, от типологии. Для нее важны не отдельное, лежащее на поверхности явление, не отдельный факт, пусть даже многократно повторенный в самых различных языках, а именно типология, факты, подведенные под тот или иной тип, под более или менее строгую закономерность. Таковыми, в частности, являются типы звуковых изменений, подведенные под формулы конвергенции и дивергенции Поливанова, фонетического закона, нейтрализации и др. Они опираются на фактический материал самых различных языков, конденсируя весь предшествующий опыт исследования звуковых изменений. Таковыми являются типы возможного членения сегмента, состоящего из консонантной и вокальной частей $C + V$ с признаком бектольности или дизектоности, проявляющихся в наличии *u*- или *i*-призвука: $C' + V$, $C + V'$, $C + I + V$, $'(CV)$, $C + \underset{\cdot}{I} + V$ [Журавлев, 1967, 157]. Таковым, наконец, является и разграничение фонетических и фонологических процессов. Все это может служить надежным аппаратом внутренней реконструкции, установления относительной хронологии и ее соотношения с хронологией абсолютной. Бесспорно, например, что между двумя шагами лингвистического времени (смена $T_1 > T_2$ фонетического закона), появлением аллофона и его фонологизацией, появлением фонемы и ее морфологизацией могут пройти целые столетия астрономического времени. Так, древнерусский переход $КЫ, ГЫ, ХЫ > КИ, ГИ, ХИ$ отражал фонетический закон аллофонного варьирования задненебных и появление их смягченных позиционных вариаций ($г'$, $к'$, $х'$), процесс фонологизации которых идет лишь в наши дни ([кот] — [тк'от] и т.п.).

Значительную роль в процессе фонологизации аллофонов и усилении новой оппозиции играют заимствования. Так, позиция начала слова была слабой для новой оппозиции ($s : x$), здесь условия для появления $[x]$ фонетическим путем минимальны. Расширение его функционирования в этой позиции шло за счет заимствований, прежде всего

германских. Таково происхождение русских *хижина*, *холм*, *хлеб*, *хлев* и т.п. Именно потому, что в эпоху контакта с готами шел процесс фонологизации оппозиции ($s : x$), отменявший фонетический закон $s > x$, и нет следов его воздействия на древние заимствования, ср. ст.-слав. ЦЪСАРЬ, (ИС КОУСИТИ $<$ гот. *kaisar*, *kausian*).

Процессы освоения заимствований — дополнительный источник для реконструкции фонологической системы. Положение Поливанова о том, что иноязычная речь "просеивается через свое фонологическое сито", еще недостаточно используется в теории внутренней реконструкции.

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

В разработке современной теории реконструкции большое значение может иметь намек Е. Куриловича на необходимость искать соответствующие условия возможной нейтрализации реконструируемой оппозиции [Kurulowicz, 1964, 14]. Это прекрасная идея осталась, пожалуй, незамеченной, хотя на важность явления нейтрализации в исторических изменениях еще раньше указывал Э. Макаев [Makaev, 1958], а в 1952 г. Ж. Фурке выдвинул гипотезу о том, что процесс слияния (конвергенции) двух древнегерманских фонем осуществлялся через нейтрализацию.

В самом деле, конвергенция и.-е. $\ddot{o}$ и $\ddot{a}$ в праславянском могла идти через этапы последовательной нейтрализации в соответствующих позициях (после лабиальных и лабиовеляризованных, далее после всех согласных и т.п.). Такой подход [Журавлев, 1961] позволил вскрыть взаимосвязь процесса конвергенции $\ddot{o} \times \ddot{a} \rightarrow \ddot{a}$ с процессами лабиовеляризации согласных, с конвергенцией рядов $k^{\#} \times k \rightarrow k$ и делабиализацией гласных, а далее — с процессом последовательного смягчения согласных перед гласными переднего ряда и первой палатализацией заднеязычных, с образованием группофона и др.). Однако такая конвергенция была бы неполной и осталась бы лишь нейтрализацией, неразличением этих согласных в позиции после согласных и различением в позиции начала слова и после гласных. Совпадение их и в этой позиции не могло быть не связано с генезисом праславянских протетических согласных [Журавлев, 1965]. Идея нейтрализации, таким образом, помогла реконструировать целую цепь процессов и явлений.

Дальнейшая разработка проблемы исторической нейтрализации позволила сделать вывод общетеоретического характера: любая конвергенция и дивергенция проходит через этап нейтрализации [Журавлев, 1979]. В понятийный аппарат внутренней реконструкции необходимо ввести формулу нейтрализации [Журавлев, 1972]:

$$\frac{a : b}{P_r} \rightarrow \frac{c}{P_n}$$

Оппозиция двух фонем ($a : b$), различающихся в позиции релевантности (P_r), снимается в позиции нейтрализации (P_n), где на месте обоих членов выступает нечто третье (c).

Нейтрализация содержит как потенциальную конвергенцию, так и потенциальную дивергенцию, стоит только снять позиционную обуслов-

ленность. В наиболее общем виде правила нейтрализации предельно просты: оппозиция может нейтрализоваться рядом с членом (в первую очередь маркированным) той же или родственной оппозиции или корреляции ассимилятивно или диссимилятивно, регрессивно либо прогрессивно.

Нейтрализация более характерна для центра системы. Через механизм нейтрализации центр управляет периферией системы, усиливает интеграционные связи периферийных фонем, диктуя порождение аллофонов, способных создать потенциальные оппозиции, заполнить "пустую клетку". Через механизм нейтрализации осуществляется связь с фонетическими законами (аллофонным варьированием), с одной стороны, и с корреляцией, с фонологической системой — с другой [Журавлев, 1984, 46].

Так внутренняя реконструкция смыкается с реконструкцией системой.

СИСТЕМНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

В центре внимания Е. Куриловича — фонологическая оппозиция, ее зарождение (фонологизация), ее исчезновение, ее нейтрализация, понимаемая как нейтрализация дифференциальных признаков, и т.п. [Курилович, 1965]. Однако необходимо сделать еще один шаг: не только поставить анализируемую фонему в оппозицию, но и саму оппозицию — в корреляцию, в блок фонологической системы, по возможности в целостную фонологическую систему реконструируемого состояния [Журавлев, 1986]. Так, для разрешения гуттуральной проблемы младограмматики сосредоточивали внимание поочередно на каждом из гуттуральных и реконструировали три ряда гуттуральных. Е. Курилович анализирует оппозиции ($k : \hat{k}$), ($g : \hat{g}$), постулируя признак палатальности на основании факта сатемизации в части индоевропейских языков. Другие исследователи реконструируют признак лабиовелярности (А. Мейе, В.И. Георгиев и др.). Весьма трудно верифицировать то или иное решение проблемы, пытаясь выявить неизвестное и опираясь на изменившееся, неустойчивое. Оппозиция ($k_1 : k_2$) — наиболее лабильный элемент системы индоевропейского консонантизма; здесь, пожалуй, больше инноваций, иррегулярных соответствий. Включив оппозицию, подлежащую реконструкции, в систему, можно будет найти более прочную опору для научных гипотез.

Представители старшего поколения компаративистов восстановили для протославянского девять шумных согласных: один фрикативный — [$*s$], восемь взрывных (четыре гуттуральных — k_1, k_2, g_1, g_2 ; два зубных — t, d и два губных — p, b). Единственный фрикативный был слабо включен в систему. Они объединялись в корреляции. На основании данных внешней и внутренней реконструкции легко восстанавливается корреляция по звонкости/глухости:

k_1	k_2	p	t	s
g_1	g_2	b	d	

Единственная фрикативная фонема $/*s_1/$ по отношению к данному признаку — "никакая" — характеризовалась знаком $\pm$. Эта фонема

есть, так как физически она глухая и интеграционно примыкает к глухому ряду, и вместе с тем ее нет, так как отсутствует ее звонкая пара. Она слабо включена в корреляцию, должна либо выпасть, либо развить дифференциальный признак.

Фактический материал свидетельствует, что признак звонкости обусловил аллофонное варьирование и дивергенцию $s_1 \rightarrow z_1 =: s$. Показательно, что вторичный $s_2 < *k$ не подвергается озвончению. Это означает, что закон Зупитцы старше сатемизации. По этому закону имеем, например, рус. *мозоль, гроза, тризна, жизнь* и др. Другим источником [z] была ассимиляция [$*s_1$] в позиции перед звонким согласным (ср. рус. *мозг, узда, гнездо, ноздри*). Фонологизация аллофонов s/z , превращение потенциальной оппозиции ($s : z$) в реальную не может быть не связано с явлением сатемизации ($\hat{k} > s_2, \hat{g} > z_2$) и последующей конвергенцией ($s_1 \times s_2 \rightarrow s, z_1 \times z_2 \rightarrow z$).

Другим ведущим признаком консонантизма того периода был признак гуттуральности. На нем была построена соответствующая корреляция. Это и вызвало соответствующую дивергенцию $*s_1 \rightarrow s =: x$, определив качество дивергента: появился фриктивный гуттуральный x . Сатемизация исконного $*\hat{k} > s_2$ поддержала обе новые оппозиции ($s : z$) и ($s : x$).

Каким же мог быть третий признак, дифференцировавший не только два ряда гуттуральных ($k_1 : k_2$), ($g_1 : g_2$), но и ($p : t$), ($b : d$)? На каком признаке могла строиться данная корреляция четырех оппозиций? Усилиями предшествующих поколений языковедов выявлено, что таким признаком может быть либо палатальность, либо лабиализация. Отношения между ($p:t$) и ($b:d$), в общем, не подвергались значительным изменениям. По ним-то и можно судить, что признак палатальности для них наименее вероятен. Из двух возможных решений наиболее вероятно второе. Отношения между двумя рядами гуттуральных, вероятно, строились на признаке лабиализации: ($k_1 : k_2$) = ($k^u : k$), ($g_1 : g_2$) = ($g^u : g$). Это должно было вызвать соответствующую дивергенцию $s_1 \rightarrow s^u =: s$ [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, 85 и след.).

Прежние отношения будут нарушены последующими процессами. Лабиовеляризация согласных губными гласными ($*\ddot{o}, *\ddot{u}$) в связи с лабиализацией последних будет препятствием фонологического противопоставления согласных по признаку лабиализации. Лабиализованные гуттуральные конвергируют $k^u \times k \rightarrow k, g^u \times g \rightarrow g$ не без связи с дивергенцией $k \rightarrow k =: s, g \rightarrow g =: z$. Аллофон $*s^u$ не фонологизировался. Однако кое-где сохраняются следы прежней лабиовеляризации: ср. праславянские дублеты $*skworьсь//*skorьсь$ (болг. *скворец* и *скорец*, *шкорец*, словц. *škorec*); $*sarka//*swarka$ (рус. *сорока*, болг. *сврака*); $*xworst//*xorst$ (рус. *хворост*, с.-хорв., болг. *храст*); $*xwoja//*xoja$ (рус. *хвоя*, словен. *hvŕja//hoja*, польск. *choja*).

Любопытно, что подобные дублеты не встречаются в позиции после других согласных, где не ожидается следов фонологической лабиовеляризации. Если излагаемая концепция верна, то можно ожидать и следы элиминации $*s_1 > \emptyset$. И они есть. Это *s-mobile* — явление, наиболее широко представленное именно в славянских языках, хотя

имеющее некоторую аналогию и в других (гот. *smals* — рус. *мал*, а также *кора*, *крыло*, *нежный*, *пена* и др.).

Так внутренняя реконструкция смыкается с реконструкцией системной. Система становится "арбитром" в споре зачастую противоречивых гипотез, накопленных в частной компаративистике. Оно и понятно. Содержание фонемы детерминировано системой, отношениями между материальными единицами, составляющими эту систему.

МОРФОНОЛОГИЗАЦИЯ

Е. Курилович коснулся одной из важнейших, с его точки зрения, проблем индоевропеистики — проблемы морфонологизации [Kurýłowicz, 1964, 13], давно привлекавшей его внимание. В плане излагаемой здесь концепции внутренней реконструкции морфонологизацию можно рассматривать как третий этап звуковых изменений. Если первый тип звуковых изменений (аллофонное варьирование) не зависит ни от слов, ни от форм, а лишь от фонетических позиций, а второй освобождает прежние аллофоны от позиционной обусловленности, то третий усиливает влияние слов и форм на функционирование фонемы. Это и подводилось младограмматиками под действие "закона аналогии".

Аналогия не действует на аллофонном уровне. Действию аналогии могут подвергаться лишь самостоятельные фонемы, а не аллофоны, не позиционные вариации. Это — продолжение процесса фонологизации, усиления фонологической оппозиции, а потому и увеличения исключений из фонетического закона. Лишь после снятия позиционной обусловленности, после завоевания фонетическим путем новых фонологических позиций новая фонема начинает морфонологизоваться. Осознание *-х-* как форманта прош. времени и его генерализация в имперфекте (НЕСЪАХЪ) и новом сигматическом аористе (НЕСОХЪ) стали возможными лишь после прекращения действия соответствующих фонетических ($*s > x$) и фонологических ($\hat{k}xs \rightarrow s$) процессов фонологизации оппозиции ($s:x$), после появления чисто фонетическим путем таких форм, как ПИХЪ. Точно так же генерализация *-х-* как форманта местн. падежа мн. числа (ЖЕНАХЪ) стала возможной лишь после появления фонетическим путем форм типа СЫНЪХЪ, КОСТЬХЪ, РАБЪХЪ, ТЪХЪ. Собственно морфологический процесс обобщения, генерализации грамматических показателей содействовал фонологизации новой оппозиции ($s:x$), ср. рус. *о нас* — *о селах*, *рабах*, *сынах* и т.п.

Все это может служить дополнительным источником реконструкции относительной хронологии. В данном случае славянский имперфект моложе монофтонгизации дифтонгов и тем более моложе фонетического закона о генезисе славянского $[x]$. В литовском языке фонологизации новой оппозиции ($s:\check{s}$) содействовали процессы морфонологизации: отклонения от фонетического закона $*s > \check{s}$ морфологизованы [Карлионас, 1966, 1—2].

Последовательное различение хронологической иерархии стадий зву-

ковых изменений (1) фонетический закон, 2) фонологизация, 3) морфонологизация) позволит уточнить критерии хронологизации наиболее спорных явлений. Так, в славистике наибольшие споры вызвала так называемая бодуэновская палатализация: одни ее считали младшей, третьей, другие доказывали, что она имела место до первой палатализации заднебных. Источником споров был тот бесспорный факт, что никакой другой фонетический процесс праславянского языка не имеет столь значительного числа исключений и дублетов. Очень мало бесспорных примеров на корневые морфемы. Результаты третьей палатализации в основном морфонологизованы, закреплены за теми или иными морфологическими категориями (итеративы, именные суффиксы и др.). Это и свидетельствует о том, что здесь мы наблюдаем главным образом результаты третьего, морфологического этапа. Фонологическая суть третьей палатализации состоит в фонологизации оппозиций (с:k), (с:č), (dz/z:g), (dz/z:dž/ž), (s:x), (š:s), появившихся в результате второй (свистящей) палатализации. Конвергенция рефлексов обеих младших палатализаций усиливала новые оппозиции. Например, позиция перед *-a-* стала теперь дифференциальной: *-sa*(<ikā):*-ka*(<*kā):*-ča*(<*kē). Морфонологизация усиливала, в частности, оппозицию (с:č); ср. ст.-слав. ОТЬЦЬ — ОТЬЧЬ, ОТЬЦЕМЬ — ОТЬЧЕ, ОТЬЦИ — КЛЮЧИ. Трактовка противоречивых показаний типа ст.-слав. ОТЬЦИХЪ ~ ВЬСЪХЪ должна идти прежде всего по линии морфологии, а не фонетики. Здесь следует усматривать процесс перехода в мягкий вариант склонения. Перераспределение дублетных суффиксов *-ik* / *-ic* усиливало оппозицию (k:c): ГРЪШЬНИЦА — ГРЪШЬНИКА. Показательно, что суф. *-ix* не варьируется, ср. рус. *ткачиха* — *жениха*. Оно и понятно: его вариативность ослабила бы функциональную нагрузку [x], ослабила бы новую нуждающуюся в усилении оппозицию (s:x).

Оппозиция (s:x:š) может быть усилена путем конвергенции рефлексов младших палатализаций с любым из крайних членов оппозиционной цепочки. Ожидается диалектное различие рефлексов второй и третьей палатализации, ср. рус. *весь, седой* — польск. *wszystek, szady* (x > s//š). Это фонологический, а не фонетический и не морфологический процесс. Для каждого типа звуковых изменений должен быть свой ключ, свой способ реконструкции. Ключ фонетических законов существует лишь для фонетического типа и не может открывать все двери.

ПРЕДЕЛЫ РЕКОНСТРУКЦИИ

И все же старое доброе оружие — фонетический закон — остается наиболее надежным инструментом реконструкции, являясь исходным моментом всей ее процедуры (на фонетическом и фонологическом, на морфологическом и морфонологическом, этимологическом и лексико-семантическом уровнях). Фонетический закон, точнее, возможность или невозможность подвести то или иное явление под действие строгих закономерностей позиционного варьирования аллофонов выступает в качестве пограничного столба достоверной реконструкции. Так, сопоставляя рус. *несу* — *ноша*, можно способом внутренней реконструк-

ции архетипа восстановить *n + e/o + s/š-. На основании относительной хронологии и совокупности известных в настоящее время фонетических законов восстанавливается архетип *n e/o s-. В данном случае $\check{s} < s$ в результате йотации, потому что это слово склонялось по основам на -ja-. Возвести e/o к чему-то единому на основании фонетического закона не удастся ни на славянском, ни на общиндоевропейском материале. Это — предел реконструкции. Предшествующие поколения языковедов реконструировали целую систему чередований гласных с исходным (e//o) чередованием.

Бесспорно, здесь имеет место результат третьего, последнего этапа звуковых изменений, морфонологизация. Чередования эти так или иначе закреплены за определенными грамматическими категориями (ср. *несу* — *ноша*, *беру* — *сбор*, *плету* — *плот*, *лежу* — *лог*, *бреду* — *брод...*), хотя и непоследовательно (ср. *ноша* — *носить*, *веду* — *водить* и т.п.). С этой точки зрения, пожалуй, и следует оценивать все теории генезиса чередования (e/o). Во всяком случае, наибольший эффект дают исследования данного явления в плане морфонологии. Затем следует выявить возможные процессы фонологизации, и, лишь сняв "шумы" этих поздних процессов, можно будет вернуться к поискам фонетического закона. В общем сходный путь предлагал и Е. Курилович.

Существует и четвертый тип звуковых и языковых изменений, социализация, отбор и присвоение результатов спонтанного развития данным языковым коллективом. Это лежит вне компетенции внутренней реконструкции. Это ее предел. Здесь действуют законы диахронической социолингвистики [Журавлев, 1984].

Завершая сжатый и далеко не полный обзор приемов внутренней реконструкции, следует подчеркнуть, что сама по себе она не всесильна, она не может и не должна отменять ни приемов и выводов реконструкции внешней, ни положений старой доброй классической компаративистики с ее постулатом непреложности фонетических законов, ни конкретных ее результатов. Весьма показательна судьба пионерских трудов крупнейшего компаративиста XX в. Е. Куриловича. Его поиски методов и приемов внутренней и системной реконструкции вошли в золотой фонд нашей науки, хотя многое из его конкретных выводов не могло быть принято последующими лингвистами. Многие из конкретных достижений, не будучи результатом новых методов, все же остается и останется "общим местом" нашей науки, надежным критерием достоверности новых результатов.

Как было показано выше, взаимоотношение между внутренней и внешней реконструкцией не может быть однозначным и постулат о примате внутренней реконструкции требует некоторых корректив. В принципе ясно одно: по мере восхождения от реконструкции элементов к реконструкции системы эффективность внутренней реконструкции возрастает, но без реконструкции элементов немыслима и реконструкция системы, т.е. взаимосвязи этих элементов.

Реконструкция архетипов — альфа и омега всей процедуры реконструкции. Инвентарь архетипов — это тот исходный эмпирический материал, на котором строится вся дальнейшая реконструк-

ция. Лишь при достаточном наборе надежных архетипов можно установить достаточно надежный фонетический закон. И наоборот, критерием надежности реконструированного архетипа является прежде всего строгое соответствие фонетическому закону. Совокупность реконструированных архетипов слов представит собою реконструкцию праязыкового лексического фонда. Инвентарь реконструированных словообразовательных морфем служит эмпирическим материалом для реконструкции праязыкового словообразования. Инвентарь грамматических морфем — материал для реконструкции грамматических категорий, морфологии, грамматической системы.

Реконструкция архетипов слов и морфем должна опираться как на внутренние, так и на внешние данные, иначе могут быть получены заведомо ложные результаты, тот или иной элемент может быть либо упущен, либо восстановлено то, чего не могло быть в исходном состоянии и является инновацией отдельных языков данной группы. То же самое можно сказать о реконструкции инвентаря фонем. Последний может быть реконструирован лишь по данным возможно большего числа архетипов слов и морфем.

Уже при реконструкции фонетических законов функционирования, позиционного варьирования аллофонов, т.е. того, что традиционно называют фонетическими законами, внутренняя реконструкция является основой (параметры L — данный язык! и T — на данном этапе развития!).

В самом деле, набор позиций, обуславливающих вариативность (например, i, u, r, k в сатемовых языках) и характер аллофонов может в большей или меньшей степени варьироваться от диалекта к диалекту. И все же факты языков ближнего и отдаленного родства остаются надежным критерием для верификации фонетического закона.

При восстановлении явлений фонологизации, конвергентно-дивергентных процессов, при восстановлении системы и ее отдельных блоков внутренняя реконструкция имеет решающее значение. Степень достоверности ее результатов зависит не столько от методов и приемов внутренней и системной реконструкции, сколько от достоверности и полноты обрабатываемых фактов, полученных и другими способами сравнительно-исторического анализа [Birnbaum, 1973].

Нередко полагают [см., например: Schevelov, 1964, 5], что результаты обеих реконструкций, внешней и внутренней, имеют вневременной плоскостной характер. Все, что реконструируется, — будь то отдельные элементы или целые фрагменты системы, — проецируется на плоскость праязыка. Реконструкция динамическая пока остается лишь в сфере пожеланий [Макаев, 1977, 203]. Это верно, но лишь для реконструкции внешней: нечто общее родственных языков, не уместяющееся в истории отдельных языков, действительно складывается в праязыковое состояние, приуроченное к эпохе распада праязыка, соответствующего колена родословного древа. Относительная хронология, устанавливаемая на основании такой реконструкции, представляет собой лишь некую классификацию: явления общеиндоевропейские, явления балто-славянские, явления праславянские, "пранусские".

Иное дело относительная хронология, установленная по данным внутренней реконструкции. Уже сопоставление двух фонетических законов позволяет однозначно определить, что один из них мог действовать лишь раньше другого, а это дает возможность устанавливать их хронологическую иерархию. Опираясь на серию реконструированных и тщательно верифицированных фонетических законов, можно восстановить цепи конвергентно-дивергентных процессов достаточной протяженности. Такой подход позволил связать цепью причинно-следственных отношений все явления и процессы истории праславянской фонологической системы от древнейшего, протославянского (сатемовая палатализация и генезис) до последнего общеславянского (падение редуцированных). Таким образом, внутренняя реконструкция сделала значительный шаг в сторону реконструкции динамической. Большую роль здесь может играть аппарат теории нейтрализации. Разработанный на материале диахронической фонологии [Журавлев, 1961; 1986], он был апробирован и на материале диахронической морфологии [Журавлев, 1976; Žuravlev, 1977]. Все важнейшие процессы истории славянской деκлинации (падение двойственного числа, распад прежних типов склонения существительных по основам, формирование местоименного склонения прилагательных, зарождение категории одушевленности, увеличение продуктивности предложно-падежных сочетаний и т.д.) как бы сами собой выстраиваются в цепь взаимосвязанных причинно-следственными отношениями событий, явлений, процессов.

Современная компаративистика натолкнулась на своего рода хронологический парадокс. Он заключается в том, что чем больше объем эмпирического материала и точнее методы хронологизации, тем больше размах "точной" датировки праязыковых процессов. Если раньше, устанавливая дату праязыкового процесса, ученые спорили относительно десятилетий, то теперь — ставка на тысячелетия. Так, начало самостоятельного развития праславянского языка В. Георгиев относит ко II тысячелетию до н.э., а З. Штибер — к первым векам нашей эры. Один из важнейших праславянских процессов, первая палатализация заднебных, датируется I тысячелетием до н.э. (С.Б. Бернштейн) или VI в. н.э. А. Лампрехт убедительно доказал с точностью до 25 лет, что этот процесс проходил в 475 г. н.э. Хронологический парадокс проявляется в том, что праязыковое состояние эпохи распада либо переносится далеко в глубь веков, либо для него вовсе не остается времени. Н.Д. Андреев перенес праиндоевропейскую эпоху в XV—X тысячелетия до н.э., в верхний палеолит.

Неоднозначность решения частных вопросов хронологизации неизбежна, если в центре внимания одних находятся внешние, а в центре внимания других — внутренние связи данного явления с явлениями родственными. Так, наблюдая схожие явления в праславянском и хеттском, трудно отделаться от впечатления об их хронологической близости. При этом расшифровка древнейших текстов на языках, причисляемых к индоевропейским, вместо ожидаемой близости обнаружила глубокие расхождения. Эпоха распада праиндоевропейского языка переносится все дальше в глубь веков. Хронологическое рас-

стояние между языковыми процессами неизбежно увеличивается.

С другой стороны, чем глубже и полнее мы познаем исследуемое праязыковое явление, тем больше вскрывается его связь с другими явлениями и процессами данного языка. Если же установлена теснейшая внутренняя взаимосвязь между двумя явлениями, то трудно отделаться от впечатления об их хронологической близости или одновременности. Хронологическое расстояние между языковыми процессами при этом неизбежно сокращается. На все фундаментальные процессы, коренным образом изменившие облик праславянского языка, остаются лишь десятилетия, а на весь балто-славянский период, как заметил В. Георгиев, почти совсем не останется времени.

Неоднозначность хронологических решений неизбежна, если не осознана иерархия типов звуковых изменений. Явление аллофонного варьирования (фонетический закон) может быть отделено многими столетиями от процессов фонологизации этих аллофонов, а тем более от процесса морфонологизации новой фонемы и социализации всех этих изменений. Естественно, если установить абсолютную хронологию звукового изменения лишь по одному из его этапов, спорность такого решения неизбежна.

При наличии расхождений между выводами внешней и внутренней реконструкции следует отдавать предпочтение относительной хронологии, основанной на данных внутренней, даже если данные внешней реконструкции подкреплены абсолютной хронологией. Для установления цепи причинно-следственных отношений между языковыми процессами астрономическое время может быть лишь вспомогательным средством выражения наглядности динамики истории языка.

ПРАЯЗЫК:

БЛИЖНЯЯ И ДАЛЬНЯЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

С точки зрения компаративистики в генетически родственных языках все явления (на любом из уровней) при наличии основания для сравнения (общее в функциональном отношении, либо в формальном, либо в том и другом вместе) далее оцениваются по степени и характеру различия. С учетом двусторонности языковых единиц здесь могут быть обозначены четыре типа случаев:

а) полное тождество формы и семантики (среди исконных форм случаи подобного рода весьма редки; см., например, общетюркскую форму принадлежности 1-го лица ед. числа *-т* или там же употребление основы глагола с нулевой морфемой в значении 2-го лица ед. числа императива);

б) вариация плана выражения и плана содержания (такова, например, общетюркская форма на **-г* со значением наст. времени широкого плана, которая в части языков изменила семантику, при этом ее структурно-фонетические реализации неодинаковы даже

в близкородственных языках [Грунина, 1976; Щербак, 1981, 85—91];

в) замещение показателя иным материальным образованием, неодинаковым по языкам, при сохранении содержательного элемента языковой системы (таковы, по всей видимости, формы перфекта древних и современных тюркских языков с показателями *-tuŋ*, *-gan*, *-ub*, *-an*, которые в разных ареалах сменили какую-то более раннюю форму, возможно, ту, что стала общетюркским претеритом на *-dy*, сохранившим, однако, определенные свидетельства своего перфектного прошлого [Кормушин, 1984, 17, 47—48]);

г) форма и в семантическом плане, и в материальном отношении является заведомой инновацией для всех языков семьи (таковы, например, формы футурума в тюркских языках [Грунина, 1966; Щербак, 1981, 73—74]).

Научная компаративистика — в отличие от библейско-схоластической теории моногенезиса языков мира [СИИЯРС, II, 154] — признает релевантными для доказательства родства языков только различия типа "а" и "б". Примат формы в сравнительно-исторических исследованиях, допускающий сопоставления исключительно на почве материальной общности, приводит к тому, что случаи "в" и "г" играют роль своеобразного "отрицательного материала", обозначающего границу сопоставимости и показывающего, что "дальнейшее развитие формы отсутствовало" или же что "сопоставимых форм в таком-то фрагменте системы не было". Методически выдержанное исследование основывается на строгом, придирчивом разграничении отрицательного и положительного материала, иначе говоря, на допустимости/недопустимости отождествления тех или иных форм как генетически единых. Здесь имеются в виду, во-первых, случаи омонимии морфем и, во-вторых, то, что часть материальных сходжений между языками возникла благодаря заимствованиям из одних (одного) языков в другие (другой) родственные языки в результате древних и древнейших доисторических контактов.

Открытие и осознание факта материальной тождественности (с учетом вариативности по п. "б") основных строевых элементов таких, например, языков, как древнегреческий и санскрит, при том, что и к периоду древнейших фиксаций они уже имели значительные отличия типов "в", "г", а в дальнейшей истории отличия всех типов ("б"—"г") нарастали, подвели ученых к мысли о возможности экстраполяции расходящихся линий развития и сведения их в какой-то точке доисторического прошлого — праязыке (ПЯ). На модель "один гипотетический ПЯ → несколько исторических языков" повлиял или попросту был перенесен реальный пример возникновения самостоятельных языков путем дробления и последующего автономного развития "частей одного языка" (латынь → романские языки). Вместе с тем при учете общемировой картины языкового разнообразия иного объяснения, чем возведение "похожих" языков к единому ПЯ, и быть не может: при том, что наряду с индоевропейскими существует большое число семей, с которыми у них заведомо нет тех материальных сходжений, что выяв-

ляются между древнегреческим, санскритом, латынью, готским и старославянским, маловероятно, чтобы эти последние имели свой особый лингвогенез и у них "случайно" оказалось такое количество общих элементов.

При указанном экстраполяционном подходе ПЯ предстает как исходное состояние группы засвидетельствованных языков, содержащее как в зародыше все их будущие черты, причем только общие, поскольку дивергентные рассматриваются в этом случае как результат послепраязыкового сепаратного развития.

Состав ПЯ — структура и семантика грамматических категорий, словообразовательные ряды, архетипы корней — выглядел в подобных реконструкциях вполне "надежно", так как устанавливался по "большинству языков" или по "наиболее характерному типу" и т.п. и в принципе не сильно отличался от данных какого-либо древнего представителя группы.

Установилось неодинаковое отношение к очерчиваемому подобным образом ПЯ от максимального "реализма" (восстанавливаемый ПЯ — коммуникативная реальность, на нем можно воссоздать тексты) до максимального "конструктизма" (ПЯ — лишь конструкт, удобная схема для исчисления вариативных изменений языков-потомков). Характеру первоначального представления о ПЯ в лингвистическом плане соответствовала оценка его как схемы, тогда как конкретно-исторические данные, в том числе история развития некоторых языковых семей, говорили о возможности существования такого незасвидетельствованного доисторического, но вполне реального языка, из которого впоследствии (из-за разобщения коллективов — носителей такого языка и благодаря неравномерности и неодинаковости собственно языковых изменений в разделившихся "частях языка") произошли исторически засвидетельствованные языки.

Нельзя отрицать определенной обоснованности каждого из названных подходов. Поэтому в синтезе целесообразно сохранить рациональное зерно и того, и другого. Определенный схематизм и искусственность ПЯ проистекают из невозможности воссоздать абсолютно все черты ПЯ как реального языка, поскольку часть этих черт безвозвратно утрачена исторически засвидетельствованными языками. Акцентируя внимание на этих моментах, иногда говорят не о ПЯ, но о "праязыковом состоянии" как некоторой совокупности моделей максимально достижимого числа фрагментов языковой системы и выражающих их материальных знаков. С другой стороны, адресуясь к далекому прошлому языковой семьи, мы не можем представить себе существование их общего предка вне реального языка. ПЯ может быть только языком (при всей внешней тавтологичности такого суждения), иное дело, что знаем (восстанавливаем) мы его приблизительно, лакунарно, на уровне "совокупности моделей". Следовательно, положение, синтезирующее тезис "реализма" и антитезис "конструктизма", сводится к тому, что ПЯ — абсолютная реальность как онтологическая данность, тогда как его гносеологическая реальность относительна. Это положение в значительной мере подкрепляется соображениями о сте-

пени развитости ПЯ с точки зрения как собственно лингвистических, так и экстралингвистических — исторических — данных.

Реконструкция ПЯ производится по различиям типов "а" и "б" в языках-потомках, т.е. в принципе по "сумме общего" в них. Практически между языками-потомками (особенно при ранней их фиксации) наблюдается значительная общность в приемах и объектах лексической номинации, в структуре грамматических категорий и древнейшем слое репрезентировавших их форм, т.е. материальная "сумма общего" достаточно велика. Это с необходимостью подводит к постулированию для ПЯ почти идентичной системы категорий (в главных чертах: части речи, механизмы транспонирования, общая схема частных категорий) и объемного словаря.

В свою очередь перенесение в ПЯ многого из исторических языков означает, что ПЯ — язык того же или весьма близкого к самым ранним языкам-потомкам порядка; иными словами, ПЯ является языком с достаточно развитым семантическим и формально-выразительным потенциалом.

Такое заключение согласуется и с данными исторических наук. Существование праязыков относят к эпохе производящих обществ на стадии раннеметаллических культур (скажем, индоевропейского ПЯ — в пределах VII—V тысячелетий до н.э. в разных гипотезах [см. подробнее: СИИЯРС, I, 24], уральского ПЯ — не позднее IV тысячелетия до н.э. [см.: Основы финно-угорского языкознания, 1974, 31—39]). Человеческое общество имело к этому времени сложную социальную структуру, которую оно не могло бы сформировать и функционирование которой оно не могло бы обеспечить без высокоразвитого языка.

Все сказанное выше о наиболее общих принципиальных характеристиках ПЯ как лингвистического объекта очерчивает один из важнейших постулатов теории реконструкции: (I) ПЯ — реконструируемый с той или иной степенью полноты, но реально существовавший общий язык-предок группы исторически засвидетельствованных древних и/или современных родственных языков, характеризующийся в своих основных строевых компонентах материальной общностью (типов "а" и "б") и аналогичной степенью их развития, что и в языках-потомках. На основании данного постулата можно сформулировать следующую теорему: *(1) для всякой группы родственных языков существовал общий (единый) язык-предок, или ПЯ, который можно воссоздать с той или иной степенью полноты и который по степени развитости и основным конститутивным чертам не будет значительно отличаться от языков-потомков.*

Из теоремы I.1 вытекает следствие, затрагивающее также практическую методику реконструкции ПЯ: каждому материально тождественному (аналогичному), но варьирующемуся в отношении формы и/или содержания в языках-потомках языковому явлению или знаку (морфеме или ее части, синтаксической структуре в ее морфологическом выражении) необходимо приписать единое формальное выражение и значение (хотя значение может быть и не единственным)

в ПЯ, или архетип. Следствие в том виде, как оно здесь сформулировано, описывает не только результат (собственно следствие), но и процедуру его получения, т.е. доказательства теоремы. В принципе процедурная сторона вывода теорем не связана с постулатами (см. также ниже о постулате II), но опирается на особую аксиоматику языковых изменений. Что касается соотношения различных категорий эвристики теории реконструкции, то процесс получения их в истории языкознания прямо противоположен излагаемому порядку (постулат/аксиома — теорема — следствие), ориентированному на дедуктивный характер "восхождения" от абстрактного к конкретному: первоначально опытным путем устанавливались частные схождения (языковых форм), в результате обобщения которых были открыты закономерности филиации языков, отраженные в соответствующих понятиях теории реконструкции.

С обозначенным выше постулатом I и основанной на нем теоремой связан другой важный постулат лингвистической компаративистики с рядом производных от него теорем. Совершенно очевидно, что высокоорганизованный язык, каким являлся ПЯ, не мог не иметь своей собственной истории развития в направлении к структурам достаточно сложным от структур более простых. Историческое языкознание наглядно показало, что развитие языков происходит по пути усложнения семантического потенциала слов и грамматических форм, а выражается такое усложнение в появлении новых граней смысла и интеграции их в языковых структурах.

К этой же мысли можно прийти и с другой стороны. Неглубокое залегание многих ПЯ по сравнению с наличием языка — уже не просто системы сигналов — у *homo sapiens* (минимум 40 тыс. лет) предполагает достаточный промежуток времени (30 тыс. лет) не только для формирования генетического облика языковых семей, но и для всевозможных изменений этого облика еще в пределах ПЯ.

На основании сказанного выводится постулат II о длительности доисторического существования и развития ПЯ. На данном постулате базируется теорема о неомогенности ПЯ: *(I) в языках-потомках часть различий возникла в результате послепрязыкового развития в условиях раздельного бытования праязыковых диалектов, но обязательно есть также такая часть различий, которая возникла и существовала уже в ПЯ.* Эти последние, праязыковые, различия по приметам раннего свойства — фонетическим, семантическим и т.п. — угадываются как особо архаичные; кроме того, их неперменным признаком является глобальный характер распределения: праязыковые различия охватывают наиболее общие группировки языков той или иной семьи. Известное индоевропейское чередование кентум/сатем, по-видимому, может служить примером подобной праязыковой альтернации. К тюркскому ПЯ, очевидно, восходит и межтюркское инлаутное соответствие *-j/-d-* в большой группе пратюркских корней, которое разделило всю праязыковую область на две зоны — древневосточную с *d* и древнезападную с *j*. Существует целый ряд примет глубокой

древности данного чередования. Так, альтернации j/d подвергся второй согласный корня, ею не затронуты последующие корневые согласные; не говоря уже о корнях, среди производных лексем, представленных дублетными парами с j и d и потому непосредственно "захвативших" данное чередование, много слов, обозначающих архаичные реалии, например кыпч., огуз. *айыр*, сев.-вост., др.-тюрк. *адыр* 'развилка, ответвление', 'рогатина, деревянные вилы' и т.п. К важным праязыковым дивергенциям относится также совпадение морфологических систем глагола и прилагательного, о чем речь ниже.

Таким образом, теорема о негомогенности ПЯ фактически является теоремой о двух типах различий в языках-потомках: праязыковых и послепраязыковых. К следствиям этой теоремы относится положение о качественном характере границы между ПЯ и языками-потомками. По первоначальному представлению, граница ПЯ обозначала просто хронологический рубеж, до которого было "общее" в ПЯ, а после которого — "различное" в языках-потомках. Согласно более позднему представлению о ПЯ как совокупности праязыковых диалектов граница ПЯ указывает на их реальное (территориальное) обособление с "нарастанием" различий. Тезис, синтезирующий два указанных представления и вносящий принципиально новые моменты, можно сформулировать следующим образом: граница ПЯ — прежде всего понятие качественного порядка, означающее, что преобразования или вариации праязыкового достояния — как общего багажа, так и дивергентных признаков, возникших на стадии ПЯ, — происходят не по общесемейным, но по более частным, групповым или индивидуальным, закономерностям.

Для примера обратимся к судьбе упоминавшегося межтюркского инлаутного соответствия, которое в полном виде выглядит так: кыпч., огуз., карл.-уйг. $-j-$ ~ тув., тоф., халадж., орх.-енис., др.-уйг. $-d-$ ~ якут. $-t-$ ~ карах.-уйг. $-δ-$ ~ хак., шор., чул., с.-юг. $-z-$ ~ чув. $-r-$. Весь альтернационный ряд $j \sim d \sim t \sim δ \sim z \sim r$ представляет собой "различия" исторически засвидетельствованных (начиная с VIII в. и до современности) тюркских языков. По теореме I.1 мы должны приписать этому ряду единый архетип или, что то же, возвести все эти рефлексy к единой фонеме тюркского ПЯ. По поводу конкретного фонетического значения архетипа среди компаративистов-тюркологов наблюдаются разногласия: многие исходной фонемой считают $δ$ [см., например: Шербак, 1970, 160; Серебренников, Гаджиева, 1979, 63—65]; Э.Р. Тенишев попытался обосновать первичность j [СИГТЯ, 296]; автор этих строк в докладе на II Всесоюзной тюркологической конференции в 1976 г. в Алма-Ате высказался в пользу среднеязычного звонкого смычного ʃ^* . Как бы то ни было, в тюркском ПЯ для слов, охваченных указанным чередованием, существовала какая-то фонема-архетип, которая в засвидетельствованных тюркских языках отразилась в виде перечисленных рефлексов.

* Отчет о докладе см.: ВЯ. 1977. N 4.

По теореме II.1 часть этих рефлексов единого архетипа (часть "различий") возникла в ПЯ, часть — в отдельных группах и языках в послепрязыковое время. Так, совершенно очевидно, что чувашское *-r-* образовалось в результате перехода **-z->-r-*, а само предполагаемое древнечувашское **-z-*, как и *-z-* в современном хакасском, чувлымском, шорском, сарыг-югурском, возникло из более древнего **-δ-*. Следовательно, переходы *-z->-r-* и *-δ->-z-* оказываются вторичными и ограниченными рамками перечисленных языков, что несомненно указывает на более позднее их осуществление. Это же нужно сказать о якутском *-t-*, которое произошло в результате собственно якутского оглушения звонких (не только *d*, но и других согласных), т.е. *-t- < *-d-*.

В рассматриваемом ряду к праязыковой дивергенции следует отнести расщепление какого-то архетипа (возможно, **-δ-*, или **-ḡ-*, или **-d-*, т.е. какого-то дентального, который условно обозначим как **-D-*) на альтернативные рефлексy. Если принять во внимание, что все рефлексy, кроме *-j-*, представляют собой вторичное развитие дентального архетипа, то придется признать, что альтернативными рефлексами были *-j-* и **-D-*. Поскольку именно в дентальной зоне происходили дальнейшие вторичные развития архетипа, то можно думать, что дентальный звук и был исходным в данном ряду, так как он допускал такие изменения. Напротив, *-j-* не подвергся дальнейшим изменениям. А так как *-j-* широко и с древнейших времен представлен в тюркских языках и ряд слов, таких, как *ajran* 'айран', *qaja* 'скала' и др., имеет во всех тюркских языках только *j-* формы, то первичную альтернатию **-D-/ *-j-* следует представить восходящей к ПЯ. С этим согласуется и тот факт, что данная альтернатию глобальным образом охватывает тюркские древние и современные языки, объединяя классификационные группы в две крупные группировки — *d-* и *j-* зоны.

Таким образом, действительно часть "различий" указанного тюркского альтернативного ряда произошла в послепрязыковое время, само же чередование **-D-> *-j-/ *-D-* возникло, по всей вероятности, еще в тюркском ПЯ.

Как уже указывалось выше, теорема II.1 двухаспектна: указывая на двутупность различий в языках-потомках, она определяет границу между ПЯ и языками-потомками. Но эта же теорема говорит и о негомогенности самого ПЯ ввиду наличия в нем древнейших дивергентных признаков. В результате осмысления этого факта была выдвинута идея о том, что, применяя компаративистскую методику к материалу праязыковых различий, можно произвести реконструкцию следующего, второго порядка, или дальнюю реконструкцию (ДР), в отличие от реконструкции первого порядка, или ближней (БР). Это положение образует вторую теорему, основанную на постулате II: (2) *если выявлены праязыковые дивергентные признаки, то возможно произвести реконструкцию предшествующего праязыковому протоязыкового состояния, или протоязыка (ПтЯ).*

Помимо общей оценки большей гипотетичности ДР существует и ряд вполне конкретных ее особенностей в сравнении с БР как по методике вывода, так и по получаемым результатам:

1) если при БР в большей мере опираются на внешнее сравнение, то ДР проводится преимущественно приемами внутренней реконструкции;

2) если в БР практически переносится система основных грамматических категорий и словообразовательных рядов (как существенно общие черты) из языков-потомков, то в ДР чаще имеют дело с качественными преобразованиями категорий (род ← *класс, время ← *вид и т.п.);

3) в результате ДР в распоряжении исследователя оказывается ограниченный набор общих форм с весьма гипотетической категориальной характеристикой, своего рода экстракт общего; отсутствие здесь каких-либо чередований, альтернатив и тому подобных различий, исчерпанных при переходе от БР к ДР, делает невозможным дальнейшую работу с материалом, обозначая фактически предел применимости сравнительно-исторического метода.

Разграничение БР и ДР не абсолютно не только по своей сути непрерывного языкового изменения, но и по дискретности самих шагов познания и экспликации такого изменения. Дискретность же актов реконструкции и вынуждает строить методическую шкалу оценок относительной глубины тех черт, которые проявляются в результате каждого отдельного акта. Важнейшим внутренним стержнем подобного самоконтроля служит представление о системности языковых категорий, позволяющее логически непротиворечиво выстраивать отдельные изменения во взаимосвязанные последовательности изменений, моделируя — схематично и приблизительно — историческое развитие. Проиллюстрируем высказанные соображения о различиях БР и ДР образцами построений общетюркского ПЯ в области форм глагола и прилагательного.

Формальная и семантическая разветвленность категории времени глагола во всех без исключения современных и древних языках, когда имеется по три абсолютных времени, обозначающих общие временные планы настоящего, прошедшего и будущего, и по несколько относительных времен, коррелирующих с соответствующими абсолютными, содержит в себе и предпосылку первого же шага реконструкции. Казалось бы, такой акцией должно стать устранение трех подсистем относительных времен, поскольку каждая подсистема повторяет трехчастность общих временных планов, например в прошедшем: настоящее в прошедшем, или имперфект, прошедшее в прошедшем, или плюсквамперфект, будущее в прошедшем. Однако развитие системы не было только логическим развертыванием исчисления, помимо этого происходило развитие самой логики системы, ее качественно-содержательное (а не только количественно-формальное) преобразование. Опора на показания формы приводит к признанию позднейшего характера только части подсистемы настоящего — за исключением перфекта, всей подси-

стемы прошедшего и будущего, а также общего плана будущего. В результате элиминирования указанных граммем остается первичная триада: претерит—перфект—презенс.

Наиболее трудную часть задачи составляет содержательная интерпретация полученной модели. Подход к такой интерпретации возможен с двух сторон: со стороны внутрикатегориальных соотношений и со стороны межкуатегориальных соотношений.

Для понимания внутрикатегориальных соотношений ключевое значение имеет перфект. В разветвленной (более поздней) системе он коррелирует с настоящим актуальным, которое всегда позднего формирования. С другой стороны, перфект почти везде сохраняет следы былого совмещения наряду с собственно перфектными как плюсквамперфектными значений, так и значений предбудущих (предостерегательные употребления). Из этих двух фактов вытекает то, что перфект указывал на относительное предшествование, не имея абсолютной временной прикреплённости к тому или иному общему плану (прошедшее/непрошедшее или прошедшее/настоящее/будущее).

В функции претерита в тюркском ПЯ выступала форма на *-du*, представленная в этом качестве почти во всех языках, начиная с древнейших памятников. Однако семантический потенциал данной формы в целом ряде тюркских языков, в особенности в архаичных по целому комплексу черт северо-восточных, пережиточно сохраняет указания на ее перфектное прошлое. К этому же склоняет характер личной аффиксации — оформленность посессивными показателями лица, что, по определенным свидетельствам, идет от полупредикативной позиции формы, в наибольшей степени соответствовавшей выявлению перфектного значения.

Переход перфектов на позиции претеритов — явление, широко известное в истории самых различных языков [Серебренников, Бирюкович, 1981]. Однако это совершенно ясно в случаях, когда прослеживается судьба форм, которые в силу их ограниченности отдельными группами языков (а также по другим признакам) можно определить как вторичные, пришедшие в послепрязыковой период на смену общепратюркской форме претерита. БР, опираясь на совокупные "внешние" показания, выявляет эту, самую архаичную, форму ПЯ, но сохраняет структуру глагольной категории времени, в которой три понятийных узла (граммемы) так и остались. Иное дело, когда реконструкция, дойдя до первичной, несомненно праязыковой, формы, обнаруживает, что и эта форма в роли претерита вторична — ее изначальной грамматической функцией была функция перфекта. Дивергентность данного явления заключается в "различиях" семантического плана: праязыковая форма, имея новую, претеритную, функцию, сохраняет употребления, свойственные функциям старой, перфектной. Производя дальнейшую реконструкцию праязыкового "различия", т.е. устраняя это "различие" в пользу более архаичного общего признака, мы подходим к принципиальному моменту реконструкции: трехчленная система благодаря сведению "первичного" претерита к перфекту редуцируется до двухчленной системы. Такое, внешне — количественное, преобразо-

вание не может не означать иного качественного состояния данного фрагмента языка ("связки" граммем: претерит—перфект). В такой, по преимуществу качественной, трансформации категориальных отношений ПЯ на основе "внутренних" данных — главная особенность ДР. Справедливость этого вывода подтверждается при выяснении внутрикатегориальных соотношений между перфектом в его "новом" качестве категории тюркского ПТЯ (при двучленности системы) и презенсом.

Презенс в языках мира имеет два типа значений: конкретные (производство действия в определенный момент — в широком или узковременном отрезке) и общие, или характеризующие (умение или склонность субъекта производить действие, обычность или повторяемость действия) [подробнее см.: Кормушин, 1984, 69—70]. Эти два типа значений в чисто темпоральном отношении принципиально разобщены и противопоставлены как привязанное к моменту речи и как не включающее момент речи. Следует подчеркнуть, что последний тип значений может создаваться лишь при выключенности актуального плана. Общетюркская форма на *-r*, выступавшая в ПЯ в качестве презенса, в лексикализовавшихся субстантиватах отложила характеризующие значения. Следовательно, это должно быть и ее исходной функцией. Представляется, что исключение актуального значения у первичного "презенса" и будет обозначать переход системы в качественно иное состояние, относимое к ДР.

Таким образом, в ДР остаются вневременные (неконкретного временного плана) "перфект и "презенс", грамматическое содержание которых было общетемпоральным — обозначать последовательность действий, тогда как отнесенность к конкретному временному плану (настоящему, прошедшему, будущему) выражалась лексико-дейктическими средствами.

Развитие грамматической темпоральности (проспективно, от очерченной выше минимальной — и потому исходной — оппозиции), по нашему мнению, выражалось не в одном каком-то преобразовании, но в целом ряде взаимосвязанных и взаимообусловленных изменений, главным образом качественных (категориальных). Так, первичный "презенс", имевший характеризующие значения, начинал выражать действия определенного момента (первоначально любого темпорального плана), в которых его первичные значения подразумевались, но уже отступали на второй план. Оба типа этих значений категориально разобщались, будучи еще в одной форме, т.е. возникала скрытая грамматическая категория. Эволюция "перфекта" состояла в том, что он обретал функционально-семантическую разноплановость: в синтаксически сопряженных употреблениях на фоне действия с характеризующим значением он передавал зависимое действие относительного предшествования, тогда как в несопряженных употреблениях — действие со значением общего предшествования, или претеритальное; на фоне действия определенного момента вырабатывалось значение собственно перфектное — фазисной преломленности зависимого действия (на собственно пред-

шествующее действие и его результат, сопряженный с последующим определенным моментом).

Категориальная филиация первичного "перфекта" на специализированные граммы общего и относительного предшествования, т.е. на претерит и перфект, привела и к функциональным сдвигам в первичном "презенте", который план прошлого "отдает" граммеме общего предшествования.

В предлагаемой схеме развития с методической точки зрения необходимо выделить три фазы: а) дотемпоральную, когда темпоральные значения были побочными, сопровождали синтаксические (а также лексико-семантические, что требует особого рассмотрения) значения временной и иной соподчиненности; б) темпоральную, когда возникает минимальная оппозиция и благодаря этому категоризируются и, видимо, в целом начинают превалировать значения временные, но не локализованные на временной оси, а одинаково относимые к любому временному плану, т.е. еще панхронические; в) фазу темпорального распределения, знаменующую образование планов прошлого/непрошлого, что осуществлялось в несколько этапов: образование трехчленной оппозиции, скрытая дифференциация презентса и т.д.

Указанные фазы — моменты условного статического представления непрерывного процесса. Крайние фазы необходимо отнести соответственно к ДР и БР. Но фаза "б" может быть связана и с той, и с другой. Этим мы хотим подчеркнуть уже не столько методическую условность деления ПЯ на состояния, описываемые ДР и БР, сколько методологический аспект понимания ПЯ не как логического абсолюта, из которого развивается последующее, но как динамической и логически противоречивой системы, в которой развитие не начиналось, а продолжалось. Если так, то развитие можно проследить в обе стороны. Понимание последующего невозможно без выявления всей предшествующей истории. В этом плане определенные резервы для ДР системы глагола представляет изучение межкатегоральных "стыков" — соотносительности древнейших морфологических формантов глагола и прилагательного.

В тюркологии существует убеждение, что прилагательные в тюркских языках произошли путем "дифференциации от существительных" — мнение здесь, можно сказать, единое, разногласия вызывает лишь вопрос, когда осуществляется этот процесс. Если у А.М. Щербак "само существование" прилагательных в тюркском языке "как самостоятельного лексико-грамматического разряда имен вызывает большие сомнения" [Щербак, 1977, 108], то Б.А. Серебренников энергично возражает против такого представления об уровне развития языка в III тысячелетии до н.э. [Серебренников, Гаджиева, 1979, 113]. Многие полагают, что процесс дифференциации не завершен и поныне. Основанием для подобных суждений служат следующие факты из истории и современного состояния тюркских языков: а) вокабуларий любого современного и древнего тюркского языка в большом количестве предоставляет примеры соединения адъективных и субстантивных значений в одной форме слова,

в том числе в форме морфологически непроемчивой типа тат. *таш* 'камень || каменный', кирг. *күч* 'сила', 'сильный'; б) анализ общепатюрского фонда морфологических средств словообразования выявил, что существительные и прилагательные имеют одни и те же аффиксы отглагольного словообразования, которое квалифицируется как нерасчлененное именное, при этом в любом конкретном производном древнего словообразовательного вида практически всегда сосуществуют значения предмета и признака [Севортян, 1966, 9]. К этому следует добавить, что подобные воззрения на первоначальный синкретизм внутри имени своеобразно верифицируются тезисом о грамматическом синкретизме глагола и имени [к истории вопроса см.: Севортян, 1962, 359 и след.; из более новых работ на эту тему см.: Кайдаров, 1986, 144—159; Кажыбеков, 1986]; и если в вопросе о происхождении глагольно-именного синкретизма еще существуют альтернативные предложения [Кононов, 1980, 82], то так называемый синкретизм существительного и прилагательного не подвергается никакому сомнению.

Теория синкретизма тюркского имени (существительного, прилагательного и связанного с этими обеими категориями наречия) и происхождения прилагательных (вместе с качественными наречиями) от существительных получила широкое признание в тюркологии не без авторитетного влияния соответствующих построений индоевропейской компаративистики, восходящих еще к А.А. Потебне и К. Бругману [подробнее см.: Панфилов, 1977, 147—152]. По нашему мнению, эта концепция, по крайней мере в отношении тюркских языков, нуждается в пересмотре. Понятия БР и ДР как вех относительной хронологизации реконструируемых явлений способны диалектически разрешить подобную коллизию: все, что можно условно обозначить как "синкретизм" тюркского "имени", относится, на наш взгляд, к БР и наследовано языками-потомками (согласно теореме I.1); при переходе к ДР обнаруживаются глубинные морфологические связи прилагательного с глаголом, что позволяет по-иному выстроить межатеречные отношения в эпоху более отдаленную, чем ПЯ накануне распада.

Оценивая материал тюркского праязыкового вокабуляра, мы должны со всей определенностью подчеркнуть, что в нем существует значительный фонд слов, категориальный статус которых не может быть определен иначе, как прилагательные, т.е. формы, выражающие прежде всего и главным образом адъективные значения, а субстантивные значения либо совершенно несвойственны таким формам, либо носят явно вторичный характер. В подобном фонде первичных прилагательных комплексный этимологический анализ позволяет выявить несколько разновременных слоев форм.

Один из самых молодых (поздних), но, по всем данным, еще общетюркских слоев сформирован аффиксом *-γ/-g, который имел в разных группах тюркских языков неодинаковую, но строго закономерную фонетическую рефлексацию (различия типа "б"), что позволяет отграничивать межгрупповые заимствования от автохтонного материала: *saryu* 'бледный', 'желтый', *ulu* 'большой, крупный', *qa-*

tyu 'твердый', *quryu* 'сухой', *tirig* 'живой', *ölüg* 'мертвый', *aryu* 'чистый', *jylyu* 'теплый', *yssyu* 'жаркий', *soyyu* 'холодный', *açyu* 'горький-солёный-кислый', *jitig* 'острый', *jadau* 'пеший', *aǰyu* 'плохой'. Морфологический характер этих пратюркских и общетюркских слов не подлежит сомнению, хотя мотивирующая глагольная основа представлена не всегда. Анализ наиболее ясных случаев позволяет установить для показателя *-γ/-g* перфективное значение, форма в целом передавала значение "достигнутого состояния": **qat-* 'густея, засыхая, твердеть' → **qatyu* 'затвердевший в результате засыхания', **ary-* 'очищать(ся) от примесей' → *aryu* 'очищенный', 'выздоровливать ("очищаться от болезнетворных сил")' → 'выздоровевший', *tiril-* 'движениями, подрагиваниями проявлять признаки жизни, оживать', — вероятно, имитативная основа, переосмысленная по моделям глагольной морфологии (пассив на *-l*), откуда в результате гиперкоррекции возникает основа **tiri-*, а от нее **tirig* 'подавший признаки жизни, оживший'. В процессе лексикализации и вхождения в словарь эти бывшие глагольные формы теряли сему перфективности, в результате чего "достигнутое состояние" трансформировалось в "наличное состояние как признак": 'засохший' → 'сухой', 'оживший' → 'живой', 'ставший крупным, достигший больших размеров' → 'большой, крупный' и т.д.

Другой пратюркский слой прилагательных сформировался на базе производства аффикса **-q/-k*: *beDik* 'высокий, большой', *kičik* 'маленький', *uzaq* 'далекий', *jyraq* 'далекий', *jaɣuq* 'близкий (по месту)', *açuq* 'открытый', *aruq* 'худой', *turuq* 'тощий', *soyuq* 'холодный', *yduq* 'священный', *joq* 'отсутствующий', 'нет, не имеется', *toq* 'сытый', *jablaq* 'плохой', *jumšaḡ* 'мягкий', *aDryq* 'отдельный'. Значение афф. *-q/-k* часто приравняется к значению *-γ/-g* как "результативное" [Рамстедт, 1957, 128], однако представляется, что в отличие от результативного *-γ/-g* афф. *-q/-k* имеет, скорее, презентное значение, что можно объяснить его дейктическим характером типа 'тот, который', связав происхождением с частицей **ki* 'который'. Историко-семасиологический анализ, например, производящей основы для *beDik* показывает, что лексическая семантика глагола *beDi-* характеризовалась наличием семы релятивности: 'быть выше/крупнее, чем что-то другое (например, о человеке, горе)'; производное прилагательное невозможно понимать с перфективным значением как "выросший, увеличившийся до определенной величины" — так нельзя сказать о человеке, тем более о горе; внутренняя форма производного должна быть представлена как "являющийся более или менее высоким на фоне других однородных предметов". Иными словами, как в этом, так и в других производных на *-k* необходимо реконструировать семантику "проявления в момент речи наличного состояния": 'далекий' < 'находящийся сейчас далеко', 'открытый' < 'тот, который сейчас (а не вообще) открыт' и т.д.

Рассмотренные прилагательные на *-γ/-g* и *-q/-k* — наиболее представительная группа отглагольных образований; это связано, возможно, с тем, что и по времени своего продуцирования они относятся к более поздним периодам тюркского праязыка: среди произ-

водных этих типов уже попадают трехсложные формы, например **jabylaq*, **jymyša*q, **aDryq*; к числу таких поздних трехсложных образований на -γ, вероятно, можно отнести региональное тюркское, по-видимому огузское, *jaxšy* 'хороший; хорошо' < *jaqyšy*. Допустимо предполагать, что форманты -γ/-g и -q/-k, сформировав в пратюркском серии важнейших общетюркских слов (причем речь идет, как уже сказано выше, не о прямой словопроизводной функции, но о лексикализации и вхождении в словарь первоначально грамматических форм), после распада праязыка еще функционировали в разных частях тюркской языковой области с различной активностью. Так, для -γ/-g можно назвать такие грамматические "амплуа", как имя действия в кыпчакских языках, составная часть древнекарлукских причастий на -γma, -γly, -γčy [Рамстедт, 1957, 125—126], идеально-глагольное употребление в ряде турецких диалектов в качестве аналога формы -mυš, на что указал еще Ж. Дени [Deny, 1921, 406; подробнее см.: Севортян, 1966, 205], и т.д.

Другие морфологические формы более древнего образования оставили в общетюркском словаре гораздо меньше лексем. С помощью афф. -n были образованы: *aDyn* 'другой, иной', *uzyn* 'длинный', *jaqyn* 'близкий', *bütün* 'весь, целый', *joγan* 'толстый' и нек. др.; с помощью афф. -z: *semiz* 'жирный', *jabyz* 'плохой', *jaγyz* 'бурый' и нек. др.; с помощью афф. -l: *jašyl* 'зеленый', *qyzyl* 'красный', *gözäl* 'красивый', *amyl* 'спокойный' и нек. др.; с помощью афф. -r: *aγyr* 'тяжелый', *bar* 'имеющийся, наличный'. Относительная древность перечисленных форм устанавливается не только чисто филологически (например, *aDyn* сохраняется только в древнейших памятниках и современном якутском, заменяясь везде к средним векам другими словами: *aDryq*, *özgä*, *bašqa*), но и по совокупности примет: малочисленность образований, затрудненность мотивирующих отношений с производящей основой, неясность, наконец, значений некоторых аффиксальных морфем. По-видимому, афф. -l не имел отношения к словоизменительным показателям глагола, зато остальные могут быть признаны глагольными: -z и -r перекликаются с древнейшими типами презенса [Кормушин, 1984, 27—36], -n — с древнейшим перфективным показателем предшествующе-соединительного значения [там же, 46].

На основании полученных аналогий можно предположить, что в прилагательных древнейшего общетюркского образования отложилась (в какой-то своей основной части) система глагольно-временных показателей, реконструируемая для начальной стадии темпоральной системы. Если это верно для прилагательных, обладающих морфологическим составом, то можно выдвинуть гипотезу, что внешне аморфные "корневые" прилагательные, не поддающиеся морфологическому членению (*al* 'алый', *ala* 'пестрый', *boz* 'серый', *aq* 'белый' — если это не < **aγa-q*, *ač* 'голодный', *boš* 'пустой', *bai* 'богатый', *jat* 'чужой', *jaγy* 'новый', *qary* 'старый (по возрасту)', *köni* 'ровный; правильный', *deγ* 'равный', *gebe* 'выпуклый; беременная', *genč* 'молодой', *ič* 'внутренний', *taš* 'внешний' и нек. др.), представляют собой нулевые презентные формы глагола, поскольку

такой морфологический тип презенса — без специального форманта — также восстанавливается в числе пратюркских примарных форм настоящего-будущего времени глагола [Кормушин, 1984, 36—39].

Явление предполагаемого протоязыкового тождества форм глагола и прилагательного следует квалифицировать не как глагольно-адъективный синкретизм, но как категориальную филиацию прилагательного от глагола: не существовало в одной форме слова двух категорий — глагола и прилагательного, но на древнейшей стадии не было прилагательных, а функции именного атрибутива выражались глагольно-временными формами, когда они оказывались в сложном синтаксическом построении вне позиции главного сказуемого. Постепенно целые группы таких форм лексикализировались, из окказиональных грамматических образований превратившись в узуальные номинативные единицы.

Указанному превращению способствовали два фактора. Во-первых, темпоральные формы глагола развивались в сторону локализации на временной оси (см. выше), тогда как первичные лексикализующиеся формы сначала сохраняли относительно-хронологический характер, а затем и вовсе утратили временные семы. Во-вторых, происходило изменение синтаксической позиции адъективных слов, которые из постпозиции, характерной для предиката, переходили в препозицию, освобождая правую — предикативную — валентность определяемого имени для связи его с подлинным, главным предикатом предложения. Представляется, что древние памятники спорадически сохраняют нормы древнейшего построения определительных словосочетаний (определяемое имя + прилагательное-определение, а не наоборот, как по общеизвестной тюркской модели AN, на наш взгляд более позднего формирования), когда обобщающие местоименные прилагательные изредка еще ставились в постпозиции: *kiši oyly qor ölgäli törümüš* (KT₃₀) 'все сыны человеческие рождались, чтобы умереть'; *kišilär qamıy* (QB 585) 'все люди'.

Предложенная здесь — по необходимости схематично, без развернутых обоснований — реконструкция пратюркской системы прилагательных является фактически по своим приемам внутренней реконструкцией, поскольку апеллирует к "различиям" (временной характер прилагательных), равно устраненным всеми языками-потомками. Реконструкция пратюркской глагольно-временной системы сочетает приемы обоих типов. Восстанавливая ее вплоть до двучленной оппозиции относительно-хронологических (панхронических) "перфект"—"презенс", мы опираемся на внешние данные — пережиточно сохранившиеся соответствующие черты этих форм (всевременная относительность перфекта, перфектность претерита, поздний характер морфологии настоящего актуального и др.); реконструируя дотемпоральную фазу, мы переходим к приемам внутренней реконструкции, постулируя структуру, не сохраненную ни одним из засвидетельствованных языков. Чем ближе к историческому времени, тем относительно разграничение внутренней и внешней реконструкции; так, данные внутренней реконструкции в сфере прилагательных соответ-

ствуют данным в сфере глагола, полученным еще приемами внешней реконструкции. Однако чем глубже реконструкция уходит в предысторию, тем меньше остается "внешних" данных.

Совокупность частей речи, включающая самостоятельные глагол и прилагательное, относится к конститутивным чертам тюркских языков и согласно теореме I.1 проецируется в ПЯ. Однако на праязыковом уровне разграничение глагола и прилагательного оказывается языковой дивергенцией типа "б" — общая морфологическая основа при различном категориальном содержании; на основании теоремы II.2 это различие устраняется при ДР, почему в остается один глагол (вместо глагола и прилагательного) — черта качественно иной языковой системы, дополняемая такой чертой этого протоглагола, как особое, "дотемпоральное" состояние системы временных показателей. Обе указанные черты ПТЯ устанавливаются, как было показано, исключительно приемами внутренней реконструкции.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ¹

В фундаментальном труде по общему языкознанию Ф. де Соссюр провел различие между "внешними" и "внутренними" элементами языка. Он писал: «Наше определение языка предполагает устранение из понятия "язык" всего того, что чуждо его организму, его системе, — одним словом, всего того, что известно под названием "внешней лингвистики"... Сюда, прежде всего, относится все то, в чем лингвистика соприкасается с этнологией, все связи, которые могут существовать между историей языка и историей расы или цивилизации. Далее следует упомянуть об отношениях, существующих между языком и политической историей. Великие исторические события — вроде римских завоеваний — имели неисчислимы последствия для многих сторон языка. Колонизация, представляющая собой одну из форм завоевания, переносит язык в иную среду, что влечет за собой изменения в нем... Внутренняя политика государства играет не менее важную роль в жизни языков... Высокий уровень культуры благоприятствует развитию некоторых специальных языков (юридический язык, научная терминология и т.д.).

Это приводит нас к третьему пункту: к отношению между языком и такими установлениями, как церковь, школа и т.п., которые в свою очередь тесно связаны с литературным развитием языка, — явление тем более общее, что оно само неотделимо от политической истории. Лингвист должен также рассматри-

© Róna-Tas A., 1988 г.

¹ Раздел переведен с немецкого языка канд. филол. наук. Б.П. Нарумовым.

вать взаимоотношение книжного языка и обиходного языка, ибо развитие всякого литературного языка, продукта культуры, приводит к размежеванию его сферы со сферой естественной, т.е. со сферой разговорного языка.

Наконец, к внешней лингвистике относится и все то, что имеет касательство к географическому распространению языков и к их дроблению на диалекты. Именно в этом пункте особенно парадоксальным кажется различие между внешней лингвистикой и лингвистикой внутренней, поскольку географический фактор тесно связан с существованием языка; и все же в действительности географический фактор не затрагивает внутреннего организма самого языка» [Соссюр, 1977, 59—60]. В приведенной цитате речь идет, собственно, не о "внешней лингвистике", а о том, что Соссюр рассматривал в качестве противоположности "внутренней лингвистике". Его четкое определение гласит: "Язык есть система, которая подчиняется лишь своему собственному порядку" [там же, 61]. Следует отметить, что при рассмотрении теории Соссюра никаких "внешних элементов" языка в ней как таковых не обнаруживается. Его вывод состоит в том, что, как ни важен учет внеязыковой действительности, для понимания сущности языка он совершенно не нужен. "Наконец, внешняя лингвистика — все, что относится к языку, не будучи частью его системы" [там же]. Следовательно, то, что не входит в систему, не играет в ней никакой роли, а то, что входит (например, заимствованные слова), становится частью системы и должно быть осмыслено как таковое, а не в соответствии со своим происхождением.

Эти воззрения Соссюра были абсолютизированы структуралистами; новые направления языкознания, в том числе генеративная, или трансформационная, грамматика, также придерживаются подобного взгляда, хотя и на других основаниях.

Прежде чем перейти к конкретным вопросам реконструкции в связи с экстралингвистическими данными, уместно рассмотреть некоторые проблемы философии языка. Не может быть никакого сомнения в том, что язык — это объективно существующее явление, если под "объективным существованием" мы понимаем существование независимо от нашего сознания. Проще говоря, язык вообще и конкретные языки в частности существуют и существовали такими, какими они есть и были независимо от того, что мы о них знаем. Очевидно также, что мышление и язык взаимно обуславливают друг друга: для человека нет языка без мышления, но нет и мышления без языка. Взаимозависимость между языком и мышлением с исторической (глоттогонической) и функциональной точек зрения ясна, но необходимо также учесть, что, хотя язык и мышление предполагают друг друга, между ними нет отношения жесткой детерминированности. Иными словами, как язык, так и мышление обладают автономией, определяемой их сущностными свойствами. Онтологическое "бытие" мышления невозможно без онтологического "бытия" языка, однако "способ бытия" (Wie-

Sein) мышления не детерминируется языком, а "способ бытия" языка не детерминируется мышлением.

Когда мы подразделяем мир на объективное бытие и субъективное мышление, возникает вопрос, куда же поместить язык. Здесь необходимо внести следующее уточнение. С онтологической точки зрения и внешний мир и мышление объективны (ложное сознание также объективно); с гносеологической точки зрения мышление субъективно, а внешний мир объективен. Но поскольку мы уже установили, что язык по отношению к мышлению обладает автономией, необходимо признать его автономность и в процессе познания. Язык не обуславливает (вопреки мнению Сепира и Уорфа) наше познание внешнего мира. Однако как инструмент познания язык необходим, и посредством языкового членения внешнего мира он составляет особым образом организованный материал для мышления. Критическое мышление испытывает влияние языка, но не является его пленником. В тех языках, в которых нет отдельных слов для обозначения "голубого" и "зеленого", все же можно различать эти два диапазона светового спектра; другой вопрос, делается ли это в процессе ежедневного общения.

Нам необходимо было предварительно остановиться на этих общих проблемах, поскольку невозможно избежать вопроса о том, являются ли мышление и сознание экстралингвистическими фактами. На этот вопрос следует ответить так: являются, но не так, как внешний мир. Именно это не было осознано Соссюром и его последователями. Внешнеязыковые факторы могут быть разделены на две группы: те, которые воздействуют на речевую деятельность через сознание, и те, которые влияют на язык непосредственно. В этом отношении сознание является особой формой бытия. Все, что воспринимается, воздействует, естественно, через сознание. Люди знакомятся с новыми вещами, отношениями и создают для этого новые языковые средства (новые слова, новые значения старых слов, новые обороты, новые синтаксические средства и т.д.).

Объективная действительность может, однако, влиять на язык и непосредственно. Когда какое-либо историческое событие нарушает единство языкового коллектива и часть говорящих переселяется в другое место, теряя контакт с остальными, языки двух разделившихся групп начинают развиваться по-разному, независимо от того, отражаются ли в сознании говорящих изменения в языковой ситуации, и если да, то каким образом. Когда в языковом коллективе политическая и/или культурная роль господствующей группы населения претерпевает существенные изменения и, например, вместо носителей одного диалекта к власти приходят носители другого диалекта, то язык начинает изменяться под непосредственным влиянием новых людей, оказывающих воздействие на литературу и литературную норму, причем это не предполагает активной познавательной деятельности самих говорящих.

Подход Соссюра к языку составил, конечно, целую эпоху в

языкознании, потому что он направил внимание на язык в целом, на его структуру, на взаимозависимость его элементов. Но необходимо помнить, что объективная действительность может вторгаться в систему языка и изменять ее как косвенно (через сознание), так и непосредственно. А если это так, то при реконструкции языковых изменений отвлечение от внешнего мира, от экстралингвистических факторов невозможно.

Теперь рассмотрим несколько конкретных вопросов. Мы исходим из того, что для новых понятий требуются новые слова и, наоборот, если в каком-либо языковом состоянии обнаруживаются новые слова для некоторых понятий, это значит, что эти понятия, как и предметы, с которыми они соотносятся, являются новыми для языкового коллектива. Если в тексте мы обнаруживаем слово *спутник* в значении 'орбитальная космическая станция', можно быть уверенным, что текст относится ко времени после запуска первого спутника. В этом случае у нас имеется надежный *terminus post quem* для датировки появления слова *спутник* в указанном значении.

Необходимо, впрочем, отметить, что новый термин входит в употребление не обязательно только тогда, когда возникает новая внеязыковая данность. Например, в венгерском языке имеются такие слова, как *kar* 'рука', *köldök* 'пупок', *térd* 'колени', *gyomor* 'желудок'. Известно, что эти слова заимствованы из какого-то тюркского языка чувашского типа. Сами реалии, естественно, осознавались венграми и раньше, в этом случае новые слова возникли, конечно, не потому, что появились новые предметы. Но почему же они возникли? Для этого следует изучить факты внеязыковой действительности. Выясняется, что венгры переняли у тюрков высоко развитую систему животноводства, а вместе с ней и термины анатомии животных, употребительные в повседневной практике. Первоначально слова, обозначающие 'рука', 'пупок', 'колени', 'желудок' и т.д., употреблялись как наименования частей тела не человека, а животных в соответствующем контексте и только позднее были перенесены на части тела человека. *Köldök* и *gyomor* и сейчас употребляются в отношении частей тела животного, в то время как *kar* и *térd* относятся только к частям тела человека.

Как известно, в венгерском языке отпали конечные гласные: *arany* 'золото' <угор. **sarana* ← иран. *zaraña*; *egér* 'мышь' <про-тоурал. *šigere* (→ тунг.-маньчж. **šigere*); *had* 'войско, род' <фин.-угор. *kunta*; *hód* 'бобр' <угор. **kuntu* (→ тюрк. *quntu-z*) и т.д. С фонологико-типологической точки зрения этот процесс можно представить следующим образом: 1) словесное ударение перестало падать на последний слог; 2) конечные открытые гласные перешли в закрытые и одновременно редуцировались; 3) конечные редуцированные гласные отпали. В старовенгерских источниках мы застаем еще в ауслaute закрытые гласные; например, в документе 1005 г. — *hodu*, позднее — *hod*, *had*. Хронологические рамки превращения открытых гласных в закрытые мы не можем определить на основе письменных свидетельств, поскольку их нет, но мы знаем, что

заимствования из тюркских языков прошли только через третью фазу развития. Например, тюрк. *alma* 'яблоко', *jarta* 'факел' сохранились в венгерском в виде *alma*, *gyertya* и не приняли участия в изменениях типа *kunta* > *hada* > *hodu* > *hod*² > *hod* > *had*; тюркское слово *qari* 'рука' подверглось этому изменению, превратившись в *kar*¹, а затем в *kar*. Таким образом, начало тюркско-венгерских языковых связей относится к периоду, следующему за первой фазой, но не позднее третьей.

Можем ли мы с помощью экстралингвистических данных более точно определить хронологические рамки третьей фазы? Из арабских источников, повествующих о событиях конца IX в., мы узнаем о существовании у венгров двух важных титулов: *jula* и *künde* (или *kende*). Оба они позднее засвидетельствованы в венгерских грамотах: *jula* сохранилось как *jula* (позднее *d'ula*, орфографически *gyula*), *kende* же перешло в *kend*. Здесь необходимо отметить, что во втором слове отразился процесс отпадения закрытых гласных, но его не коснулся процесс деназализации типа *kunta* > *kunda* > *hod*. Оба титула хорошо известны, и их хазарское происхождение установлено однозначно. Из этого следует, что третья фаза развития венгерского вокализма (а также заимствование тюркских элементов чувашского типа) имела место тогда, когда венгры входили в состав Хазарского государства на территории Южной Руси. Этот период датируется историками более точно, между VII и IX вв. Естественно, что при таком подходе нужно всегда действовать с большой осторожностью и использовать как можно больше независимых друг от друга экстралингвистических данных.

Археологические исследования показывают, что в VI—VII вв. на территории Южной Руси появился новый тип плуга, который был пригоден для вспашки твердой, тяжело поддающейся обработке почвы, что позволило сделать важный шаг вперед в развитии сельского хозяйства. В венгерском языке плуг обозначается словом *eke*, т.е. опять же тюркским заимствованием. Интересно отметить, что, хотя данное слово имеет ясную тюркскую этимологию (*äk* 'сеять' > *äkä*), это наименование плуга известно только у чувашей. На основе археологических данных можно утверждать, что предки венгров и ранее были знакомы с плугом. Но, ознакомившись с новым его типом, они заимствовали также и специальное его обозначение в качестве родового термина. Поскольку конечный гласный в венгерском слове *eke* сохранился, мы можем определить дату отпадения конечных гласных в вышеупомянутой третьей фазе, которая получает поддержку со стороны археологии и находится в полном согласии также и с другими данными.

В чувашском мы находим малоизвестное слово *tuxi* 'гора, холм', являющееся регулярным соответствием тюрк. *toqai* 'гора, покрытая лесом' и т.д. Совсем не случайно, что это слово стало наименованием знаменитого сорта венгерского вина. Наименование сорта вина *tokaj* происходит от названия горы Токай на северо-востоке Венгрии. При освоении территории Венгрии в конце IX в. в западной ее части уже существовала традиция виноделия, идущая от

римских времен. Дунай представлял собой границу, к востоку от которой традиция виноделия отсутствовала, ее принесли туда именно венгры. То, что они называли место, где очень рано начали заниматься виноградарством, тюркским словом, не случайно: это говорит о том, что и сама культура виноделия была тюркской. Старейший слой венгерской винодельческой терминологии — тюркского происхождения (*szőlő* 'виноград', *bor* 'вино', *seprő* 'винный осадок', *csiger* 'сорт вина чигер' и т.д.). И в этих словах обнаруживаются типичные чувашские фонетические признаки (*s* в *szőlő*, тюрк. **yedlig*, *š* в *šepřö*, тюрк. *čepreg* и т.д.). В VII—VIII вв. северная граница виноделия в Южной Руси проходила в районе среднего течения Дона, южнее 50-й параллели. Практически лишь на северном побережье Черного моря мы обнаруживаем более или менее интенсивное занятие виноградарством, потому в этом случае экстралингвистические данные указывают не только на время, но и на место осуществления языковых контактов, что дает возможность точнее реконструировать процесс языковых изменений.

Как известно, тюркские языки распадаются на две главные группы:

Группа А	Группа Б	
* <i>ökuz</i>	* <i>ökür</i>	'бык'
* <i>ikez</i>	* <i>iker</i>	'близнец'
* <i>biz</i>	* <i>bir</i>	'мы'
* <i>bir</i>	* <i>bir</i>	'один'
* <i>bayır</i>	* <i>bayır</i>	'печень'

К группе Б из современных тюркских языков принадлежит один чувашский, к группе А — остальные тюркские языки, язык древнетюркских надписей, различные письменные языки старо- и средне-тюркского периода и все остальные современные тюркские языки. Более ста лет идет спор о том, какая группа "архаичнее", какая группа сохранила более древнее прототюрское языковое состояние. Однако этот спор методологически неправомерен. Очевидно, что группа А сохранила более древнюю фонологическую оппозицию, а в группе Б две старые фонемы слились в одну. Представлять ли прототюркскую оппозицию в виде (z:r) или (r₁:r₂) — это не фонологическая, а в лучшем случае фонетическая проблема, причем фонема /r₁/ могла иметь различные фонетические свойства. Можно представить ее как /r/, /r̥/ или /z/, главное — она отличалась от другой, "нормальной" фонемы /r/.

Спор должен быть разрешен в пользу /z/, но для истории тюркских языков существенна не фонетическая сторона дела, а то, что в группе Б была снята прежняя фонологическая оппозиция.

Настоящая научная проблема заключается в установлении хронологии изменения. Какова древность выделения двух языковых групп? Оно должно было произойти достаточно рано, ранее, чем говорящие группы Б отделились от говорящих группы А. Из исторических источников мы знаем, что значительные переселения тюркских народов происходили в направлении с востока на запад. Мы знаем также, что говорящие группы Б очень рано, по крайней

мере уже в VI в., обнаруживаются на территории Южной Руси. Выделение двух групп поначалу было определено лишь диалектным явлением. Отсюда следует, что слияние /z/ и /r/ первоначально представляло в виде изоглоссы. Позднее, по историческим причинам, говорящие двух групп разделились, и через некоторое время из диалекта Б образовался язык или группа языков Б, которая оставалась при этом в тесном контакте с группой А, причем взаимовлияния поддаются выявлению. С помощью методов внутренней реконструкции мы можем установить некоторую относительную хронологию. По крайней мере мы имеем возможность установить время, когда группа Б уже существовала, однако более точно хронологию этого изменения мы определить не в состоянии. И в этом случае нам помогают экстралингвистические данные. Во всех старых и новых тюркских языках присутствует единое обозначение стремени. Прототипы могут быть реконструированы в виде табл. 1.

Таблица 1

А		Б
1	2	
*üzengi	*izengi	*irengi

Они показывают, что группы А и Б различались относительно оппозиции /z:r/, в то время как А₁ и А₂ различались вокализмом, причем А₂ и Б с точки зрения вокализма объединялись одной изоглоссой. Это положение типично для такого языкового состояния, в котором различия носят диалектный характер и А и Б не выделились еще в качестве самостоятельных языков. Поскольку слово во всех языковых группах и памятниках языка имеет только одно значение 'стремя', вторичное развитие значения исключается.

Хотя среди археологов нет единства мнений относительно точной датировки появления стремени, ясно, что ранее первых веков до нашей эры человечество его еще не знало. Положительные данные о появлении металлического стремени появляются, кажется, не ранее IV в. н.э., однако косвенные данные позволяют сделать вывод, что до появления металлического стремени некоторое время было в употреблении кожаное стремя. Об этом свидетельствуют ранние формы металлического стремени, а также этимологии слов, обозначающих стремя в различных языках. С большой уверенностью можно предположить, что стремя использовалось в III—II вв. до н.э. довольно широко. Для истории языка важен тот факт, что разделение тюркских языков на группу А и группу Б произошло после изобретения и распространения стремени; поэтому мы оказываемся в состоянии с помощью такого внеязыкового факта, как время появления стремени, датировать явления в истории языков. С другой стороны, все данные истории языков, которые свидетельствуют об уже происшедшем разделении на группы А

и Б, дают *terminus ante quem* для датировки явления ротацизма и появления стремени.

Все эти и подобные случаи показывают, что внеязыковая действительность находится в особом отношении к языку. В разобранных примерах мы имели дело с терминологическими, лексическими и фонетическими явлениями в языке, связанными с образованием понятий (действительность → сознание → язык). В сознании должно было возникнуть понятие предмета, а в языке в соответствии с этим понятием — появиться слово.

Прямая связь между действительностью и языком до сих пор недостаточно обоснована. Нередко мы сталкиваемся со сложными случаями. Так, в литературе отмечалось, что тюркские и монгольские языки изменяются относительно медленно. Хотя здесь обобщение было бы преждевременным и точные датировки произвести очень трудно, остается фактом, что языковые памятники VIII в. без больших трудностей могут быть поняты в своей сути большинством говорящих на современных тюркских языках. С другой стороны, несмотря на большие расстояния, разница между отдельными тюркскими языками меньше, чем, скажем, между двумя диалектами сибирских, финно-угорских или самодийских языков. Поскольку язык служит средством общения, само собой разумеется, что условия коммуникации оказывают обратное воздействие на язык. Небольшие изолированные языковые группы сохраняют архаические черты и одновременно развивают новые, только для них характерные, образования. Так обстоит дело в таежной области. Иное наблюдается в степной зоне. С конца бронзового века тюркские и монгольские племена вели кочевой образ жизни. Это значит, что группы постоянно перемещались, соприкасались друг с другом и снова расходились. Постоянная перегруппировка кочевых племен редко происходила на основе языковой или диалектной принадлежности. Люди переходили из одного коллектива в другой по экономическим или иным причинам целыми родами или в одиночку. Это приводило к возникновению своего рода "обратной связи" и тормозило спонтанное развитие инноваций, т.е. действовало как фактор сохранения гомогенности.

Известно, что в некоторых языковых ареалах (например, на Балканах) наблюдаются конвергентные явления. Ареальная конвергенция представляет собой пример прямого влияния историко-географического фактора на язык. Пример кочевых племен говорит о том, что социально-экономические факторы также могут непосредственно влиять на язык. В нашем случае очевидно, что большая степень подобия тюркских и монгольских языков является вторичным явлением конвергентного характера, результатом длившихся несколько тысячелетий взаимных связей, языковых контактов и соответствующего двуязычия. Поэтому использование структурных сходств между тюркскими и монгольскими языками в качестве доказательства генетического родства тюркских и монгольских языков должно быть отклонено. Этим мы не хотим сказать, что типологические и структурные признаки не могут наследо-

ваться генетически, однако одни структурно-типологические сходства без привлечения других данных не могут использоваться для постулирования генетических взаимосвязей. Внеязыковая действительность и реконструкция неотделимы друг от друга, поэтому для реконструкции чрезвычайно важна не только история языков, но и история говорящих на них народов.

ИСТОРИЯ ЯЗЫКА, ПИСЬМЕННОСТИ И ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ

История языка — практически бесконечный поток изменений, в которых переплетаются закономерность и случайность, усложнение и упрощение. Все уровни, все области, функции и явления этого живого организма подвергаются изменениям, одним из общих свойств которых является неравномерность. Некоторые элементы изменяются очень медленно, почти незаметно или кажутся неподвижными, другие же могут приобрести новую форму или функцию как бы на наших глазах. Изменения могут носить кардинальный характер. Так, подчиненные элементы могут превратиться в самостоятельные, подчиняющие или наоборот; или же все "старые" элементы постепенно могут быть замещены "новыми" так, что без свидетельства памятников невозможно отождествить достаточно отдаленные по времени и пространству разновидности того же самого языка (поэтому признание его "одним и тем же" можно принять иногда лишь с оговоркой).

Судить об изменениях в языке лучше всего по письменным памятникам, однако письменности появились относительно недавно. Для выяснения изменений языка в дописьменный период наши возможности так же ограничены, как и в случае реконструкции языков бесписьменных и языков, не имеющих давней письменной традиции. Остатки, пережитки прежних систем, "исключения", датируемые хотя бы относительно каких-нибудь заимствований и т.п., помогают восстановить часть прошлого; сравнительное изучение диалектов данного языка или языков данного исторического либо ареального сообщества и т.п. помогает выяснить основные формы и возможные пути изменения. Однако существенные сведения по истории языков дают все же памятники письменности.

Иногда забывается, что различные системы письма способны неодинаковым образом отражать разные уровни данного языка. Иероглифы и логограммы скрывают звуковой облик морфем или дают о нем лишь опосредованные сведения, однако их семантический объем независим от фонетического облика слова конкретного языка. Ср. слоговую структуру в японском письме кана или в чурчженской системе.

Появление букв дало возможность записать любой ряд фонем данного языка. Однако до создания полного фонетического или фонематического письма существовали и существуют системы, в которых записываются лишь согласные, а гласные (краткие) не обозначаются. Таково, например, еврейское или арабское письмо без диакритических знаков, влияние которого наблюдается, например, в частичном отражении гласных в тюркской рунике; схожее явление прослеживается во многих алфавитах индийского происхождения: гласные непервых слогов обозначаются "несвободными" графемами (знаками, которые самостоятельно не употребляются), а гласный [а] после согласного не обозначается. Некоторые алфавиты для языков "индийского мира" часто называются слоговыми, хотя на самом деле это буквенные алфавиты, знаки которых связываются по правилам слоговой орфографии, например письмо деванагари, тибетское письмо, бирманский алфавит, монгольское квадратное письмо и т.п. Слоговая орфография отражена и в корейском алфавите, которым записывались также монгольские и маньчжурские слова и тексты.

Существуют и смешанные системы письма, в которых наряду с логограммами употребляются слоогограммы (ср. киданьские системы, чжурчжэньское письмо или японскую систему письма) или в которых встречаются и логограммы и буквы, например в некоторых уйгурских текстах юаньского времени, где часто употребляемые понятия пишутся китайскими логограммами — частично пиктографического происхождения, например китайский знак слова *синь* 'сердце, душа' с уйгурским суффиксом *-lwk* читается как *köngül-lüg* 'обладающий чувством'; или в согдийских текстах, где некоторые понятия пишутся на арамейском языке с добавлением согдийских букв, но читаются они целиком по-согдийски, независимо от значения букв "арамейской" части слова (наподобие чтения в современном английском письменном языке латинских сокращений типа *e.g.*).

Письменные системы трех основных типов разделяются по происхождению на системы автохтонные, созданные изначально для нужд определенного языка, и неавтохтонные, заимствованные целиком (например, уйгуро-монгольское письмо) или в переработанном виде (например, уйгурское брахми или монгольское квадратное письмо), в той или иной мере приспособленные к данному языку либо же сохранившие принципы существовавшей системы, но по составу знаков отличающиеся от своего прототипа (например, киданьское "малое письмо", древнетюркская руника, тангутское письмо и т.д.).

Большинство письменностей принадлежит к неавтохтонным системам и сохраняет следы исконной, чуждой воспринявшему языку системы, как это наблюдается в алфавитах семитского происхождения (например, передачи тюркских языков арабской графикой, согдийского — арамейской, древнеуйгурского — согдийской, монгольского — уйгурской, маньчжурского — монгольской или, наоборот, монгольского — маньчжурской и т.п.). Отсюда разные сложности в интерпретации таких передач, при этом нельзя не учитывать

и то немаловажное обстоятельство, что первоначальная система письма, его формы и функции, как и обслуживаемая им языковая система, имеют свою историю изменений, равномерных в одних частях и неравномерных в других. Так, однозначные раньше знаки становятся многозначными, как, например, уйгурская буква "т" в начале монгольских слов, выступающая как *t* и *d*, или китайские иероглифы-логограммы в японской системе с разными японо-китайскими или чисто японскими чтениями и т.д.; некоторые знаки получают новую функцию, как, например, арамейская буква "ламед" в согдийском, затем в уйгурском и т.д., арабская графема "кяф" для тюркских звуков [к] и [г], переднерядных аллофонов смычных фонем /к/ и /г/ и т.д., индийская буква "чх" для бирманской фонемы /сх/ и т.п.; другие знаки теряют свое первоначальное значение и употребляются как "синонимы" тех знаков, с функцией которых совпадает их новое применение, например арабские эмфатические графемы в записи чисто тюркских слов или четырехместные индийские ряды букв ртовых смычных в тайском письме, где для той же самой фонемы употребляются разные графемы с разными супрасегментными значениями, причем целый ряд букв для какуминальных фонем оказывается здесь фонематически излишним и т.п.; создаются новые буквы путем видоизменения существующих, например буква для заднеязычного аллофона фонемы /к/ в монгольском квадратном письме на основе тибетской буквы "кх" и там же некоторые буквы для специальных китайских фонем или тайские буквы для [ф], представляющие собой видоизменения индийских графем, и т.п.

Указанные изменения могут иметь место в любой системе письма, в том числе и в автохтонной, особенно алфавитной. Здесь также действуют законы аналогии и неравномерного изменения. В системе графических знаков, вначале параллельной системе знаков языковых, появляются непараллельные элементы, форма и функция значительно отходит друг от друга. Письменный язык может долго сохранять в области фонетики, грамматики и лексики давно устаревшие, "книжные" или просто исчезнувшие в живом языке формы и даже псевдоархаизмы, ср., например, судьбу разных согдийских форм санскритского слова *bodhisattva* в древнеуйгурском, впоследствии в монгольском XVII в.; глагольная форма *bui* 'есть' письменного-монгольского языка живет в современном халхаском в форме *бий* рядом с книжной неправильно восстановленной формой *буй*; несоответствие живого произношения и старой орфографии привело к неправильному фонетическому и морфологическому толкованию письменного-монгольского глагольного суффикса -*žiyui* (и его вариантов), который читается по книжным традициям -*žiyui*, хотя живая, современная форма -*жээ* // -*чээ* явно свидетельствует о звонкости интервокального согласного.

Графемы, имевшие прежде всего фонематическое значение, могут превратиться в орфографические варианты или знаки супрасегментных явлений; например, семитские графемы "каф", "гайн" и "кяф", которые передают в уйгурском, и монгольском велярные и

палатальные аллофоны фонем /к/ и /г/, одновременно обозначают задне- или переднерядность последующего фактически двузначного "алефа"; индийская графема "висарга" обозначает одну из тоном бирманского; ср. также китайские логограммы в фонетической функции в транскрипции иноязычных или диалектных слов. В письменном языке, созданном на основе определенного диалекта, при использовании его в качестве наддиалектного языка могут появиться формы из других диалектов; с усилением влияния того или иного диалекта формируются диалектные письменные языки или письменные диалекты, как, например, "книжный" язык ойратского Зая-пандиты в его "ясном письме" (этот язык превратился позднее в новый письменный язык западных монголов и калмыков), или язык монгольской Гесериады в киелографе 1716 г., или язык хори-бурятских хроник монгольским письмом, или неогузский язык легенды об Огуз-Канане уйгурским письмом, или диалектные разновидности тибетского письменного языка, в которых диалектные либо разговорные формы пишутся по аналогии с "классическими" формами-омонимами, а "классические" формы нередко пишутся на основе народного произношения и т.п.

В логографических системах изменяется главным образом форма подграфемных графических элементов; функциональные изменения редко получают непосредственное отражение на письме (хотя существуют, например, разные китайские логограммы для разных, более или менее отдаленных, значений той же самой морфемы), однако появление новых знаков и видоизменения уже существовавших, избыточность на основе исторических, местных, частично факультативных аллографов, полисемия, омография и т.п. опосредованно свидетельствуют о некоторых изменениях в языке, в том числе синтаксических. Большая избыточность силлабограмм может свидетельствовать о значительном упрощении состава фонем или типов возможных слогов, ср., например, в чжурчжэньском письменном языке Минской эпохи, в котором совпадение значения многих силлабограмм привело к ложной синонимии. Важную роль, особенно в алфавитных письменностях, играют разные орфографические школы, более или менее устойчивые каноны которых регулируют соразмерности письменного и живого слова.

Изменение языка, в случае если расхождения живых и письменных форм растут без нарушения параллельности этих двух множеств, остается обычно скрытым не только в логографических, но и в фонетических системах. Поэтому нетрадиционные записи имеют особое значение для выяснения фонетической стороны знаков письменного языка с длительной историей и устойчивыми традициями (например, реального звучания тюркских слов в семитской графике или тибетских диалектных форм разного времени в тибетском письменном). В этом плане важно как происхождение записывающей системы, так и степень систематичности самих записей.

О древнем состоянии многих языков в период до появления собственной письменности свидетельствуют чаще всего спорадиче-

ские записи или даже отдельные глоссы в письменных памятниках иных языков. Таковы, например, хорошо известные табгачские глоссы в китайской записи (IV—VI вв.), которые для языков алтайского сообщества важны тем, что относятся к числу их древнейших письменных фиксаций. Толкование указанных глосс сходно с работой над равенством, обе части которого — китайское и табгачское звучания — неизвестны (известны неполностью), т.е. тождество частей приблизительно. Реальное китайское звучание не обязательно соответствовало нормам старокитайского диалекта начала VII в., а только из этих, известных сейчас науке, нормативных чтений мы можем исходить; имевшиеся в наличии китайские слоги далеко не всегда подходили к звучанию частей табгачских слов, которые они передавали. Так, табгачское слово **pürtükčīn* или **pörtükčīn* реконструируется на основе китайской транскрипции [p'juət-t'uk-t'šien] (совр. *фу-чжу-чжэнь*) с китайским толкованием 'мелкий чиновник почтовой службы' и слово из письменно-монгольского языка *örtögečīn* (совр. халх. *өртөөчин*) 'уртонец, служащий почтовой службы'. Соответствие семантики древнего и современного монгольского слов безупречно, объяснение особенностей китайской фонетической передачи удовлетворительно. Известным препятствием для подобного отождествления служит то обстоятельство, что данное слово не встречается в среднемонгольских памятниках ни в уйгурской, ни в другой графике (в арабской, квадратной и китайской графике оно должно было иметь форму с начальным *h*: **hörtö'ečīn* или **hörtöčīn*) и не обнаружено в архаичных монгольских диалектах и языках или в маньчжурском, где др.-монг. *p-* сохраняется обычно в виде *f-*, или в заимствованиях из среднемонгольского с начальным *h*. Иными словами, у нас отсутствуют промежуточные формы с *h-*, подтверждающие связь табгачского **pürtükčīn* с начальным *p* с формами вокалического анлаута. Попытка толковать данную глоссу как **bitigüčīn* 'писец, писарь' на тюрко-монгольской основе фонетически невозможна, семантически маловероятна, к тому же табгачское слово **bitekčīn* 'канцелярский сановник' сохранилось в другой китайской глоссе. Табгачские слова в китайской записи, которые обозначают собственные имена с неясной внутренней формой, остаются нерасшифрованными, так же как и глоссы в тех случаях, когда одна из частей равенства неизвестна нам или известна весьма приблизительно.

В той же степени, что и для спорадических записей, для толкования систематических записей необходима работа над обеими частями указанного приблизительного равенства: анализ фонетических систем фиксирующего и фиксируемого языков (диалектов) по всем доступным данным, учет семантики слова по данным записи и по всем другим источникам, сопоставление системы записывающего письма (состав и сочетаемость знаков, их возможные функции, орфография) и фонетических структур записываемого языка. Известно, что при передаче звуков одного языка знаками другого чуждый записывающей системе звук либо опускается, либо заменяется:

замена бывает полная или частичная, одно- или множественная. Чуждый звук воспринимается обычно не целиком, а как совокупность элементов, наиболее заметный, воспринимаемый из которых берется в качестве представителя целого, при этом, если возможны несколько вариантов замены, встречаются колебания, например в древнеуйгурском слове китайского происхождения *tsuj* и *si* 'грех' чуждая для уйгурского языка китайская аффриката передается либо двумя уйгурскими фонемами (полная двухместная замена), либо одной уйгурской фонемой, соответствующей щелевой финали китайской фонемы (частичная одноместная замена); в живом языке употреблялась, видимо, эта вторая форма, так как первая была несвойственна уйгурской фонетике. Понятно, что частичная замена одновременно означает и частичное опущение. Та же китайская аффриката в двусложном слове *diei-tsi* 'ученик' при заимствовании в уйгурском языке разделяется на два элемента (воспринимается как два согласных), вот почему, попадая далее в монгольский, это слово превращается в *tid-si*.

Систематические записи письмом иноязычного происхождения, естественно, дают больше для преодоления приблизительного характера равенства, о котором идет речь. В известных случаях эффективность записывающей системы значительно увеличивается с помощью знакосочетаний или дополнительных диакритических знаков. Ср., например, в этом плане довольно точную китайскую транскрипцию среднемонгольских текстов: с ее помощью достаточно адекватно передаются согласные, однако передача гласных, особенно огубленных переднерядных, ограничена комбинаторными возможностями китайской системы, поскольку в ней были все необходимые для монгольского переднерядные фонемы, но их сочетаемость с согласными в значительной мере отличалась от монгольской. Кстати, эта "внешняя" транскрипция в некоторых отношениях точнее, чем "внутренняя" запись уйгуро-монгольским письмом.

При относительном обилии текстов — для тюркских языков с VIII в., для монгольских с XIII в. (если не принимать во внимание не дешифрованные пока киданьские памятники) — легче проследить изменения в лексике и синтаксисе, хотя и в этих областях может сказаться устойчивость книжных традиций. Оценку неравнозначности языковых данных осложняют такие факторы, как наличие форм, характерных только для письменных источников, соседство традиционных и случайных элементов, влияние языка оригинала и т.п. Например, в недешифрованных киданьских надписях (киданьским письмом) синтаксис письменных знаков достаточно хорошо совпадает с контуром синтаксиса "алтайского" типа, однако детали еще недостаточно ясны. Монгольская версия четырехязычного ксилографического издания "Маньджушри-нама-самгити" конца XVI в., по всей очевидности, отражает лексику и синтаксис китайского перевода с тибетского и уйгурского, изменена лишь орфография.

Существуют и такие памятники, в которых отдельные слова или целые тексты прошли сквозь сито последовательных передач

с помощью нескольких систем. Каждая такая система двусторонняя (язык и письмо), и каждая составная двойной системы может иметь свои особые свойства, обладать разными качествами проницаемости. Так, в словниках разных языков в книге Н. Витсена "Северная и Восточная Тартария..." калмыцкие, крымские и слова других языков пишутся в голландской орфографии XVII в. и чаще всего на основе вторичных — русских — записей, в том числе дословных переводов с русского на тот или иной "тартарский" язык, отсюда множество ошибок и грамматических неправильностей. Записи Витсена не могут быть привлечены для изучения синтаксиса, а используя их как материал по фонетике, мы должны принимать во внимание потенциальные возможности двойного посредства: скажем, переднерядные огубленные гласные калмыцкого языка не могли без изменений пройти через сито двойной русско-голландской передачи, поэтому отсутствие таких гласных в записях не говорит о том, что их еще не было вообще или что они были не такими же, как в современном языке Калмыкии.

Все вопросы сравнительно-исторической грамматики нельзя решить на основе только письменных источников. Вместе с тем, если существуют памятники, нельзя не использовать их свидетельства, однако нельзя и злоупотреблять ими, толковать их односторонне, так же как нельзя делать выводы в отношении исторической грамматики на основе слишком узкого или только современного материала, материала одного языка/диалекта без тщательной оценки всех доступных сведений по языку.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ИССЛЕДОВАНИИ ИСТОРИИ КЕЛЬТСКИХ ЯЗЫКОВ

"Aber den einzelnen Sprachen in den Vielgestaltigkeit ihrer Eigenheiten und Beziehungen kann sie (d.h., die Sprachwissenschaft) nur in Verbindung mit philologischer Arbeit gerecht werden".

*J. Wackernagel**

В исследованиях по компаративистике и истории языка крайне важны тексты, памятники языка в более или менее надежной и достоверной записи (т.е. в такой графике, которая относительно адекватно отражала бы состояние языка на данном этапе его развития), а также точная датировка и локализация текста. Однако весь этот комплекс требований к письменным памятникам языка

*"Но отдать должно каждому отдельному языку, со всем многообразием его особенностей и связей, она (т.е. лингвистика) способна лишь в сочетании с филологической обработкой" (*Wackernagel J. Kleine Schriften. Göttingen, 1969. Bd. I. S. 127*).

зачастую остается лишь идеалом, и поэтому приходится довольствоваться приблизительными данными. Во всяком случае, для лингвиста-диахрониста обычно достаточна относительно точная хронологическая привязка письменного памятника. В дальнейшем изложении речь будет идти о языках с многовековой письменной традицией, поскольку языки со столь же или более длительной устной традицией — типа ведийского санскрита — представляют собой не правило, а редчайшее исключение. Однако и сам характер письменной традиции каждого конкретного языка может очень сильно варьироваться.

Известна, например, высокая степень надежности эпиграфической традиции: как правило, текст, однажды зафиксированный на камне или металле, в дальнейшем не подвергается изменениям и остается достоверным памятником языка той эпохи, когда он был впервые записан (хотя, естественно, и в данном случае отмечаются исключения). Более сложна ситуация в случае, когда языки имеют длительную рукописную традицию, а роль эпиграфических текстов невелика или же они вообще отсутствуют. Существует также значительная разница между теми традициями, в которых какой-то из этапов развития языка был признан нормативным (например, латинский, классический санскрит) и все последующие тексты были составлены в соответствии (с незначительными отклонениями) с данной нормой, и традициями, где ни один из таких этапов не получил признания в качестве образцового. Напротив, при переписывании старых текстов в таких традициях главенствующим становится критерий "понятности" и "правильности" — с точки зрения переписчика. Точное воспроизведение оригинала при таком переписывании становится не правилом, а исключением. Однако столь же редко в такой письменной традиции встречается и "полный перевод" старого текста на "новый" язык писца, так как множество старых слов и форм остается более или менее "понятным". Отсюда — неполная и непоследовательная модернизация оригинала, которая в дальнейшем — на следующих этапах рукописной традиции — приводит к непониманию текста, ошибочным "исправлениям" и к беспорядочному и анахронистическому смешению форм, относящихся к различным временным этапам эволюции языка. Именно такова ситуация, наблюдаемая в рукописной традиции ирландского и валлийского языков, которая и будет предметом дальнейшего рассмотрения. Статус памятников остальных островных кельтских языков, ввиду их малого количества, краткости рукописной традиции и т.п., значительно яснее и в особых комментариях не нуждается.

I

Тексты на ирландском языке впервые стали записываться латинским письмом, по-видимому, со второй половины VI в. и переписывались в рукописях до середины XIX в. Последний представитель одной из семей профессиональных переписчиков рукописей Джозеф О'Лонган умер в 1880 г. На протяжении этих 13 ве-

ков изменение строя ирландского языка сопоставимо с лингвистической дистанцией между народной латынью и современным французским языком. В рукописях до нашего времени дошли тексты, составленные на всех этапах этого периода. В настоящее время известно около 2000 рукописей, но не исключена возможность некоторого увеличения этой цифры в дальнейшем. Большинство рукописей, как пергаментных, так и бумажных (с XVI в.), очень велико по объему и, как правило, содержит десятки текстов, оригиналы которых были впервые записаны в самое разное время. Обычны случаи, когда непосредственно за текстом, составленным в VII в., следует текст XV в. и т.д. По общему объему литература на ирландском языке уступает в Европе лишь греческой и латинской (не учитывая, естественно, литератур нового времени). Совершенно очевидно, что все эти тексты представляют собой ценнейший материал как для истории собственно ирландского языка, так и для сравнительно-исторического изучения кельтских языков, а также для индоевропеистики в широком смысле слова. Но характер ирландской рукописной традиции таков, что использование всего этого материала без предварительной филологической обработки может лишь принести (и уже принесло) значительный вред как кельтологии, так и индоевропеистике.

Латинская письменность на валлийском языке также, судя по всему, восходит к VI в., а рукописная традиция (несмотря на активное развитие книгопечатания с XVI в.) заканчивается лишь в XVIII в. В Уэльсе, однако, число дошедших до нас рукописей значительно меньше — несколько сотен, и подавляющее большинство из них относится к XIII—XVII вв., хотя все принципиальные проблемы имеют тот же характер, что и в ирландской традиции.

Основная трудность при лингвистической интерпретации памятников этих языков состоит в том, что в подавляющем большинстве случаев мы имеем дело не с оригиналами текстов, а с их копиями с неизвестным числом промежуточных экземпляров. Учитывая "творческий" характер деятельности переписчиков, их неудержимое стремление модернизировать или "исправить" старый текст (обратная сторона медали — архаизировать или псевдоархаизировать свой собственный текст), становится ясным, насколько тщательной проверки требует каждый языковой факт, извлеченный из того или иного текста. Описками, ghostwords, ложноаналогическими формами, индивидуальными "изобретениями" писцов — всем тем, что Р. Турнейзен называл "Unformen und Undingen" ("уродство и бессмыслица"), буквально кишат некоторые тексты, особенно в среднеирландский период.

Более позднее время характеризуется крайней непоследовательностью орфографии, часто производящей впечатление хаотической, крайне затрудняющей определение звуковой реальности, скрывающейся под этой графикой. Иногда становится невозможным даже определить, какое именно слово или словоформу имел в виду писец. В результате такой "обработки" нередки случаи, когда в

одном предложении, например, в тексте, составленном в VIII в., соседствуют грамматические формы VIII, XI и XVI вв., к тому же записанные причудливой орфографией. Некоторое представление об этом может дать следующий гипотетический, но иллюстрирующий вышесказанное пример из известного памятника латинского языка, в случае если бы он дошел до нас в рукописной традиции, следующей принципам ирландской: *Illa Gaulie estour omnia divisatae en troies partes, de quarum une encauoulont Belgaes*. Примерно такую форму могла бы приобрести под пером французского писца XV в. фраза Ю. Цезаря, если бы для него латынь оставалась "своим живым" языком, который лишь нуждается в некоторой модернизации и "правке". Но даже если из всей массы римской литературы в современной и точной записи сохранился бы лишь небольшой и ограниченный корпус текстов, например, стихотворений Катуллы, то с помощью филолого-лингвистической критики текста было бы возможно почти точно реконструировать подлинную фразу Цезаря: *Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae* 'Вся Галлия разделена на три части, одну из которых населяют белги'.

Наибольшую ценность для компаративистики, очевидно, имеют тексты, относящиеся к архаическому и древнеирландскому (600—950), а также к архаическому и древневаллийскому (600—1150) периодам. В дальнейшем мы будем затрагивать лишь те тексты, филологическая критика и лингвистический анализ которых позволят отнести их составление к этой или еще более ранней эпохе. Тексты, оригиналы которых восходят к среднеирландскому (950—1200) и средневаллийскому (1150—1350) периодам, ставят перед исследователями практически идентичные проблемы, однако, в дополнение к ним, имеют и свои специфические особенности.

В самой Ирландии сохранилась только одна рукопись, "Liber Ardmachanus" ("Книга из Арма"), датируемая древнеирландским периодом и содержащая краткие ирландские тексты. Много рукописей было уничтожено во время набегов викингов (IX—X вв.), остальные были утеряны или погибли в позднейшее время. Наиболее ранние рукописи, содержащие обширные тексты, относятся к XII в.: "Lebog na h-Uidri" (в основном закончена к 1106 г. с интерполяциями конца XII — начала XIII в.), "Rawlinson B 502" (до 1125 г.) и "Lebog Laignech" ("Лейнстерская книга") (до 1161 г. с интерполяциями до 1193 г.). Остальные рукописи датируются концом XIV — началом XIX в.

Как уже отмечалось, большинство рукописей очень велико по объему и включает самые разнообразные памятники, многие из которых, несомненно, восходят к гораздо более раннему периоду; лишь очень немногие относятся ко времени написания рукописи и могут рассматриваться как надежные памятники языка своей эпохи. Однако в нашем распоряжении имеется относительно небольшой корпус текстов, созданных в древнеирландский период и сохранившихся в современных им рукописях. Речь идет о глоссах к латинским текстам Нового завета, грамматическим и астрономи-

ческим трактатам и т.п., сохранившимся в странах Западной Европы (Франция, Германия, Италия) в рукописях VIII—X вв. В данном случае глоссы представляют собой не только переводы отдельных латинских слов и предложений, но и довольно обширные комментарии глоссаторов, которые позволяют дать подробное описание всех уровней языковой системы. Именно на этом материале основывается фундаментальная "Грамматика древнеирландского языка" Р. Турнейзена [Thurneysen, 1946]. С другой стороны, однако, отмечается языковая "неполноценность" этих памятников: ограниченность и специфичность лексики, изобилие латинских заимствований и калек, а также неологизмов *ad hoc*, сильная зависимость от латинского оригинала в сфере синтаксиса вплоть до абсолютного копирования порядка слов, нарушающего древнеирландские нормы. Древневаллийские памятники еще более ограничены: подавляющее большинство глосс представляет собой переводы отдельных латинских слов, а связные тексты крайне невелики по объему.

Таким образом, представляется необходимым выявление памятников, относящихся к местной традиции, прозаических и стихотворных, оригиналы которых можно было бы датировать эпохой 600—900 гг., а в некоторых случаях и более ранней. Как уже отмечалось, в очень редких случаях тексты переписывались без существенных изменений. Один из таких случаев — отрывок из рассказа о нескольких древнеирландских святых, который был переписан в рукописи "Stowe CI2" (XV в.) с большой точностью с оригинала не позднее 750 г.; характерно замечание писца этого текста: *is catad in scel bec he* 'Труден этот маленький рассказ'.

При реконструкции оригинала возможны различные процедуры, в зависимости от того, сохранился ли текст в нескольких рукописях (вариантах) или лишь в одной. В последнем случае анализ основывается на наших знаниях об истории языка, его орфографии, фонетике, морфологии и т.д. В особом положении находятся стихотворные тексты: здесь на помощь приходят метрика, характер рифмы, аллитерация [Калыгин, 1986]. Прозаические тексты представляют наибольшие трудности, однако комбинированное использование чисто лингвистических и филологических методов дает возможность более или менее надежной датировки и сравнения с дошедшими до нас оригинальными памятниками соответствующего времени. Так, В. Халлом в свое время был опубликован текст краткой саги "Недуг уладов", сохранившийся в единственной рукописи "Harleian 5280" (сер. XVI в.) [Hull, 1964, 305—314]. Мнения ранних исследователей о датировке оригинала расходились: Р. Турнейзен вообще отказался от попыток датировать его [там же, 305], Л. Гуинн относил его к XIII—XIV вв. на том основании, что в тексте фигурируют Кухулин и персонажи мифологического цикла [там же, 306]. Однако на том же основании Дж. Мёрфи определил время создания этой саги — X—XI вв. [там же]. Привлекая чисто лингвистические критерии (сохранение древнеирландской формы артикля *isind*, числительное жен. рода *dí* 'две' и нек. др.), В. Халл отнес оригинал текста к 900—950 гг. В данном тексте обнаружи-

ваются такие формы, которые не могут быть отнесены на счет чудовищной орфографии писца и должны рассматриваться как реликты форм оригинала: удвоенное *-nn-* в сочетании предлога с местоимением в *inn-a* 'в его', предлог *di, de* 'из' вм. *do* (обычная форма после 800 г.). Но наиболее веским аргументом в пользу датировки оригинала временем не позже середины VIII в. является именно искаженное написание формы вин. падежа ед. числа *eeich* 'лосося', которое, учитывая особенности данного писца, основывается на архаической двусложной форме *iich*, а не на обычной (с конца VIII в.) односложной *ich*. Несмотря на все промежуточные этапы переписывания текста, даже одна архаическая форма, которая не могла возникнуть случайно под пером писца, позволяет относительно точно определить время его создания. В данном случае речь шла об очень кратком тексте: естественно, чем больше объем текста, тем больше шансов сохранения в нем первоначальных форм. Однако наличие текста лишь в одной рукописи существенно затрудняет его интерпретацию и соответственно использование его в качестве языкового памятника. Так, известная поэма "The May-day" ("Майский день") из рукописи "Laud 610" (1453) дошла до нас в очень искаженном виде, частично модернизированном, с неверным словоделением. К. Мейер относил ее к X в., Мёрфи — к IX в., а Дж. Карни датирует ее временем не позднее начала VII в. [Carney, 1971].

Каждый из исследователей предлагает свою метрическую схему, свою реконструкцию оригинала, а их переводы очень сильно различаются между собой. Ввиду отсутствия других версий текста реконструкция оригинала вряд ли возможна, но некоторые основания для установления *terminus post quem* non здесь имеются. Так, наличие формы прилагательного *már* 'великий', рифмующегося с *clár* 'дощечка', не позволяет датировать поэму позже IX в., когда эта форма вытесняется формой *mór*; если же в группе *serbimme cerb* действительно выделяется относительная форма глагола *imm-e-cerb* 'которая срезала', то оригинал восходит к периоду не позже начала VIII в. Многие, конечно, зависят от степени сохранности текста. Сага "Aislinge Oéngusso" ("Видение Оэнгуса"), дошедшая до нас только в рукописи "Egerton 1782" (1517), несмотря на сильно искаженную орфографию, сохранила столь большое число морфологических и синтаксических черт оригинала первой половины VIII в., что реконструкция его, предложенная Ф. Шоу [Shaw, 1934] (с поправками Турнейзена), сомнений практически не вызывает. Но в большинстве случаев в текстах, сохранившихся в одной рукописи, искажение и модернизация зашли настолько далеко, что, хотя и возможно определить дату оригинала, множество морфологических форм и синтаксических конструкций не является достоверным фактом языка эпохи оригинала и должно всякий раз подвергаться индивидуальному рассмотрению.

Образцовым примером комплексного подхода к определению даты памятника является исследование И. Уильямсом поэмы "Armes Prydein" ("Пророчество Британии"), сохранившейся в рукописи "Book

of Taliessin" ("Книга Талиесина", ок. 1300 г.). Поэтический характер текста значительно облегчает реконструкцию его оригинала, однако скудость данных оригинальных древневаллийских текстов не позволяет сколько-нибудь точно определить время ее создания на основании чисто лингвистических критериев. Кроме того, наличие многочисленных поэтических архаизмов, столь характерных для традиционной кельтской поэзии, вносило еще большую неясность в вопрос ее хронологии. В тексте поэмы упоминаются викинги, осевшие в Дублине, следовательно, она создана не ранее 900 г. Единственным врагом валлийцев в поэме выступают англосаксы; если бы поэма была создана после 1066 г., в ней должны бы были упоминаться норманны. Однако политическая ситуация в Британии, нашедшая свое отражение в поэме, позволила Уильямсу уточнить хронологические рамки: автор текста призывает валлийцев, скандинавов, ирландцев и другие народы изгнать англосаксонских сборщиков налогов, а затем и всех англосаксов вообще из Британии и предрекает союзникам полную победу над ними. Сопоставление содержания текста с фактами политической истории: обложение Уэльса налогами в 927 г. во время правления короля Ательстана и разгром этим же королем в 937 г. в битве при Бруннбурге коалиции княжеств Северного Уэльса и викингов, после чего данная поэма вряд ли могла быть создана, — дало Уильямсу полное основание датировать этот памятник 930—935 гг. Таким образом, в распоряжении лингвистов оказывается точно датированный текст большого объема, значение которого для истории валлийского языка, а вместе с тем для прогресса сравнительной кельтологии трудно переоценить.

Еще большее значение имела впервые обоснованная И. Уильямсом, а позднее существенно уточненная и развитая К. Джексоном датировка поэмы Анейрина "Gododdin" ("Гододдин") и 12 поэм "исторического" (в отличие от "сказочного") барда Талиесина концом VI — началом VII в. Определение времени создания по крайней мере основного ядра этих памятников, также сохранившихся лишь в одной рукописи, было осуществлено с помощью данных как истории языка, так и политической истории, палеографии, истории литературы и даже географии.

2

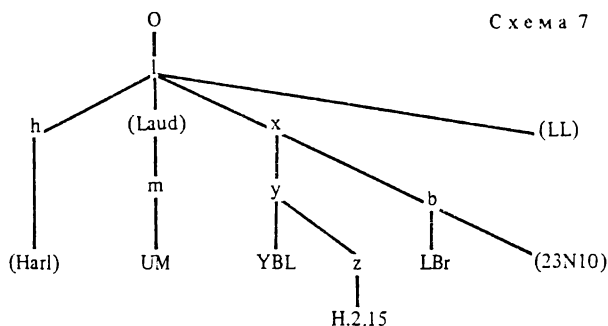
В ирландской традиции большое число памятников сохранилось в двух или более рукописях, в различных редакциях, версиях и вариантах. В валлийской традиции число их меньше, но также весьма значительно. В этом случае вполне обоснованной процедурой является реконструкция архетипа (или протографа) наличествующих рукописей, процедура, давно разработанная в классической филологии и особенно широко известная по работам К. Лахманна и его школы: определение датировки рукописей средствами палеографии и исторических дисциплин, распределение рукописей по семьям (редакциям, версиям) и построение вероятной стеммы,

определение рукописей, имеющих наибольшее значение для реконструкции архетипа, и т.п.

Впервые возможность и необходимость приложения методов, разработанных в классической филологии, к ирландской рукописной традиции были осознаны и показаны в статье Р. Турнейзена "О словаре Кормака" [Thurneysen, 1914, 8—37]. Представляется полезным рассмотреть данную работу более детально, поскольку она во многих отношениях до сих пор остается непревзойденной, несмотря на очевидный прогресс кельтологии. Жизнь и деятельность, даже подробности гибели Кормака, епископа Кашеля и короля Мунстера, одного из наиболее знаменитых ученых средневековой Ирландии, нам хорошо известны из анналов, хроник и других документов. Он погиб в 908 г., а написание им "Словаря" можно отнести к 890—900 гг., т.е. этим же временем можно датировать рукописный оригинал данного текста. До нашего времени текст, полностью или в значительных фрагментах, сохранился в восьми рукописях: 1) *Yellow Book of Lecan* (ок. 1398 г.); 2) "*Book of Uí Máine*" (ок. 1380 г.); 3) "*Leabhar Breac*" (ок. 1410 г.); 4) два варианта в H.2.15 (ок. 1650 г.) — полностью; 5) "*Lebor Laignech*" (ок. 1150 г.); 6) "*Laud 610*" (1453 г.); 7) "*Harleian 5280*" (1440 г.); 8) 23 N 10 (1575) — обширные фрагменты. Тщательное сличение рукописей и анализ содержащегося в них текста показали, что сравнительная важность и достоверность каждого из представителей рукописной традиции не зависят от времени написания данной рукописи. Судя по данным орфографии и языка, текст рукописи "*Laud 610*" списан писцом в 1453 г. если не с самого оригинала Кормака, то с его непосредственной копии, восходящей ко времени не позже X в.

Текст самой ранней рукописи LL (до 1160 г.) определенно не списан непосредственно с оригинала 900 г. В полный текст рукописи YBL (ок. 1398 г.) писцом или его предшественниками внесено множество интерполяций, которых не могло быть в оригинале. Писец рукописи LBg (ок. 1410 г.) сохранил исконное число и порядок статей, но очень "творчески" подошел к своему труду: сильно модернизировал язык, к старым толкованиям прибавил собственные (в основном абсурдные), заменил целые предложения оригинала и т.д. Р. Турнейзен дал также реконструкцию текста двух статей, но не на уровне оригинала Кормака, а на уровне гипотетической копии X в., к которой теоретически возводимы все реально имеющиеся тексты. Предложенная им филиация рукописей (стемма) представлена на схеме 7.

Р. Турнейзену удалось показать, что даже наиболее близкие к оригиналу *Laud* и *LL* имеют общие ошибки, которых не могло быть в оригинале, и поэтому необходимо предположить по крайней мере одну промежуточную копию (в данном случае она обозначена буквой *l*), переписчик которой и допустил эти ошибки. Естественно, что предлагаемая схема сильно упрощает реальную филиацию документов: у нас, например, не может быть гарантии, что рукопись *Harl* отделена от оригинала лишь двумя копиями *l* и *h*; между *O* (X в.) и *Harl* (1440) таких промежуточных копий могло быть несколько. Но основные линии соотношений, связывающие между собой дошедшие до нас версии



Примечание. Реально сохранившиеся рукописи традиционно обозначаются прописными буквами; теоретически постулируемые промежуточные рукописи, до нас не дошедшие, — строчными. Оригинал Кормака обозначен O; рукописи, по разным причинам сохранившие текст в неполном виде, заключены в скобки.

несохранившегося оригинала, сомнений вызвать не могут. Заслуживает внимания вывод, определяющий методы реконструкции оригинального текста Кормака, к которому приходит Р. Турнейзен. Состав и порядок статей "Словаря" надо ориентировать на рукопись LBr, а реальный текст — на сохранившуюся часть Laud. Далее, там, где Laud не дает опоры, необходимо следовать за UM; последняя, однако, изобилует ошибками и пропусками писца, которые поддаются исправлению по YBL (+H.2.15), по LBr, а для последних статей — по сохранившемуся фрагменту в LL. Тем самым мы приходим к реконструкции какого-то общего архетипа (или протографа, в иной терминологии), относящегося к X или XI в. Реконструкция оригинала, исходя из копии I, возможна с помощью лингвистической текстологии, т.е., используя факты исторической грамматики ирландского языка и зная состояние языка второй половины IX в., мы с большой степенью вероятности можем представить себе текст оригинала, хотя, естественно, не все детали такой реконструкции могут быть обоснованы с одинаковой степенью достоверности.

В данном случае исследователи находятся в крайне выгодной ситуации, поскольку точно известна дата создания текста и имеется несколько сохранившихся его версий, некоторые из них еще близки к оригиналу. В подавляющем большинстве случаев, напротив, сохранившиеся версии прошли многочисленные промежуточные стадии, а датировка оригинала является искомой величиной. Кроме того, необходимо обратить внимание на последний этап процедуры реконструкции: переход от текста архетипа к тексту оригинала. Обычно невозможно установить дистанцию между ними, как невозможно определить количество промежуточных этапов. Если при обычной процедуре классической филологии такой архетип часто практически совпадает с оригиналом, поскольку речь идет о языках с фиксированной нормой (латинский, классический древнегреческий), то чисто филологическая текстология в приложении к древнеирландским или древневаллийским памятникам дает возможность лишь относительно-

го приближения к оригиналу, иными словами, приводит к реконструкции текста, более или менее измененного по сравнению с оригиналом.

Возможно провести аналогию с текстом Плавта в том виде, в каком он приводится в обычных изданиях: то, что публикуется в качестве общепринятого текста его комедий, в основном представляет собой более или менее надежную реконструкцию архетипа, восходящего к I—II вв. и отстоящего от текста оригинала не менее чем на 250—300 лет. В языке автора 200 г. до н.э. было множество архаических форм, большинство из которых было "исправлено", сглажено позднейшими переписчиками и которые исчезли бесследно, хотя с точки зрения истории языка наличие их у него является несомненным. Некоторые из таких форм довольно надежно могут быть постулированы на основании, например, аллитераций, типичной для Плавта, несмотря на их отсутствие как в рукописной традиции, так и в цитатах грамматиков, глоссаторов и др. Так, с большой вероятностью можно предполагать в языке Плавта существование как классической формы *lingua* 'язык', так и архаической *dingua*, ср.: *linguā largior* (As. 290) 'языком раздариваю'; *Magis istuc percipimus lingua dici, quam factus fore* (As. 163) 'Слышим, что об этом больше говорится языком, чем сделано будет'; *Timor praepedit dicta linguae* (Cas. 652) 'Страх связывает говорливость языка'; *duplicem ut habeam linguam* (As. 694) 'чтобы у меня был двойной язык'. Равным образом сосуществовали новое *bonum* 'добро' и более старое *duonum*: *Sciam ubi boni quid dederint* (As. 718) 'Знал бы, где дали б чего-нибудь хорошего'; *Hem istucin' est operam dare bonum sodalem?* (Merc. 620) 'О, так ли помогают доброму другу?'. Ср. также *lacruma* 'слеза' и *dacruma*: *Lacrumantem lacinia tenet lacrumans* (As. 585) 'За плачущего с трудом держится, сам плача'; *ni ex oculis lacrumae defendant* (Merc. 591) 'чтоб не защитили слезы из очей', и т.п.

Все такие предполагаемые формы, естественно, не находят никакого отражения в существующих изданиях текстов. Объясняется подобная практика как обычной для филологов-классиков консервативностью, стремлением максимально точно придерживаться рукописной традиции, так и объективными причинами: в конце концов, нормы языка Плавта и нормы языка I—II вв. были довольно близки, и издательский текст отражает какую-то лингвистическую реальность. Но ситуация в ирландской и валлийской традициях совершенно иная, как уже отмечалось выше. Когда, после указанной работы Турнейзена, стало обычным издавать кроме дипломатического текста рукописей так называемый "критический" текст по нескольким рукописям, то в результате появлялся текст, даже не достигающий уровня общего архетипа. Кельтологи, следуя за своими коллегами "классиками", сохраняли в "критическом" тексте даже наиболее очевидные описки и ошибки писцов, если они присутствовали в двух или более рукописях памятника. Нельзя не отметить, однако, такие смелые попытки реконструкции оригинала, как "Stories from the Táin" Дж. Строна, "Echtrae Conli" Ю. Покорного, "Aided Conroí" Р. Турнейзена, поэм Блатмака Дж. Карни и "Táin Bó Fraích" В. Мейда. Тем не менее большинство изданий памятников остается на уровне "критического", или среднеарифметического, результата чтений по всем рукописям.

Нельзя отрицать, естественно, полезность этих изданий, но надо отдавать себе ясный отчет в том, что они принципиально отличаются от подобных публикаций в классической филологии. "Критическое" издание или близкое к нему *variorum editio* ирландского текста не отражает никакой языковой реальности, поскольку в нем остаются на равных правах формы, характерные для самых разных периодов языка. Типичны для такого рода изданий публикации В. Халла. Например, в издании текста начала VII в. "Apgitir Chrábaid" по 18 рукописям XIV—XVII вв. он особо отмечает, что в "критическом тексте не проводится различий между конечными *-a*, *-e*, *-i* и *-iu*, поскольку во всех рукописях они бессистемно смешиваются" [Hull, 1968, 47].

Как известно, фонетически все эти гласные совпали в редуцированном [ə] лишь к середине X в., а во время написания оригинала какое-либо смешение их исключено. Таким образом, например, в одной и той же фразе или же в соседних предложениях сосуществуют формы *dí-gní* 'делает', *to-slí* 'заслуживает', *inda* (артиклъ), характерные для языка VII в., *inna* (артиклъ), *comallad* 'исполнение', *do-lega* 'уничтожает' IX в., *do cach duine* 'каждому', *do duini* 'человеку', *uada* 'от него', которые стали возможны в языке не ранее конца X в. Ввиду этого такое издание остается крайне пестрой и, главное, совершенно анахронистической мозаикой форм языка различных хронологических уровней и этапов эволюции. Никогда не мог существовать текст, более или менее отражающий реальное состояние языка, где на равных правах появляются глагольные формы с суфигированным местоимением *carth-ai* 'любит его', вышедшие из употребления к началу IX в., и сочетание связки в ед. числе с местоимением мн. числа *is íat* 'есть они', которое появляется лишь с начала XI в. Для пояснения можно привести следующую аналогию, на этот раз из славистики: дело обстоит таким образом, как если бы при "критическом" издании "Жития Кирилла-Константина", заведомо восходящего к концу IX в., в тексте наряду с формами корневого аориста издатель сохранял бы "акающие" формы русских писцов XVII в.

Некритическая ориентированность на максимальную близость к чтению большинства рукописей (хотя в свое время известный английский филолог-классик А. Хаусман отметил, что подобные вопросы большинством голосов не решаются) и недоверие к лингвистически наиболее точно отражающему оригинал варианту заметны даже во многих отношениях образцовом издании Ф. Келли архаического древнеирландского текста "Завещание Моранда" [Kelly, 1976]. Так, на стр. 32 он говорит, что даже в наиболее верно отражающей оригинал рукописи B¹ (=23 N 10, 1575 г.) не сохраняется старый монофтонг [ē] (позднее *ía*). Однако две лучшие рукописи B¹ и B² дают в строках 13—14 следующее чтение: *Finda búana (mo bretha nō) mo briathra rem bás* 'Прекрасны, вечны мои слова перед моей смертью'. Слова, взятые в скобки '(мои суждения или)', Ф. Келли считает старой глоссой писца и не включает в свой текст. Гораздо более вероятно, что чтение оригинала было *mo brēthra* 'мои слова' с еще не дифтонгизированным [ē], которое, с одной стороны, было модернизировано писцами в *briathra*, а с другой — сочтено ошибкой вместо *bretha* 'суждения' и отнесено

в маргинальную глоссу, вводимую союзом *nō* 'или, по-другому'. В строке 9 он вводит в текст форму с дифтонгом [úa] в *núallgnáith* 'обычно возвещающий' вслед за большинством рукописей, хотя совершенно очевидно — судя по многочисленным примерам в том же тексте, — что рукопись, дающая *nōllgnáthaig* со старым [ō], единственная, сохранившая в данном случае форму оригинала. Подобным образом Келли в большинстве случаев, принимая архаическую форму *már* 'великий' вместо позднего *mór*, в строке 74 оставляет *móraib*, несмотря на то что одна из рукописей и здесь сохраняет *māra(ib)*. Странное недоверие к рукописи B¹, им самим признанной наилучшей, не позволило ему в строке 117 увидеть в написании *doa* 'к нему' писцовое искажение формы VII в. *dou*, которая в остальных рукописях была "нормализована" в *dó*. Наконец, в строках 141 и 160 он вообще "исправляет" архаическое чтение всех рукописей *fallnathar* 'правит' с исконным *-a-* на обычную классическую форму *follnathar*. В последнем случае наблюдается очевидное игнорирование фактов исторической фонетики ирландского языка и нарушение собственных принципов эдиционной техники.

В случаях сомнений относительно датировки какого-либо текста лингвистические критерии должны иметь приоритет, но сами эти критерии, естественно, зависят от уровня наших знаний. Известен пример, когда недостаточные знания о различных этапах развития языка привели таких выдающихся кельтологов конца XIX в., как У. Стоукс и Дж. Строн, к датировке поэмы "Amra Choluimb Chille" ("Чудо св. Колумба") концом среднеирландского периода, в то время как именно "необычность" содержащихся в ней грамматических форм неопровержимо указывает на оригинал конца VI в.

Наиболее надежной представляется датировка памятника в тех случаях, когда наблюдается совпадение лингвистических и экстралингвистических критериев. Так, текст "Baile Chuind" ("Исступление короля Конда") сохранился в двух рукописях XVII в., но чисто языковые факты (различение превербов *dí-* и *to-*, монофтонг [ē], артикль *inda*, суффиксированные местоимения при глаголе, инфигированное местоимение 3 л. ед.ч. ж.р. *-den-*) указывают на время составления оригинала не позже первой четверти VIII в. Дж. Мёрфи удалось показать, анализируя список королей Тары, содержащийся в тексте, что последний король, названный по имени, умер в 665 г. Следующий за ним король *Fínnachta*, умерший в 695 г., скрывается под довольно прозрачным кеннингом, а все остальные не соотносятся с реальными историческими персонажами. Дж. Мёрфи делает обоснованный вывод, что этот текст составлен в то время, когда Финнахта еще не был королем, а лишь наиболее вероятным претендентом на престол, т.е. в 670—675 гг., что наилучшим образом соответствует чисто лингвистическим критериям.

Другим примером взаимной поддержки языковых и исторических данных является сага об "Изгнании племени Деши" ("The Expulsion of the Déissi"), сохранившаяся в нескольких рукописях XII—XVI вв. Лингвистически наиболее древней представляется версия в рукописи "Laud" (1453), где отмечаются глагольные формы *to-llotar* 'пришли',

to-het 'защитил', *to-lléicset* 'покинули' и т.д., указывающие на время не позже середины VIII в. Там же приводится генеалогия вождей этого племени, которое около 400 г. переселилось в юго-западную часть Уэльса. В совершенно независимых от этого ирландского текста валлийских анналах время правления упоминаемого в саге последнего вождя относится к 50—60-м годам VIII в. И в этом случае чисто лингвистические критерии полностью поддерживаются историческими свидетельствами.

Вспомогательным, но в некоторых случаях весьма важным методом датировки является палеографический анализ. В частности, многие памятники в рукописи "*Lebor na h-Uidri*" ставили исследователей в тупик, поскольку отрывки на языке одной эпохи чередовались с лингвистически совершенно несовместимыми отрывками на языке иного периода в пределах одного и того же текста, составляя — с композиционной точки зрения — единое целое. Объяснение этому факту было найдено ирландским палеографом Р. Бестом, который обнаружил, что многие страницы, части страниц и даже отдельные предложения первоначального текста, записанного в конце XI—начале XII в., были более чем через сто лет выскоблены и заново записаны новым писцом (так называемым интерполятором Н), чьи среднеирландские языковые нормы значительно отличались от древнеирландских. Однако в большинстве случаев палеография помогает установить лишь *terminus ad quem* и не может дать каких-либо сведений о времени написания оригинала.

Наконец, нельзя не упомянуть еще об одной особенности текстов, позволяющей приблизительно определять *terminus post quem* по их составлению. Как показал Д. Бинчи, если какой-либо текст в рукописной традиции встречается всегда или в большинстве случаев в глоссированном виде, т.е. с интерпретациями данного текста, то другие независимые критерии не позволяют датировать данный документ временем позже VIII в. Судя по всему, этот эмпирический критерий вполне приложим и к тем местам, где другие хронологические показатели отсутствуют.

Когда современные знания об историческом развитии языка являются недостаточными, интерпретация многих текстов остается крайне затруднительной. Таковы, например, многочисленные "риторические" отрывки (*goscaí*) в старых сагах, фрагменты филидической поэзии VI—VII вв., многие архаические формулы в древнейшем слое текстов законов. В этих случаях даже обнаружение новых рукописей не всегда облегчает задачу исследователей. Типичным примером может служить старейшая версия саги о "Рождении Кухулина", известная в начале века по пяти рукописям. Одним из *crucis interpretum* в ней является глагольная форма *atdises*, *adasis* (две рукописи), *adsait* (?), *atidises*. Опубликованный в 1953 г. вариант из новой рукописи В. Халл также читает *adasis* [Hull, 1953, 129] и не дает ничего нового для интерпретации этого загадочного слова. Тем не менее новые рукописные варианты, как правило, содержат ценную информацию, позволяющую дать более надежную реконструкцию оригинала. В той же новой рукописи G7 (XVI в.) содержатся варианты чтений, подтверждающие тео-

ретическую реконструкцию, предложенную Р. Турнейзенем на основании ранее известных рукописей: лишь в ней реально встречается форма *r-an-gíuil* 'пристало к нему', постулированная вместо *ro-n-gíuil* всех других рукописей. Более того, в ней засвидетельствованы такие архаические формы начала VIII в., как *luith* 'он пошел', *to-met* 'считалось', которые Турнейзен не решился внести в реконструированный им текст оригинала.

Эта сага была одним из текстов рукописи "Cín Drommo Snechtai" ("Книга Снежного Хребта"), содержание которой было реконструировано Р. Турнейзенем с помощью филологического анализа нескольких сохранившихся рукописей. Лингвистический анализ текстов, которые эксплицитно указываются как переписанные из этой рукописи, приводит к выводу о том, что она не могла быть написана позднее 725—730 гг. Последующие публикации текстов и обнаружение новых рукописей, содержащих саги и стихотворения из "Cín Drommo Snechtai", полностью подтвердили гипотезу Турнейзена; более того, некоторые фонетические и морфологические архаизмы, сохранившиеся в этих текстах, позволяют отнести написание данной рукописи к еще более раннему времени — ок. 675—700 гг.

3

Как уже отмечалось, эволюция ирландского языка характеризуется периодами ускоренного языкового развития, когда за сравнительно короткое время (100—200 лет) все уровни языка претерпевают сильнейшие изменения. За ними следуют более длительные периоды относительной стабилизации языковой системы, когда темп таких изменений сильно замедляется. Наиболее заметным изменениям подвергалась, с одной стороны, фонетическая система, с другой — морфология, в особенности система глагола. Именно поэтому факты фонетики и глагольной морфологии играют наиболее существенную роль при лингвистической датировке текстов. Эти части системы за короткий срок изменялись до такой степени, что писцы, даже наиболее опытные и знакомые с языком старых текстов, которые им приходилось часто переписывать, не вполне ориентировались в значении глагольных форм или же не узнавали известное им слово в архаической оболочке. Тем более им не удавалось правильно реконструировать или же употребить какую-либо древнюю глагольную форму, введенную ими в современный текст в целях его архаизации, т.е. для придания ему авторитета древности или блеска учености. Можно с уверенностью утверждать, например, что ни один писец времени позже IX в. не мог правильно употребить глагол с объектным суффиксированным местоимением в современном ему тексте, хотя общий смысл таких форм был ему, очевидно, ясен. К этой же категории явлений относятся так называемые гиперкорректные формы, например двусложное *aís* 'возраст' с зиянием вместо правильного дифтонга *aí* по аналогии с *roíd* 'большой лес', в поэмах, составление которых относится ко времени после XI в., когда формы с зиянием исчезли из языка и для авторов этих текстов уже не существовало противопоставления форм с зиянием (двусложных) и с дифтонгом

(односложных). В таких случаях даже очень хорошая профессиональная выучка писцов не давала им возможности такого употребления архаических форм, которое могло бы ввести в заблуждение лингвиста, знакомого с историей языка. С другой стороны, существуют "недиагностические" тексты, характеризующиеся, например, безглагольным стилем: перечисления (особенно в поэзии) с нанизыванием назывных предложений, очень краткие или очень искаженные тексты и т.п.

4

Важной проблемой ирландской рукописной традиции, до сих пор еще не получившей освещения в литературе, является отношение писцов к переписываемым ими текстам. Вопрос этот сложен и потому, что он затрагивает не только, например, уровень выучки, профессиональной "грамотности" писцов, но и их психологии и условий их труда. Ниже мы отметим лишь некоторые моменты данной проблематики. Исходя из результатов их деятельности, т.е. из качества переписанных текстов, ирландские писцы могут быть в основном разделены на три группы: 1) "грамотные", 2) "пассивно-безграмотные" и 3) "активно-безграмотные".

"Грамотные" писцы характеризуются хорошим пониманием переписываемого ими текста, четким представлением о различиях между языком оригинала и их собственным, начитанностью в грамматической литературе. Отмечаются случаи правильного исправления ошибок или описок, обнаруженных ими в оригинале; однако такое сознательное, активное отношение к тексту имеет и обратную сторону: очень часто эти же писцы — для облегчения понимания текста другими читателями — модернизируют оригинал. Эта модернизация может затронуть детали фонетического облика слова, проявиться в замене одной грамматической формы другой, в изменении синтаксической конструкции; в крайних случаях отмечается полный перевод отрывков первоначального текста на язык писца. Но эти же писцы ответственны за искусственную архаизацию тех памятников, авторами или же первыми переписчиками которых они были. Такая лжеархаизация вызывалась разными мотивами: желанием придать больший авторитет какому-либо документу, подражанием классическим образцам (в частности, в поэзии), приданием большей торжественности стилю, наконец, просто желанием показать свою ученость. К этой категории принадлежали писцы "Lebor na h-Uidri" и "Lebor Laighech" (XII в.), многие писцы, участвовавшие в создании "Yellow Book of Lecan" (конец XIV в.), 23 N 10 (1575). Именно они не раз порождали настоящие морфологические монстры. Например, переписчик последней рукописи в одном из вариантов саги "Tochmarc Emire" ("Сватовство к Эмер"), компилируя свой текст, использовал форму 3-го лица ед. числа буд. времени от глагола *alid* 'воспитывает' — *no-dn-ebla* 'который его воспитает' (в оригинальном тексте VIII в.) для образования 3-го лица ед. и мн. числа претерита (sic!) *ro-m-ebail* 'который меня воспитал', *ro-t-eblatar* 'которые тебя воспитали', заодно заменив и вымерший к его времени преверб *no-* на более понятный *ro-*. Естественно, что

такие формы претерита никогда не существовали в ирландском языке и являются всего лишь результатом непонимания древнего оригинала. Подобным образом интерполятор Н в "Lebor na h-Uidri" создал чудовищную форму 1-го лица ед. числа субъюнктива наст. времени *co topachtur* 'чтобы я отрубил' в саге "Táin Bó Cúailngi" ("Угон быка из Куальнге") из основы пассивного претерита *topacht* с окончанием 1-го лица ед. числа наст. времени депонентного субъюнктива *-ur*; реальная древнеирландская форма имела вид *co n-dobòs*.

Другим источником псевдоархаизмов для "ученых" писцов служили многочисленные глоссарии древних и редких слов. Как правило, такие слова цитировались в контексте в соответствующей грамматической форме, которая осознавалась позднейшими писцами как исходная или чистая основа, и с соответствующими изменениями (т.е. новой флексией и т.п.) использовались в новых текстах. Например, в глоссарии цитировался юридический афоризм *ni-ria, ni-ria di dodamnu* 'не продавай, не покупай у бесправного' (из законов VI—VII вв.). Форма 2-го лица ед. числа наст. времени субъюнктива *cria* глоссировалась как *creicc* 'покупка'; в дальнейшем в архаизированных текстах появляется "новая" форма глагольного имени *cria* (вместо существующего донныне закономерного *creicc*). Эта форма, как свидетельствуют другие памятники и данные современных диалектов, никогда не представляла собой факта живого языка и своим появлением обязана начитанности писцов. Подобным образом в некоторых архаизированных поэтических произведениях XV—XVI вв. появляется псевдоформа 1-го лица ед. числа наст. времени *luidim* 'я иду', очевидно извлеченная из глоссариев: *luid* (букв. 'он пришел'), т.е. *dul* 'хождение'.

В отличие от вышеприведенных случаев такие формы (из "Угона быка из Куальнге"), как *falloing-side é seom* 'он переносит его' вм. *f-an-loing-side*, *co curenn* 'и кладет' вм. *co cuir*, *ciamuin* 'хотя мы есмь' вм. *cé nu-dan* и т.п., очевидно, представляют собой простую модернизацию отдельных грамматических форм, замену древнеирландских средне- и новоирландскими новообразованиями, которые являлись фактами реального языка, как позволяют судить другие тексты и современные данные. Важным, в частности, для исторической грамматики является то обстоятельство, что такие "реальные" и "нереальные" образования встречаются во многих текстах бок о бок, часто в одном и том же предложении, и каждая из подобных форм нуждается в индивидуальном анализе. Многие из этих *ghost-words* и *ghost-forms*, к сожалению, проникли начиная с конца XIX в. в соответствующую научную литературу и в некоторых случаях продолжают фигурировать в ней до настоящего времени.

К категории "пассивно-безграмотных" писцов относятся те, которые довольствуются чисто механическим воспроизведением находящегося у них перед глазами оригинала вместе со всеми возможными описками, ошибками и явными несуразностями. Такие писцы, как правило, привносят в переписанный текст лишь свои механические описки копирования: пропуски букв, слов и целых фраз (при перескакивании через строку), бессознательное повторение

(удвоение) слов и предложений и т.п. Очень часто они довольно последовательно модернизировали орфографию оригинала. Однако этот процесс также был почти автоматическим: писец заменял каждое старое *e* на *ea*, *i* на *io*, интервокальные и ауслаутные *b, d, g* на *bh, dh, gh* и т.д. Замена старой орфографии более новой, таким образом, не свидетельствовала о высокой профессиональной подготовке писца в языке древних памятников и об активном вмешательстве в текст оригинала при переписке. К этой группе принадлежали, например, писцы-составители рукописей "Book of Ballymote" (1383—1397), "Book of Lecan" (1418), "Laud 610" (1454), "Laud 615" (1545) и мн. др. Неудивительно поэтому, что, как показал Дж. Карни, в некоторых текстах "Book of Ballymote" сохранились формы, не подвергшиеся синкопе — фонетическому процессу, завершившемуся во второй половине VI в. [Carney, 1971].

Выше уже отмечалась та точность и достоверность, с какой писец Laud 610 воспроизвел список "Словаря Кормака" X в. Та же верность оригиналу характерна и для текстов саг и генеалогий, сохранившихся в той же рукописи. Так, именно здесь обнаруживается теоретически постулированная О. Бергином форма генитива VII в. *Eochatho* (от имени собственного *Eochaid*); все прочие рукописи сохранили лишь более поздние варианты — *Eochada*, *Echada*. Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что тексты, переписанные этими писцами, дают самый надежный лингвистический материал, максимально свободный от модернизации и прочих видов интерференции, если не принимать во внимание более или менее многочисленных ошибок механического характера, как содержащихся в оригинале, так и появлявшихся в процессе переписки.

Наибольшие трудности возникают при анализе текстов, переписанных писцами, относящимися к категории "активно-безграмотных". Такие писцы, по всей видимости, не имели профессиональной подготовки, необходимой для понимания и сознательного отношения к древнему тексту. Однако именно они стремились придать своим текстам облик глубокой древности, используя для этой цели крайне причудливую, идиосинкратическую орфографию. Одновременно они часто радикально модернизировали морфологию и синтаксис оригинала, но облекали эти модернизмы в ту же орфографию, которая не была связана ни с более ранними, ни с современными им нормами, однако все-таки каким-то образом — остающимся для нас неясным, — возможно, отражавшей реальное произношение писца. Результатом этих "поисков и находок" являются тексты, которые часто остаются темными, несмотря на все эмендации и конъектуры, предложенные исследователями за многие годы.

К сожалению, многие важные памятники дошли до нас лишь в таких рукописях, причем часто только в одной версии. Искажение оригинала в некоторых случаях достигает такой степени, что заставляет издателей усомниться в психическом здоровье писца. К этой группе относятся переписчики рукописей H 4.22 (XV—XVII вв.), Harleian 5280 (1440), Rawlinson B 512 (сер. XVI в.). Так, например, писец Gilla Riabhach Ó Cléirigh заменяет первоначальное *cloíne* 'преступность'

на *claeiniue*, хотя его собственное произношение, судя по всему, было [kLe:n'ə]; *salmaib* 'псалмам' оригинала превращается под его пером в *spalmbouih* при реальном произношении [saLmiv']. Не лучше были его коллеги: в рукописи 23 N 10 *graueidiv* из *graige* 'кони', в произношении писца [gRaji]; *sriana* 'удила' превращается в *sriauona*; в рукописи G7 вместо *brogo* 'холма' дается *prouchuei*; в H 4.22 *luid* превращается в *loueidh, ro-boi* 'он был' — в *ruobaouei*, реально [rəvi:].

В большинстве случаев писцы не оставляют неискаженными ни одного слова при переписывании, что делает реконструкцию первоначального облика крайне затруднительной. Однако и здесь сквозь чудовищную орфографию можно иногда различить черты очень архаичного оригинала. Так, в списке "Рождения Кухулина" рукописи G7 (XV в.) видны черты орфографии конца VII — начала VIII в.: *tasscertha* 'свергнуты' из *to-scartha* (сохранение *to-*), также в *toteccait* 'приходят' (из *to-tēgot*, позднейшее *do-tiagat*), *to-fuopir* 'напал', *to-chluigistar* 'попросила' и т.д. Дело, очевидно, в том, что эти писцы изменяли оригинал непоследовательно в отличие от писцов первой группы; они могли, например, исказить орфографию конца слова, сохранив в нетронутom виде его начало, и, наоборот, оставить в неприкосновенности ауслаут, изменив середину, и т.д. В результате такая бессистемность и непоследовательность часто дают возможность выявить орфографические нормы оригинала и на этом основании датировать его. Поэтому тексты данной группы, несмотря на все неясности и темные места, также являются ценным лингвистическим источником при условии его тщательной обработки.

5

После обзора особенностей кельтской рукописной традиции, в частности ирландской, хотелось бы остановиться на некоторых вопросах эдиционной техники в связи с текстами, рассматриваемыми с точки зрения истории языка. Совершенно очевидно, что одной из важнейших проблем кельтской текстологии является вопрос датировки текста. Для решения ее в каждом конкретном случае должны быть привлечены все средства: исторические, литературоведческие, палеографические и, самое главное, лингвистические. После предварительного дипломатического издания по рукописям, по-видимому, целесообразно, используя все филолого-лингвистические методы, дать наиболее вероятную реконструкцию текста на хронологическом уровне оригинала, но не ранее начала VIII в. Состояние языка до этого времени нам известно слишком фрагментарно и изобилует слишком большим числом неясных деталей, чтобы на нынешнем уровне наших знаний можно было представить относительно надежную реконструкцию текста, например, середины VII в.

История языка с начала VIII в. до современности известна вполне достаточно для подобных целей. С точки зрения как кельтологии, так и индоевропеистики именно архаические памятники ранее середины VIII в. представляют наибольший интерес, но и наибольшие трудности.

Детальное изучение таких текстов станет возможным лишь после целого ряда изданий, реконструирующих до уровня классического древнеирландского состояния VIII в. На этом фоне все особенности доклассического оригинала выступают более отчетливо, а архаизмы можно будет изучать как систему, а не как разрозненный набор отдельных курьезных деталей фонетики или синтаксиса. *Mutatis mutandis*, подобная реконструкция — хотя бы и частичная — необходима для более углубленного анализа древнейшей валлийской поэзии: произведений Анейрина и Талиесина. Реконструкция некоторых фрагментов текста Талиесина на уровне языка около 600 г. недавно была произведена, с весьма плодотворными результатами, Дж. Кохом [Koch, 1983, 221—222]. Видимо, надо более осторожно решать вопрос о целесообразности "критических" изданий: в большинстве случаев они представляют собой анахронистическую смесь форм и фрагментов, отражающих различные этапы языкового развития, которую вряд ли возможно трактовать как реальную и целостную систему. Такие издания требуют сугубо критического отношения, а использование их как лингвистических источников слишком часто приводит к неверным результатам. Если буквальное воспроизведение писцового текста отражает рукописную реальность, а издание-реконструкция — относительную реальность какого-либо этапа развития языка, то "критический" текст не имеет никакой опоры в действительности. Наконец, необходимо учитывать педагогическое значение изданий текстов; крайне затруднительно исследовать язык, например, X в. на основе текстов, в которых хаотически перемешаны факты X—XVIII вв.

Обзор особенностей рукописной традиции ирландского и валлийского языков подчеркивает значение филологических методов для обработки и исследования текстов, их использования как источников надежного материала для собственно лингвистических целей. Недостаточное внимание к филологической стороне проблематики, к вопросам текстологии привело к тому, например, что "Urktischer Sprachschatz" Стоукса — Беценбергера, бывший длительное время наиболее авторитетным кельтским этимологическим словарем, изобилует недостоверным материалом: *voces et formae nihili* делают его почти непригодным для современной индоевропеистики. Недостаточно осторожный подход к изданиям ирландских текстов позволил проникнуть таким мнимым формам — конечно, в гораздо меньшей степени — даже в превосходный "Этимологический словарь древнеирландского языка" Ж. Вандриеса. Для индоевропеистов, не являющихся специалистами в кельтологии, некритическое использование источников может явиться причиной серьезных ошибок и просчетов. В связи с этим уместно привести следующее высказывание К. Джексона, разделяющего точку зрения Ю. Покорного по данному вопросу: "Еще раз подчеркну, что кельтология не является областью занятий для любителей, и те ученые, которые используют ее материал, не зная основательно этих языков, лишь наносят ущерб своей собственной репутации" [Jackson, 1954, 321].

В нашем обзоре были затронуты вопросы лишь собственно рукописной традиции. Очень важна и актуальна для текстов некоторых жанров (сага, традиционная поэзия) проблема соотношения и взаимовлияния письменной и устной традиций, но эта тема требует особого и тщательного исследования с привлечением методов сравнительного литературоведения и фольклористики.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПО КОСВЕННЫМ ДАННЫМ

При реконструкции слов и форм довольно часто используются прямые данные. Предположим, что мы поставили себе задачей реконструировать более древний облик русского слова *круг*. В родственных языках можно найти данные, свидетельствующие о древнем облике данного слова. К таким данным относятся фин. *rengas* 'круг', представляющее заимствование из древнегерманских языков, нем. *Ring* — исконное германское слово, но фонетически довольно сильно изменившееся, др.-исл. *hringr*, интересное тем, что оно сохраняет начальный *h*, восходящий к *k*. Известный интерес представляет и русское слово *круг*, в котором гласный *у* восходит к носовому *о*, развившемуся из *он*. Эти непосредственные данные и позволяют реконструировать древний облик слова *круг*, который некогда звучал как **krongos*.

Однако бывают такие случаи, когда направление поиска определяется не прямыми, а косвенными данными, которые как бы подсказывают, что в данном случае следует делать и что прежде всего нужно искать.

Во многих тюркских языках распространены относительные прилагательные, образованные аффиксами *-лы*, *-лық*, *-лығ*. При исследовании значений этих прилагательных нетрудно заметить, что они довольно существенно отличаются от таких относительных прилагательных русского языка, как *железный*, *медный*, *деревянный*, *оловянный*, *глиняный*, *лесной* и т.п. Они чаще всего обозначают приобретенное качество, ср. тат. *агулы* 'ядовитый', *акылы* 'умный', *алмалы* 'изобилующий яблоками', *арбалы* 'имеющий телегу', *атлы* 'имеющий лошадь, всадник', 'имеющий имя', *балалы* 'имеющий ребенка', *башлы* 'имеющий голову, умный', *башаклы* 'колосистый, с колосьями', *болытлы* 'облачный', *буранлы* 'ненастный', *бурычлы* 'имеющий долг', *гөмбәле* 'с грибами, грибной', *динле* 'религиозный', *дулкынлы* 'волновой, волнистый', *исемле* 'имеющий имя', *исле* 'с запахом', *иярле* 'имеющий седло', *йолдызлы* 'звездный', *йонлы* 'волосатый', *йөкле* 'беременная' (букв. 'с грузом'), *калпаклы* 'имеющий колпак', *канатлы* 'крылатый', *канлы* 'кровавый', *кортлы* 'червивый', *корычлы* 'стальной', *кояшлы* 'солнечный', *куаклы* 'кустистый', *күкрәкле* 'грудастый', *күнле* 'обитый кожей', *намуслы* 'честный', *орлыклы* 'имеющий семя', *очлы* 'остроконечный', *сазлы* 'болотистый', *сакаллы* 'бородатый, с бородой', *сулы* 'с водой, влажный, мокрый', *сыерлы* 'имеющий корову', *тамырлы*

‘имеющий корни’, *тармаклы* ‘имеющий ветви’, *таулы* ‘гористый’, *тимерле* ‘содержащий железо’, *тозлы* ‘соленый’, *туфраклы* ‘с примесью земли’, *тәмле* ‘вкусный’, *төтенле* ‘дымный’, *уклы* ‘стрелочный’, *урманлы* ‘лесистый’, *яфраклы* ‘имеющий листья’, *өметле* ‘надежный’ и т.д.

В якутском языке этим прилагательным соответствуют прилагательные с афф. -*лаах*, (-*даах*, -*наах*, -*таах*): *ааттаах* ‘имеющий имя’, *арыылаах* ‘имеющий остров’, *апыылаах* ‘имеющий клыки’, *атахтаах* ‘имеющий ноги’, *баартаах* ‘удачливый’, *баастаах* ‘имеющий рану’, *бастаах* ‘имеющий голову’, *бөхтөөх* ‘содержащий мусор’, *буордаах* ‘имеющий землю’, *буруолаах* ‘дымный’, *дарбаннаах* ‘шумный’, *тоҕордоох* ‘имеющий друга’, *дорҕооннох* ‘звучный’, *дьоллоох* ‘счастливый’, *дьэбиннээх* ‘ржавый’, *идэлээх* ‘имеющий профессию’, *искэхтээх* ‘икристый’, *иччилээх* ‘имеющий хозяина’, *кириштээх* ‘имеющий крест’, *кирдээх* ‘грязный’, *киергэллээх* ‘имеющий украшения’, *көмөлөөх* ‘получающий помощь’, *көмүстээх* ‘имеющий серебро’, *кулгаахтаах* ‘имеющий уши’, *кутуруктаах* ‘имеющий хвост’, *күннээх* ‘солнечный’, *кылааннаах* ‘имеющий лезвие, острие’, *кымнылаах* ‘имеющий кнут’, *кынаттаах* ‘имеющий крылья’, *кырыктаах* ‘злобный’, *кыыннаах* ‘имеющий ножны’, *муостаах* ‘имеющий рога’, *ночооттоох* ‘убыточный’, *ойуурдаах* ‘имеющий лес’, *олбуордаах* ‘имеющий забор’, *ордуктаах* ‘имеющий остаток’, *өлүүлээх* ‘смертельный’, *салыңнаах* ‘слизистый’, *сатабыллаах* ‘умелый, искусный’, *сордоннуох* ‘имеющий щук’, *сулустаах* ‘имеющий звезду’, *суоллаах* ‘имеющий след’, *сыаналаах* ‘дорогой’, *сылгылаах* ‘имеющий лошадь’, *сыыраस्ताах* ‘сырой’, *таастаах* ‘облицованный в камень, каменистый’, *таһаҕастаах* ‘имеющий груз’, *тиистээх* ‘имеющий зубы’, *тумустаах* ‘имеющий клюв’, *тыалаах* ‘имеющий лес, с лесом’, *тыңырахтаах* ‘имеющий ногти, когти’, *уостаах* ‘имеющий губы’, *уоттаах* ‘имеющий огонь’, *улэлээх* ‘трудоемкий’, *хааннаах* ‘имеющий кровь’, *харахтаах* ‘имеющий глаза’, *ыарыылаах* ‘имеющий заболевание, больно́й’, *ылыыктаах* ‘имеющий тропинку’ и т.д.

Возникает проблема, откуда произошли эти прилагательные. Ответ на этот вопрос может дать якутское словосочетание типа *балык начыынкалаах бөрүөк* ‘пирог с рыбной начинкой’, *киһилээх кэллэ* ‘он пришел с человеком’, *хойуу куударалаах кыыс* ‘девушка с пышными кудрями’ и т.д. Уже эти значения наводят на мысль, не произошли ли указанные аффиксы относительных прилагательных в результате переосмысления значения некогда существовавшего в тюркских языках так называемого совместного падежа. По-видимому, это так и было. Скучные реликты этого падежа действительно прослеживаются, ср. уйг. *түн-ли кун-ли* ‘ночь и день’, казах. *ер-ли катын*.

А.П. Поцелуевский в статье “Некоторые рудиментарные формы в туркменском языке” прямо говорит о древнем совместном падеже — комитативе, имеющем формальный показатель -*лы*, -*ли*, и отмечает, что в туркменском языке он употребляется главным образом как словообразовательная морфема [Поцелуевский, 1957, 127]. Он связывает его с аффиксом прилагательного -*лы*, -*ли*, например, *йерли илат* ‘местное население’ [там же, 28]. Интересен приведенный им здесь

пример, отражающий значение комитатива: *Саятлы Хемра* "Саят и Хемра" или точнее "Хемра с Саят" (название романа Шабенде). В настоящее время выясняется, что в тюркских языках действительно существовал совместный падеж, показателем которого был афф. -лы:ғ.

В эстонском языке род. падеж не имеет специального окончания. Тем не менее можно предполагать, что когда-то это окончание существовало. Об этом можно судить на основании косвенных данных.

В эстонском языке род. падеж. ед. числа не имеет стандартного формального обозначения. Чаще всего он представлен различными вариантами основ, довольно заметно отличающимися от основы, представленной в им. падеже.

Им. п. ед. ч.	Род. п. ед. ч.
jõgi 'река'	jõe 'реки'
linn 'город'	linna 'города'
ahi 'печь'	ahju 'печи'
nägu 'лицо'	näo 'лица'
kapp 'шкаф'	kapi 'шкафа'
park 'парк'	pargi 'парка'

Сразу может возникнуть подозрение, что основы род. падежа не первичные. Была какая-то причина, способствовавшая их деформации. Этот разноречивый объясняется тем, что некогда род. падеж ед. числа в эстонском языке, как и в финском, оканчивался на -n, ср. фин. *maa* 'страна' — род. п. *maan*, *kansa* 'народ' — род. п. *kansan* и т.д. Для формы род. падежа в финском языке характерна так называемая слабая ступень, ср.: *kauppa* 'торговля' — род. п. *kaupan*, *lepo* 'отдых' — род. п. *levon*.

В эстонском языке окончание род. падежа ед. числа отпало, но слабая ступень сохранилась. Иногда основа со слабой ступенью подвергалась новым фонетическим изменениям.

В мордовских языках интервокальное *c* озвончалось, ср. эрзя-морд. *кудозо* 'его дом' из *кудозсо*, эрзя-морд. *куз* 'ель' и фин. *kuusi*.

Однако в суффиксе местн. падежа *s* в интервокальном положении никакому озвончению не подвергается, например: *кудосо* 'в доме', *вельсэ* 'в деревне' и т.д. Это объясняется тем, что в мордовских языках местн. падеж имел окончания -сно, -сне. Группа -сн подвергалась ассимиляции *сн* > *сс*, а затем *сс* упрощалось: *кудосно* > *кудоссо* > *кудосо*. Когда произошло упрощение в *c*, фонетический закон превращения интервокального *c* в *з* уже не действовал.

Очень большая частотность гласного или согласного указывает на разные источники его происхождения. В древнемарийском языке частотность гласного *a* была очень велика, и это было не случайно, поскольку позднее выяснилось, что в этом языке праязыковые гласные *e* и *o* превратились в *a*. Спирант *ш* в марийском языке встречается очень часто. Исторически он восходит к *ш* и *сь*. Значительная частотность *s* в финском языке объясняется тем, что *s* в этом языке продолжает не только протоуральское *s*, но также протоуральские *ś*.

То же самое наблюдается и при наличии гипертрофии какого-либо грамматического форматива. В русском языке по существу одно прош. время, характеризующееся показателем -л, ср. *писа-л*, *ходи-л*,

обу-л, усну-л и т.д. Однако в древнерусском языке система прошедших времен была более богатой. Она включала такие прошедшие времена, как аорист, имперфект, перфект и плюсквамперфект.

Есть аналитические языки, в которых предлоги управляют косвенным падежом. Показательны в этом отношении современные индийские языки, в которых послелогои обычно управляют косвенным падежом, ср., например, в хинди *bacce se* 'о ребенке' (прямой падеж — *baccā* 'ребенок'), в синдхи *rastē te* 'по дороге' (прямой падеж *rasto* 'улица') и т.д.

Сочетание послелога с косвенным падежом логически труднообъяснимо. Можно предполагать, что некогда на месте косвенного падежа были разные локальные падежи, которые совпали по причине падежного синкретизма в одной форме. Так именно обстояло дело в индийских языках.

В нижнелужском диалекте ижорского языка окончание форм 3-го лица ед. числа имперфекта не обнаруживает единства, ср.: *anto* 'он дал', *jättü* 'он замерз', *rippu* 'он висел', *süntü* 'он заблудился' [Лаанест, 1966, 88]. Это указывает на то, что в данных формах отпал некогда существовавший показатель имперфекта *-i*. Когда-то эти формы звучали как *antoi*, *rippui* и т.д.

Латинисты спорят о том, какой характер носило ударение в латинском языке. Одни говорят, что оно было не силовым, а музыкальным, другие утверждают, что оно не заходило дальше третьего слога от конца слова. Вместе с тем есть некоторые косвенные данные, позволяющие утверждать, что в какую-то эпоху динамическое ударение в латинском языке падало на первый слог слова. Многие латинские глаголы, осложненные приставками, изменяют гласный корня, ср.: *capio* 'брать', но *ac-cipio* 'принимать', *habeo* 'иметь', но *ad-hibio* 'прикладывать' и т.д. Ударение на первом слоге способствовало редукции корневых гласных. Затем произошло изменение их тембра.

Если формы, принадлежащие в настоящее время к одной системе, обнаруживают неодинаковый способ образования, то это указывает на то, что в прошлом они принадлежали к разным системам. Так, например, претерит в германских языках образуется разными способами. Так называемые сильные глаголы имеют аблаут, ср. гот. *bairan* 'носить', *bar* 'нес' или *niman* 'брать', *nam* 'брал'. Слабые глаголы при образовании претерита не имеют аблаута. Кроме того, претерит этих глаголов характеризуется особым суффиксом, ср. гот. *lagida* 'я положил' от *lagjan* 'класть'. В дальнейшем выясняется, что претерит сильных глаголов был когда-то перфектом, поскольку в индоевропейских языках аблаут является отличительным признаком перфекта, ср. др.-греч. $\lambda\epsilon\mu\lambda\omega$ 'посылаю' и $\lambda\epsilon\mu\omicron\mu\alpha$ 'я послал'.

Никто из современных финно-угроведов не знает, какой был порядок слов в древнемордовском языке. В современном мордовском языке порядок слов в основном свободный. Не нарушается только одно правило — определение всегда предшествует определяемому. Однако это еще не означает, что порядок слов в древнемордовском языке определить невозможно. Некоторые соображения заставляют предполагать, что некогда в мордовских языках глагол располагался

в конце предложения. В качестве косвенных доказательств этого положения могут быть приведены следующие аргументы: 1) морфологический строй мордовского языка является в основном агглютинативным, 2) типичный для агглютинативных языков закон порядка слов "определение + определяемое" проявляется довольно четко, 3) в языке существует довольно большое количество послелогов, 4) в полной мере развиты притяжательные суффиксы, 5) конструкции, играющие роль различных обстоятельств, располагаются перед определяемыми существительными. В языках ярко выраженного агглютинативного типа глагол обычно занимает конечное положение во фразе. Все вышеприведенные косвенные данные говорят о том, что факторы, способствовавшие отеснению глагола в конец предложения в древнемордовском языке, несомненно, существовали. Их необходимо дополнить прямыми свидетельствами. Ими могут быть формы типа *невтезель* 'был показан', *аравтозель* 'был поставлен' и т.д. (элемент *-ель* в приведенных формах представляет древнюю форму 3-го лица ед. числа первого прошедшего времени от вспомогательного глагола *улемс* 'быть', соединенного с причастием прош. времени на *-зь*. Об этом свидетельствуют и формы продленно-прошедшего времени в эрзя-мордовском языке типа *молилинъ* 'я ходил' из *моли улинь* 'я ходящий был'. Если бы в древнемордовском языке глагол не занимал конечного положения, формы типа *невтезель*, *аравтозель*, *молилинъ* и т.д. были невозможны.

Исх. падеж в тюркских языках характеризуется аффиксами *-дан*, *дан* позднего происхождения. В тюркском праязыке, а также в древних тюркских языках этого падежа не было. Древний исходно-местный падеж, существовавший в тюркском праязыке, имел окончания *-та*, *-таз*, *-да*, *-дз*. Отличительная его особенность заключалась в том, что он имел два основных значения: 1) значение местонахождения, 2) обозначение движения от чего-либо или из чего-либо. Значение исх. падежа еще сохранялось в Орхонских надписях, ср. орх. *табғач каған-та* 'от китайского императора', *көз-дз јаш* 'слезы из глаз' [Tekin, 1968, 44]. Возникает вполне логичный вопрос, откуда мог произойти форматив *н* в тюркских языках. В тюркских языках имеются реликтовые следы какого-то направительного падежа, характеризующегося окончанием *-н*. В казахском, киргизском и каракалпакском языках у местоимений встречаются формы дат.-направ. падежа на *-н*. Иногда это *н* прибавляется к форме дат.-направ. падежа на *-ға*, ср.: *маға-н* 'мне', *саға-н* 'тебе', *оға-н* 'ему', *буға-н* 'этому'. Совершенно очевидно, что в данном случае к форме дат.-направ. падежа на *-ға* прибавлен какой-то особый форматив, имевший сходное значение. Но иногда этот форматив прибавляется в чистом виде. В татарском языке наряду с послелогом *таба* к' существует его разновидность *табан* с тем же значением. Татарскому послелогу *табан* в казахском языке соответствует послелог *таман*, совершенно одинаковый по значению, ср. казах. *батысқа таман* 'к западу', также узб. *мактабга томон* 'по направлению к школе'. Форматив *н*, будучи присоединен к аффиксу местн-исх. п. *-да*, образовал особый исх. падеж на *-дан*.

Не меньший интерес представляет происхождение в тюркских языках род. падежа на *-ын, -ин*. Некоторые тюркологи склонны поместить формант род. падежа в тюркских языках в плоскость тюркского праязыка и даже в плоскость алтайского праязыка. Такое возведение окончания тюркского род. падежа в праязыковые плоскости нам представляется весьма сомнительным. В тюркском праязыке род. падежа не было. По всей видимости, там безраздельно господствовала так называемая изафетная конструкция типа *ат башы* 'голова лошади' букв. 'лошадь голова ее'. О том, что дело обстояло именно так, может свидетельствовать якутский язык, в котором есть зачатки род. падежа, но сам род. падеж не получил полного развития.

Откуда же в таком случае возникло окончание род. падежа в тюркских языках?

В тюркских языках когда-то существовал орудийный падеж на *-ын, -ин*. В настоящее время от этого падежа сохранились только скудные остатки в некоторых наречных формах, ср.: к.-калп. *гуз-ин* 'осенью', тув. *кыжын* 'зимой', шор. *чайын* 'летом', якут. *сайын* 'летом', казах. *жазын* 'летом', *жасырын* 'тайком' и т.д. Этот падеж имел два основных значения: 1) значение русского твор. падежа, например: *қолын* 'рукой', *окын* 'стрелой' и 2) значение совместн. падежа, ср. орх. *каганымын* 'с моим каганом', *атын* 'с лошадьми'. Не исключена возможность, что материалом для создания формы род. падежа послужила форма орудийного падежа на *-ын, -ин*, что, по-видимому, явилось главной причиной исчезновения в тюркских языках самого орудийного падежа на *-ын*.

Несимметричные падежные системы всегда вторичны. Симметричной падежной системой можно назвать такую систему, в которой падежные окончания в ед. и мн. числе являются одинаковыми. Примером такой системы является любой ярко выраженный агглютинативный язык; см., например, в турецком:

ev 'дом'

Ед. число	Мн. число
Им. ev	ev-ler
Род. ev-in	ev-ler-in
Дат. ev-e	ev-ler-e
Вин. ev-i	ev-ler-i
Исх. ev-den	ev-ler-den

В таких языках, как индоевропейские, падежные системы, если они сохраняются, почти, как правило, асимметричны, примером чего может служить парадигма спряжения слова *дом* в русском языке:

Ед. число	Мн. число
Им. дом	дом-а
Род. дом-а	дом-ов
Дат. дом-у	дом-ам
Вин. дом	дом-а
Твор. дом-ом	дом-ами
Предл. о дом-е	о дом-ах

С логической точки зрения такая структура совершенно не рациональна. Почему во мн. числе падежные окончания должны иметь другую форму, когда они по существу имеют ту же функцию, что и падежные окончания в ед. числе? Остается только предположить, что в какую-то очень далекую от нас историческую эпоху падежные окончания в индоевропейских языках в ед. и мн. числе были совершенно одинаковыми и различие возникло по причине каких-то более поздних преобразований.

Существуют указания на то, что в индоевропейском праязыке падежные окончания как для единственного, так и для мн. числа были первоначально одинаковыми. Так, *s* было признаком номинатива, и в ед. числе оно присоединялось непосредственно к основе, дор. *λόξ* 'нога' (<pod-s) — мн. ч. *λόδ-εξ*. Но многие существительные образовывали им. падеж ед. числа без окончания, например *πατήρ* 'отец' — мн. ч. *πατέρες*. По контрасту между подобными формами ед. и мн. числа *-s* стал восприниматься как признак мн. числа; он стал присоединяться к окончаниям ед. числа для образования мн. числа вин. падежа: вин. п. ед. ч. *λόγον* < *log-o-m* — вин. п. мн. ч. *λόγονς* < *logom-s*, *logon-s*, дат. п. ед. ч. *λόγω* < *ōi* — дат. п. мн. ч. *λόγοις* < *ōi-s* [Прокош, 1954, 247].

Наличие классных показателей в глаголе предполагает наличие их некогда в имени. В некоторых языках классные показатели имен существительных обнаруживаются не в имени, а в составе глагольной формы. Так, например, обстоит дело в аварском языке, в котором существуют классные показатели муж. кл. *в*, жен. кл. *й*, сред. кл. *б*. Классный показатель как формальный признак входит в состав всех прилагательных и причастий, большинства глаголов и местоимений, многих наречий. Глаголы также согласуются по классу: с субъектом непереходные и с объектом переходные, ср.: *вас вачIана* 'мальчик пришел', *у бачIана* 'лошадь пришла', *эбелал вас вачана* 'мать привела сына', *лисуца яс ячана* 'отец привел дочь' [Сайдов, 1967, 714—715]. В чеченском языке категория грамматического класса реализуется лишь при согласовании определяемого с определением и подлежащего или прямого дополнения со сказуемым [Мациев, 1961, 574]. Следовательно, и в этом языке классные показатели могут входить в состав глагольных форм, ср.: *кIанта дб̄ьшу к̄хат* 'мальчик читает письмо', *кIанта йд̄ьшу книга* 'мальчик читает книгу' [там же, 601]. Наличие классных показателей в составе глагольных форм — явление явно вторичное.

В финском языке существуют слова, не подчиняющиеся гармонии гласных, ср.: *mela* 'кормовое весло', *rinta* 'грудь', *elo* 'жилье' и т.д. Объяснить это можно только на основании применения косвенных данных. Слова типа *mela* и *rinta* не подчиняются гармонии гласных по той причине, что когда-то в финском языке были отодвинутые назад *e* и *u*. Если дело обстоит именно так, то вполне естественно, что в этих словах не было никакой необходимости употреблять во втором слоге гласные переднего ряда. Наличие некогда в финском языке отодвинутых назад *e* и *u* подтверждается данными эстонского

языка, ср. фин. *mäla* 'кормовое весло', но эст. *mõla*, фин. *rinta* 'грудь', но эст. *rind* (род. п. ед. ч. *rinna*), фин. *elo* 'житье', но эст. *elu*.

Есть языки, в которых показатель времени располагается после личных окончаний. Любопытно в этом отношении образование прош. времени в ненецком языке, ср.: *иледа-м-зь* 'я жил', *иленась* 'он жил', *илева-ць* 'мы жили' и т.д. Это время специализировано в видовом отношении и, как правило, обозначает длительное действие в прошлом. Необычайное расположение показателя времени и его семантика заставляют предполагать, что показатель *-сь* представляет собой остаток вспомогательного глагола со значением 'быть'. Аналогичный способ образования прошедшего длительного с участием вспомогательного глагола 'быть' встречается нередко, ср. коми-зыр. *муна вöлі* 'я шел', мар. *лудам ыле* 'я читал' и т.д. Вторая составная часть этих глаголов представляет собой форму вспомогательного глагола 'быть'.

В разных языках мира существует довольно сильная тенденция к укреплению односложных слов. Она существует по той простой причине, что односложное слово может подвергнуться фонетическому выветриванию и исчезнуть из языка. Имея в виду эту тенденцию, мы вправе предполагать, что местоимение чаще имеет две основы, а не одну. Так в действительности оно и есть. Индоевропейское личное местоимение *egho* или *ego* 'я' состоит из двух составных элементов — *e* и *gho*. Марийское местоимение *тудо* 'он' составлено из местоименной основы *ту-* и словообразовательного суффикса *-до* с указательным значением. В древненемецком языке указательное местоимение *dēse*, *dē-ser* 'этот' содержит местоименную основу *-de*, соединенную с частицей *se*. Наличие конечного *r* в *dēser* объясняется склонением прилагательных.

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ И ПРАЯЗЫКОВАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

После безраздельного господства в языкознании первой половины XX в. проблематики синхронной лингвистики вторая его половина ознаменовалась возрастанием интереса к диахронической лингвистике, к проблемам языковых изменений и преобразований во времени. Это явилось некоторым возвратом, уже на новом методологическом уровне, к разработке проблем, возникших в классическом, сравнительно-историческом индоевропейском языкознании прошлого века. Такой интерес к проблемам языковых изменений и диахронической лингвистики обусловлен общим развитием лингвистической мысли последних десятилетий: преодолевая соссюрдовскую антиномию между синхронной и диахронической лингвистикой, она стремится к построению такой лингвистической теории, которая обладала бы большей объяснительной силой по сравнению с сугубо синхронными теориями описательной, таксономической грам-

матики, строящейся строго на основе эмпирической языковой данности.

В этом отношении лингвистическая наука не стояла особняком. Возврат к некоторому историзму, ранее характерному для науки конца XIX в., является, как известно, одной из общих тенденций развития научной мысли второй половины нашего столетия, пришедшей на смену строго синхронному структурализму и антиисторизму в науке первых десятилетий XX в.

Однако лингвистическая наука вернулась к разработке старых, традиционных проблем обогащенная новыми методами лингвистического анализа, разработанными в недрах системной, синхронной лингвистики. Новизна этих методов в применении к традиционным идеям заключается не только в использовании разработанных в синхронной лингвистике точных операционных приемов лингвистического анализа, но и в глобальном подходе к феномену развивающегося, постоянно меняющегося во времени языка как к явлению сугубо системному, поддающемуся последовательному системному анализу.

Одним из основных условий праязыковой реконструкции и всего сравнительно-исторического языкознания вообще является положение о языковом развитии, понимаемом не как движение языка от простого к сложному или более совершенному, а как диахроническая изменчивость, вариабельность языка, способность его к преобразованиям на всех уровнях языковой структуры.

На звуковом уровне подобные диахронические преобразования языка выражаются в изменениях определенных фонем в другие фонемы, представляющих собой по существу "расщепление" или "слияние" двух фонем*, характерных для более раннего состояния языка. Такие фонемные преобразования осуществляются в условиях избыточности языковой системы, которая и определяет возможность звуковых изменений языка. Избыточность языка как "неполной системы" и является тем структурным фактором, который делает возможной звуковую изменчивость языка. Вследствие этого языковая система не является застывшей структурой в отношении звуковых изменений и диахронического "движения" фонем. Однако характер подобных преобразований системы зависит уже не от степени избыточности системы, варьирующейся от языка к языку, а от более глубоких характеристик языковой структуры. Одной из таких характеристик языковой системы является иерархическое отношение "маркированности" или "доминации" между лингвистическими, в частности фонологическими, единицами.

Существуют универсальные модели сочетаемости, совместимости фонетических дифференциальных признаков в одновременной ("вертикальной") последовательности — в единовременных пучках, представляющих определенные фонемы. Одни признаки сочетаются друг с другом на оси одной временной плоскости, что проявляется в высокой системной и текстуальной частотности фонемы, в состав

* Ср. конвергентно-дивергентную теорию Е.Д. Поливанова.

которой входят эти признаки; другие признаки совмещаются в едином пучке ограниченнее, что проявляется в более низкой частотности фонемы, в состав которой входят данные дифференциальные признаки. К этому второму случаю относятся и пустые клетки — пробелы в парадигматической системе, которые можно рассматривать как случаи "трудной" сочетаемости признаков.

В этом смысле можно говорить о двух основных типах сочетаемости признаков: о "маркированной", или "рецессивной", и "немаркированной", или "доминантной". "Рецессивной" является сочетаемость признаков, характеризующаяся необычностью, редкостью, что проявляется в более низкой частотности фонемы, в состав которой входит данное сочетание признаков, и ее дистрибутивной ограниченностью. Подобная сочетаемость признаков, объясняемая их трудной совместимостью в одновременной последовательности, может вовсе отсутствовать в определенных языковых системах, что выражается в наличии пустых клеток-пробелов в парадигматической системе. "Доминантной" является сочетаемость признаков, характеризующаяся обычностью, естественностью, что проявляется в более высокой частотности и в большей дистрибутивной свободе фонемных единиц, в состав которых входят такие сочетающиеся друг с другом признаки. Подобная "естественная" сочетаемость признаков объяснима их свободной артикуляторной и акустической совместимостью в одновременной последовательности, в результате чего возникает более сильная в функциональном отношении фонема.

"Функционально сильные", стабильные пучки дифференциальных признаков (resp. фонемы), определяемые обычно как "немаркированные" в противопоставление "маркированным", "функционально слабым" и нестабильным пучкам признаков (resp. фонемам), переименованы тут в "доминантные" пучки в противовес "рецессивным". Такое переформулирование иерархического отношения "маркированности" в отношении парадигматической "доминации" с соответствующими "доминантным" и "рецессивным" членами оппозиции представляется целесообразным ввиду многозначности традиционных терминов "маркированный/немаркированный", все еще употребляемых в их первоначальном смысле для обозначения соответственно "признакового (merkmalhaltig)/беспризнакового (merkmallos)" членов отношения. Термины "доминантный/рецессивный" заимствуются из современной молекулярной биологии, для которой характерно, как известно, широкое применение лингвистических терминов при определении понятий генетического кода [Gamkrelidze, 1979, 283—240].

Наличие иерархических зависимостей в системе между отдельными фонологическими единицами — пучками дифференциальных признаков, сказывающееся в отношениях "доминации", свидетельствует о существовании в языковой системе строгой стратификации фонологических ценностей.

В соответствии с такими универсально значимыми соотношениями и происходят диахронические фонемные преобразования в языке. Целый ряд диахронических фонемных изменений в системе,

кажущихся на первый взгляд разрозненными и не связанными друг с другом, может быть осмыслен как взаимозависимые, взаимообусловленные преобразования, регулируемые подобной иерархией фонологических значимостей. В частности, выявляемая доминантность переднего ряда звонких смычных и фрикативных по сравнению с задним рядом и, наоборот, доминантность заднего ряда незвонких смычных и фрикативных по сравнению с передним, общая доминантность смычных согласных по отношению к соответствующим фрикативным и т.д. позволяют определить последовательность фонемных изменений в конкретных языковых системах и установить универсально значимые модели диахронических фонемных преобразований.

Универсально значимая иерархия фонологических единиц предполагает, как было отмечено выше, наличие фонем и с низкой частотностью, доходящей до нуля (пустые клетки в системе). Эти парадигматические закономерности системы должны постоянно учитываться как при синхронном описании языка, так и в языковой диахронии, в частности при реконструкции языковых систем. Наличие пустой клетки с точки зрения теории доминации не является аномалией и, следовательно, при отсутствии данных внешнего сравнения не предопределяет необходимости ее заполнения при внутренней реконструкции древнего состояния языка, как это часто практикуется в диахронической лингвистике (ср. случаи с заполнением так называемых "cases vides" у Мартине).

Другой основной предпосылкой сравнительно-генетического языкознания является тезис о "произвольности" языкового знака. Хотя "произвольность" языкового знака следует трактовать несколько иначе, чем это представлено у Соссюра, и можно утверждать в свете "принципа дополненности" о мотивированности связи между означаемым и означающим на уровне "горизонтальных отношений", однако "вертикальные" отношения между означаемым и означающим можно считать "произвольными" в смысле Соссюра, и на этом принципе строится по существу вся система сравнительно-исторического языкознания [ср.: Гамкрелидзе, 1972, 33—39; Gamkrelidze, 1974, 102—110].

При обнаружении формально-смыслового сходства между двумя или несколькими языками, т.е. сходства в двух планах одновременно, как означающих, так и означаемых знаков этих языков, естественно встает вопрос о причинах возникновения такого сходства в знаках различных языков. Исходя из тезиса об ограниченной (в указанном выше смысле) произвольности знака, такое формально-смысловое совпадение знаков различных языков (т.е. фонетическое сходство двух или более знаков при их смысловой близости или тождестве) можно было бы истолковать как факт случайного совпадения двух или более знаков различных языков. Вполне возможно допустить, что по совершенно случайным факторам комбинаторики совпали в двух или даже более языках несколько слов, схожих по фонетическому звучанию и по значению. Можно даже вычислить с некоторым приближением вероят-

ность случайного совпадения в двух или более языках двух или более совпадающих или сходных слов определенной длины. Вероятность гипотезы о случайном совпадении для объяснения такого сходства будет уменьшаться в соответствии с увеличением количества языков, в которых обнаруживаются такие сходные знаки, и в еще большей степени с увеличением количества знаков в этих языках, обнаруживающих такие сходства или совпадения.

Другой более вероятной гипотезой для объяснения подобных совпадений в соответствующих знаках двух или более языков должно считаться объяснение этого сходства историческими контактами между языками и заимствованием слов из одного языка в другой (или в несколько языков) либо в оба этих языка из третьего источника.

Но не все виды формально-семантического сходства знаков двух или более языков могут быть истолкованы как результат заимствования. Существует тип сходства между знаками различных языков, который выражается в наличии регулярных фонетических соотношений между сходными знаками; этот тип сходства не объясняется в общем случае заимствованием слов одних языков в другие. Сходство этого типа между знаками предполагает наличие таких звуковых соотношений между языками, при которых каждой фонеме /х/ языка А соответствует в формально-семантически сходном знаке языка В фонема /у/, в таком же знаке языка С — фонема /z/ и т.д. Такие звуковые соотношения между языками обнаруживаются обычно в группах слов и морфем, отражающих базисные понятия человеческой деятельности и среды. Последний вид сходства, обнаруживающий регулярные соотношения между звуковыми единицами рассматриваемых языков, нельзя удовлетворительно объяснить ни случайным совпадением слов различных языков в звучании и значении, ни тезисом о заимствовании слов из одного языка в другой или обоими этими языками из третьего. Единственным вероятным объяснением сходства этого типа в соотносимых знаках различных языков является допущение общего происхождения рассматриваемых языковых систем, т.е. их происхождение от какой-то общей исходной языковой системы, преобразовавшейся в различных направлениях. Такое объяснение фонемных соответствий между языками предполагает необходимость реконструкции этой системы с целью изучения возникновения и путей преобразования исторически засвидетельствованных родственных языковых систем.

Сравнение языков, ориентированное на установление закономерных фонемных соответствий, должно привести логически к реконструкции той языковой модели, преобразование которой в разных направлениях и дало нам исторически засвидетельствованные родственные языковые системы. Сравнение родственных языков, не имеющее целью реконструкцию праязыковой системы, не может считаться завершающим этапом исследования истории рассматриваемых языков. Бесписьменная история родственных языков восстанавливается лишь в том случае, если удастся свести к общим исход-

ным моделям все разнообразие исторически засвидетельствованных языковых структур. В таком случае удастся восстановить пути возникновения и развития этих систем, начиная с исходного состояния вплоть до исторически засвидетельствованных состояний.

Установление генетического родства языков ставит естественным образом вопрос о реконструкции исходной, так называемой праязыковой, системы и о ее лингвистических методах. Реконструкция праязыковой системы достигается путем сопоставления исторически засвидетельствованных родственных языковых систем и ретроспективного движения от одного языкового состояния к другому, более раннему. Ретроспективное движение должно продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто языковое состояние, из которого могут быть выведены все исторически засвидетельствованные родственные языковые системы при допущении определенного множества последовательных трансформаций, которые и определяют "диахроническую выводимость" системы. Подобные трансформации предполагают установление исходной языковой системы и более поздних языковых состояний, являющихся результатом ее структурных преобразований. С помощью таких диахронических трансформаций и постулируются исходные структурные модели.

По своей объяснительной силе диахронические трансформации, выводящие исторически засвидетельствованные формы языка из определенных теоретических конструкторов, которые считаются более ранними в хронологическом отношении ступенями этих форм (их "архетипами"), могут быть сопоставлены с "трансформациями" порождающей грамматики, выводящими наблюдаемые элементы поверхностной структуры из теоретически постулируемых базисных конструкций, составляющих глубинную структуру языка. Описание диахронических изменений языка через правила трансформации представляет собой в сущности последовательное перечисление дискретных шагов, каждый из которых отражает одно из синхронных состояний в развитии языка. Чем меньше хронологическое расстояние между такими "шагами", тем точнее и адекватнее описание развития языка, отражающее последовательные переходы трансформации, начиная с исходного состояния.

Постулирование исходной системы языка-основы представляет собой в то же самое время реконструкцию и восстановление предыстории и путей становления и развития исторически засвидетельствованных родственных языковых систем, начиная с исходного вплоть до документально фиксированного исторического состояния этих языков. Поэтому логическим завершением всякого сравнительно-исторического изучения языков и установления фонемно-структурных соотношений между ними следует считать реконструкцию их праязыкового состояния, отражающего общую для всех этих языков исходную языковую систему, и постулирование определенных правил преобразования, или трансформаций, позволяющих вывести исторически засвидетельствованные родственные системы из теоретически постулированной языковой модели. По меткому замечанию

Соссюра, генетическое сравнение языков "стерильно", если оно не приводит к реконструкции исходной языковой модели.

В зависимости от того, в какой форме постулируется система языка-основы, какие звуковые и грамматические структуры ей приписываются, и восстанавливается предыстория родственных языковых систем, реконструируются пути их становления и развития, начиная с их исходного общего состояния, отраженного системой языка-основы, вплоть до исторически фиксированных состояний.

Вместе с тем к постулируемой системе языка-основы следует предъявлять эмпирические требования типологической реальности, непротиворечивости и полноты. Под типологической реальностью и непротиворечивостью понимается такая совокупность языковых структур, которая не противоречит типологически устанавливаемым языковым закономерностям. Установлением синхронных универсальных языковых структур занимается одно из основных направлений в современной лингвистике — типологическая лингвистика и лингвистика универсалий. Тем самым на современном этапе развития лингвистической науки можно с высокой степенью вероятности судить о типологической реальности и непротиворечивости теоретически постулируемой исходной языковой системы. Критерий типологической реальности резко сужает круг теоретически возможных языковых систем, постулируемых в качестве исходной для систем исторически засвидетельствованных родственных языков. Действительно, реконструируемые лингвистические модели исходной языковой системы, если они претендуют на отражение реально существовавшего в пространстве и времени языка, должны находиться в полном соответствии с типологически выводимыми универсальными закономерностями языка, устанавливаемыми индуктивно или дедуктивно на основании сопоставления множества различных языковых структур.

Но критерий типологической непротиворечивости не является единственным эмпирическим мерилем реальности постулируемой исходной языковой системы. Не меньшее значение, чем соответствие системы синхронным типологическим данным, имеет при оценке реальности постулируемой системы соответствие ее диахронической типологии, т.е. типологическое соответствие допускаемых в такой системе правил структурных трансформаций моделям языковых изменений, устанавливаемым при изучении изменений и преобразований в структурах исторических языков самых различных типов. Установлением и изучением подобных универсальных моделей преобразований языковых структур и должна заниматься диахроническая типология, которая в противовес синхронной типологии интересуется преимущественно универсально значимыми схемами изменений и преобразований языковых структур во времени.

Таким образом, соответствие теоретически постулируемой системы языка-основы как синхронной типологии, так и типологии диахронической является тем основным критерием теоретически постулируемой системы, который позволяет оценить степень реаль-

ности системы и отдать предпочтение одной определенной системе среди теоретически возможных систем, постулируемых в качестве языка-основы для группы родственных языков. Типологическая верификация реконструируемых лингвистических моделей (как синхронная, так и диахроническая) становится, таким образом, одной из основных предпосылок постулирования исходных языковых структур, необходимой для проверки их вероятности и реальности.

По поводу методологических вопросов, связанных с применением типологических данных в лингвистических реконструкциях, важно особо отметить то, что типология должна выступать не как основа для реконструкции, против чего справедливо возражает ряд исследователей [Dunkel, 1981, 559—565], а как эмпирический индикатор для выбора конкретной реконструированной языковой структуры из нескольких возможных структур, получаемых путем сравнительной и внутренней реконструкции; она должна выступать как верифицирующий фактор для конкретной реконструкции, которой именно в силу этого отдается предпочтение перед другими возможными реконструкциями, не находящими типологического оправдания. В таком понимании типология выступает как бы в функции существенного эмпирического критерия для оценки предлагаемых реконструкций, которые должны основываться на сравнительно-генетическом анализе языковых фактов. Поэтому неоправданно называть этот метод "типологической реконструкцией" и противопоставлять его "сравнительной реконструкции", как это делает Дж. Дункель [там же, 568], легко "разделяющийся" со всей типологической проблематикой в диахронической лингвистике, что объясняется недостаточным пониманием автором соответствующей проблематики.

Принятие тезиса о реальности предлагаемых реконструкций, на необходимость чего указывал Р.О. Якобсон в своем ставшем классическим еще при жизни ученого докладе на VIII Международном конгрессе лингвистов в Осло в 1957 г., определяет целый ряд методологических принципов сравнительно-генетических лингвистических исследований, и в первую очередь их тесную связь с принципами лингвистической типологии. В этом смысле генетическая (сравнительно-историческая) лингвистика, т.е. лингвистика, устанавливающая родственные отношения между группами языков и дающая путем сравнения и сопоставления этих языковых структур реконструкции их исходных моделей, составляет в принципе единую дисциплину со структурно-типологической лингвистикой и лингвистикой универсалий.

Односторонность и ограниченность классического сравнительно-исторического индоевропейского языкознания заключалась в том, что реконструируемая модель общиндоевропейского языка являлась тут лишь результатом внешнего сравнения отдельных родственных систем и в некоторых теориях дополнялась внутренними реконструкциями на основании анализа определенного типа отношений в пределах одной системы. При этом не учитывалось эксплицитно лингвистическая вероятность полученной модели в смысле ее типологического соответствия потенциально возможным языковым структурам. Это привело в классическом индоевропейском языкознании к постулированию такой исходной языковой системы, которая, будучи в противоречии с синхронными типологическими данными, не может считаться лингвистически реальной.

В частности, при оценке традиционно постулируемой системы

общеиндоевропейского консонантизма с применением критерия эмпирической реальности языковой системы выясняется, что система консонантизма, принимаемая в классическом индоевропейском языкознании в качестве исходной для всех исторически засвидетельствованных индоевропейских языков, внутренне противоречива и не соответствует синхронной типологии языков. Более того, она противоречит универсальным языковым закономерностям, устанавливаемым в лингвистике универсалий. Следовательно, такая теоретически постулируемая лингвистическая модель не может считаться системой, отражающей реально существовавший язык, который преобразовался в дальнейшем в системы родственных индоевропейских языков. Соответственно не могут считаться реальными и те фонетические изменения и преобразования, которые допускались в классической индоевропейской сравнительной грамматике при объяснении и описании трансформаций исходной системы в исторически засвидетельствованные индоевропейские языки.

Уже с самого начала сравнительных штудий в области индоевропейских языков, т.е. фактически со времени основания сравнительно-исторического языкознания выдающимися представителями лингвистической науки XIX в., общеиндоевропейская система консонантизма, из которой выводились системы всех исторически засвидетельствованных индоевропейских языков, постулировалась в виде определенных фонемных рядов, совпадающих в основном с системой древнеиндийского — древнейшего представителя из известных в то время индоевропейских языков. Такая система общеиндоевропейского консонантизма (в частности, подсистема смычных фонем) с незначительными изменениями и уточнениями, внесенными в ходе дальнейших исследований, постулируется в современной индоевропейской компаративистике в виде трех фонемных серий, определяемых как: I звонкие ~ II звонкие придыхательные ~ III глухие. Из постулируемой в таком виде системы общеиндоевропейского консонантизма выводятся все исторически засвидетельствованные системы индоевропейских языков путем допущения определенных фонемных преобразований исходной системы, в результате которых должны были возникнуть конкретные индоевропейские языки с различными системами консонантизма.

Само собой разумеется, при подобном постулировании исходного общеиндоевропейского консонантизма, смоделированного в основном по образцу древнеиндийского, последний выступает как система, в которой исходный общеиндоевропейский консонантизм претерпел наименьшие преобразования. Незначительные преобразования допускаются при постулировании подобной общеиндоевропейской системы и для греческого и итальянского (оглушение и спирантизация серии II индоевропейских смычных), славянских языков и кельтского (дезаспирация серии II индоевропейских смычных). Самые значительные фонемные преобразования реконструируются при постулировании подобной исходной индоевропейской системы для германских языков и армянского, в которых предполагается так называемое передвижение согласных, т.е. сдвиг каждой из трех серий

общеевропейской системы на один шаг, один фонемный признак: серия I (звонкие (b), d, g) передвигается в глухие (p), t, k; серия II (звонкие придыхательные bh, dh, gh) передвигается в звонкие чистые b, d, g; серия III (глухие) передвигается в глухие придыхательные ph, th, kh, давшие в дальнейшем спиранты f, θ, х(h). Такое передвижение согласных в германских языках, известное в сравнительно-историческом языкознании под названием "закон Гримма", рассматривается традиционно как классический образец системных фонемных преобразований в языке и приводится обычно во всех учебных пособиях по лингвистике в качестве иллюстрации подобных преобразований.

Вся история формирования и развития конкретных индоевропейских языков (таких, как индоиранские, греческий, итальянские, славянские, германские и др.) строится в классическом индоевропейском языкознании в зависимости от характера и структуры постулируемой исходной общеевропейской системы. Весь огромный корпус языковых фактов и открытий, накопленный классическим сравнительным индоевропейским языкознанием на протяжении более чем 150-летнего существования, интерпретируется в диахроническом плане на фоне традиционно постулируемой исходной системы общеиндоевропейского консонантизма. Все без исключения сравнительные грамматики и сравнительные словари индоевропейских языков строились и строятся до самого последнего времени с учетом традиционно установленной системы общеиндоевропейского консонантизма. Постулируемая исходная система определяет, таким образом, самый характер предполагаемых фонемных преобразований, которые должны были привести к формированию исторических индоевропейских языков; она определяет весь ход доисторического фонетического развития этих языков. Для объяснения подобных доисторических фонетических процессов, которые должны были предположительно иметь место при таком допущении в конкретных индоевропейских диалектах, и были сформулированы в классическом индоевропейском языкознании так называемые фонетические законы: упомянутый ранее закон Гримма, а также закон Грассмана, закон Бартоломэ и др.

По значимости исходной языковой модели в системе сравнительно-исторической грамматики родственных языков такая модель сравнима с системой аксиом в логико-дедуктивной теории. В зависимости от характера и состава аксиом меняется основополагающаяся на них теория. Но если в отношении системы аксиом в логико-дедуктивной теории не ставится вопрос об истинности системы аксиом, об их соотношении с эмпирической реальностью, в отношении исходной языковой системы критерий реальности имеет существенное значение, поскольку он определяет степень вероятности постулируемой исходной языковой модели, долженствующей отражать языковую систему, некогда существовавшую в пространстве и времени и давшую начало конкретным исторически засвидетельствованным родственным языкам.

Методологически неоправданным представляется подход австрийского ученого Хайдера к проблеме соотношения типологии и праязыковой реконструкции в связи

с вопросом о праиндоевропейской системе смычных [Haider, 1983, 79—92]. Хайдер считает возможным в принципе приписать общиндоевропейской системе смычных отмечаемые типологические слабости, которые и явились якобы причиной фонологических изменений системы и превращения ее в "стабильные" системы исторически засвидетельствованных индоевропейских языков. Тезис Хайдера допускает возможность фонемных преобразований только в типологически "нестабильных" системах, что принципиально неверно (сами "стабильные", по Хайдеру, древние индоевропейские языки претерпевают в процессе исторического развития не менее существенные фонемные изменения). Если бы традиционно постулируемая праиндоевропейская система смычных была исторически засвидетельствованным языковым фактом, пришлось бы искать объяснений такой типологической исключительности и редкости данной языковой системы. Но поскольку в случае праиндоевропейской "языковой системы" мы имеем дело с языковой моделью, которую необходимо теоретически реконструировать в качестве исходной для исторически засвидетельствованных родственных языковых систем, то ее следует постулировать именно в виде структур, наименее уязвимых в отношении синхронной и диахронической типологии. Лишь такой подход к праязыковой реконструкции может соответствовать методологическим требованиям современной диахронической лингвистики. Рассматривая точку зрения Хайдера, мы имеем, очевидно, дело с наблюдаемым у некоторых исследователей стремлением "спасти" традиционную индоевропейскую систему смычных, которая сама по себе является лишь реконструированной языковой моделью, постулированной в результате теоретического осмысления соотношений исторически засвидетельствованных родственных языков, а не исторически засвидетельствованной системы индоевропейского праязыка, являющейся поэтому такой же гипотезой, как и любая другая. Представляется, что даже такой теоретический конструкт, как классическая система праиндоевропейского консонантизма, может быть пересмотрен с постулированием приемлемой в свете новейших данных альтернативной модели, если подобная процедура оправдана всем ходом развития сравнительно-исторических и типологических языковых штудий на современном этапе.

Приведение традиционно постулируемой системы консонантизма индоевропейского языка в соответствие с языковой типологией, как синхронной, так и диахронической, при полном учете данных сравнительного анализа исторически засвидетельствованных индоевропейских языков, заставляет полностью пересмотреть реконструируемую праиндоевропейскую систему и интерпретировать ее как модель с тремя фонемными сериями, противопоставляемыми как: I глоттализованная ~ II звонкая (придыхательная) ~ III глухая (придыхательная), но со звонкими и глухими смычными фонемами, проявившимися позиционно в форме аспирированных и соответствующих неаспирированных вариантов (см. табл. 2).

Таблица 2

Традиционная система			Репринтерпретированная система		
I	II	III	I	II	III
(b)	b ^h	p	(p')	b ^[h]	p ^[h]
d	d ^h	t	t'	d ^[h]	t ^[h]
g	g ^h	k	k'	g ^[h]	k ^[h]
ḡ	ḡ ^h	ḱ	ḱ'	ḡ ^[h]	ḱ ^[h]
g ^w	g ^{wh}	k ^w	k ^{yo}	g ^{[h]o}	k ^{[h]o}

При этом неправомерно считать, что постулируемая нами система праиндоевропейского консонантизма не различает противопоставления смычных по признаку "звонкости/глухости" [Erhart, 1984, 405]. Интер-

претация традиционных "звонких" в качестве "незвонких глоттализованных" вовсе не устраняет оппозицию по звонкости/глухости в системе индоевропейских смычных фонем, а преобразует ее, оставляя в качестве собственно звонких смычных серию II, противостоящую двум остальным, незвонким сериям.

В такой интерпретации трех серий общеиндоевропейских смычных получает естественное функционально-фонологическое объяснение целый ряд фактов языковой структуры, непонятных и типологически не объяснимых с точки зрения традиционной модели общеиндоевропейского консонантизма, как, например, отсутствие или слабая представленность звонкого лабиального *b в фонологической системе, отсутствие глухих придыхательных, ограничения, накладываемые на структуру корня и др.

Попытка оспаривать давно установленное в индоевропеистике положение об отсутствии или, во всяком случае, слабой представленности в праиндоевропейской системе смычных звонкого лабиального *b (точнее, той фонемы, которая в традиционной системе рассматривается как лабиальный член звонкой серии смычных), предпринимаемая рядом исследователей [Джаукян, 1982, 59—67], объясняется, как нам кажется, не вполне корректным пониманием некоторыми лингвистами [Erhart, 1984] связанной с праязыковой реконструкцией типологической проблематики. Вопрос касается не отсутствия в праиндоевропейском вообще звонких смычных фонем, в том числе и звонкой лабиальной смычной (такowymi в праиндоевропейской системе были, очевидно, так называемые звонкие придыхательные), а фонологической интерпретации в нашей системе той серии смычных, которая в классической индоевропейской теории восстанавливалась как "чистая звонкая серия".

В новой интерпретации общеиндоевропейская система смычных оказывается более близкой к системам, традиционно определявшимся как системы с "передвижением согласных" (в германских, армянском, хеттском), тогда как системы, считавшиеся в отношении консонантизма близко стоявшими в общеиндоевропейской системе (и в первую очередь древнеиндийская) оказываются результатом сложных фонемных преобразований исходной языковой системы. Таким образом возникает картина доисторического развития индоевропейских диалектов, прямо противоположная той, какая была принята в классическом индоевропейском языкознании. В зависимости от этого меняются и традиционно устанавливаемые "траектории" преобразования общеиндоевропейских смычных фонем, приобретающие при новой интерпретации общеиндоевропейской системы противоположную традиционной направленность. Соответственно переосмысляются и основные "фонетические законы" классического индоевропейского языкознания, такие, как закон Гримма, закон Грассмана, закон Бартоломэ и др., приобретающие в свете новой фонологической интерпретации индоевропейской системы смычных иное содержание [Гамкрелидзе, Иванов, 1972, 15—18; Gamkrelidze, 1981, 571—689].

Система этих новых взглядов на праиндоевропейский консонантизм стала именоваться в зарубежной науке "глоттальной теорией" и сравниваться по своей значимости для индоевропейской сравнительно-исторической фонологии с "ларингальной теорией" [Bomhard, 1979, 66—110].

Новая модель индоевропейского праязыка, в определенном смысле

новая индоевропейская "система отсчета", заставляет коренным образом пересмотреть всю систему постулатов классического индоевропейского языкознания и предложить соответственно новую картину возникновения и доисторического развития индоевропейских языков.

По этому поводу американский лингвист-индоевропеист Ф. Больди отмечал: «Ясно, что глоттальная теория представляет собой новую парадигму в индоевропейском языкознании, сравнимую по масштабам с ларингальной теорией, и принятие этой теории приведет к необходимости полного пересмотра всех основ индоевропейского языкознания... Тот факт, что это потребует радикальной переработки всех словарей и руководств, так же как и отмены таких освященных временем общепринятых положений, как "закон Гримма" и армянское передвижение согласных, не может служить оправданием для того, чтобы от этой теории отказаться» [Baldi, 1981, 52—53].

Все эти проблемы, связанные с общим прогрессом типологических и сравнительно-исторических штудий и в соответствии с этим с методологическим переосмыслением процедуры праязыковой реконструкции, заставляют пересмотреть традиционные схемы классической индоевропейской компаративистики и предложить новые сравнительно-исторические построения, в сущности новую систему сравнительно-исторической грамматики индоевропейских языков.

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Разграничение реконструкции и формулы, предлагавшееся Э. Херманом [Hermann, 1907, 20, 62], не встретило поддержки среди индоевропеистов (впрочем, ср.: [Макаев, 1960, 148—149]). Неприятие предложения Хермана было в известной мере мотивировано его техническим неудобством: необходимостью переписать сравнительно-историческую грамматику индоевропейских языков в двойной системе постулируемых единиц — формул и реконструкций.

Однако в разграничении формулы и реконструкции кроется не просто попытка усовершенствовать технику записи: идея Хермана касалась самих оснований теории сравнения и реконструкции. Это была попытка компромиссного и рационального решения конфликта между двумя воззрениями на реконструируемые формы — наивного реализма, идущего от А. Шлейхера, верившего в возможность реконструкции реального языка-предка, и формалистического скептицизма, возобладавшего к концу XIX в. и нашедшего выражение, например, в теоретической позиции Б. Дельбрюка, для которого реконструируемые формы — не более чем отражение разнообразных и изменчивых взглядов исследователей на объем и характер устанавливаемых сходств между языками [Дельбрюк, 1904, 57]. И коль скоро единственная реальность в компаративистике — это соответствия, а праязык есть не что иное, как совокупность этих

соответствий [Мейе, 1938, 73, 81], то вопрос о различении формулы и реконструкции вообще оказывается неуместным.

Суть же разграничения указанных понятий состоит в двояком разграничении: 1) фиксируемых (засвидетельствованных) и выводимых (конструируемых) форм, а среди выводимых (астерисковых, *sternliche*, *starred*) — 2) форм, соотносимых с *пространственной* проекцией засвидетельствованных фактов (выражающейся в системе "горизонтальных" соответствий), и форм, соотносимых с *временной* проекцией засвидетельствованных фактов и установленных соответствий (выражающейся в системе "вертикальных" соответствий, т.е. отношений между архетипами и рефлексам). Именно формы последнего типа должны, по Херману, получать статус реконструкций, тогда как формы первого типа называются формулами в том смысле, что они служат лишь обозначением звуковых соответствий между отдельными языками [Hermann, 1907, 15]. Очевидно, что реконструкция — построение более высокого ранга, чем формула, образующая лишь первый этап конструктивной деятельности компаративиста. И хотя несомненно, что в рамках сравнительно-исторического подхода "пространственное распределение языковых феноменов диагностирует их временную развертку, их генезис" [Мартынов, 1983, 5], автоматическое обращение пространственных соотношений (формул) во временные (реконструкции) невозможно, если не отказывать праязыку в статусе "нормального" языкового состояния.

Идея Э. Хермана, канув почти бесследно в истории индоевропеистики, нашла, однако, эксплицитное выражение и развитие в фундаментальном исследовании крупнейшего бантуиста М. Гасри "Comparative Bantu" [Guthrie, 1967—1971]. Сущность предлагаемой модели сравнительной бантуистики М. Гасри изложил несколько раньше [Guthrie, 1962], и хотя у него нет ссылок на работу Э. Хермана, совпадение их подходов к проблемам реконструкции создает впечатление прямой преемственности.

Критикуя реконструкцию Ur-Bantu Мейнхофа, Гасри упрекает его в гипертрофировании принципа "обратной связи": формы засвидетельствованные и формы выводимые трактуются как одинаково реальные, и даже само установление и оценка соответствий делаются с опорой на "свидетельство" праязыка, как если бы он был системой, подлинно существующей, а не сконструированной на основе предварительных соответствий, не охватывающих всего материала языков банту.

Идея же М. Гасри состоит в четком разграничении двух последовательных этапов, каждый из которых имеет конечной целью совокупность выводимых форм, но первый этап связан с конструированием "общекбантуского состояния" (Common Bantu), а второй — с собственно реконструкцией протоязыка (Proto-Bantu). Первый этап включает две процедуры: 1) аранжировку засвидетельствованных фактов, что дает набор компаративных серий (ряды соответствий); 2) установление астерисковых форм (*starred forms*) как символического выражения регулярных соответствий, содержащихся в компаративных сериях. Называя этот способ представления регулярных

соответствий формульным, Гасри отмечает: "Такая процедура вполне пригодна для первого этапа исследования, поскольку она никоим образом не предполагает реконструкции некой гипотетической единицы, из которой могли бы произойти единицы серий" [Guthrie, 1962, 12]. Совокупность формульных выражений и образует "общеконтинентальное состояние", которое, следовательно, предстает не как историческое, а как синхронно-статистическое понятие, строго отличающееся от протоязыка, реконструируемого на основе выведенных формул компаративных серий.

Необходимость эксплицировать в сравнительной бантуистике то, что в индоевропейском языкознании остается как бы "за кадром", объясняется разными причинами. Во-первых, количественной несоизмеримостью идиомов, подлежащих сравнению в том и другом случае: число только языков банту на порядок выше, чем индоевропейских, и счет идет не на десятки, а на сотни, а между тем таксономический ранг банту в генеалогической классификации соответствует примерно рангу иранских или славянских языков, так что на уровне более широкого сравнения мы оказываемся перед огромной массой языков и диалектов, значительная часть которых известна лишь по отрывочным данным. Такая компаративная ситуация сопоставима разве что с ситуацией в тихоокеанском ареале. Во-вторых, в небогатой практике сравнительных исследований в африканистике изначально господствовал комбинированный подход, сочетавший сравнение по канонам младограмматиков с типологическим, и языковая классификация и реконструкция опирались в равной мере на данные обоих видов сравнения [подробнее см.: Порхомовский, 1982, 200—208].

Соотношение типологии и компаративистики вообще рассматривается в лингвистике по-разному. Одна точка зрения, связываемая обычно с именем Р.О. Якобсона [1963], состоит в понимании роли типологии как верифицирующей инстанции, позволяющей выбрать наиболее правдоподобную гипотезу относительно протоязыковых состояний и диахронических преобразований. По существу такая точка зрения восходит к идее А. Мейе о необходимости некоторой общей доктрины, которая определяла бы возможные пути развития языковых единиц и категорий; Мейе назвал ее общей исторической лингвистикой, представляющей собой теорию возможностей [Meillet, 1924, 311—312]. Подобное понимание взаимоотношения типологии и компаративистики является наиболее распространенным; представление о роли типологии не меняется и в том случае, когда утверждается, что "генетическая (сравнительно-историческая) лингвистика... составляет в принципе единую дисциплину со структурно-типологической лингвистикой" [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, т. 1, LXXXI; ср.: Гамкрелидзе, 1977, 197].

Другое понимание связи типологии с компаративистикой определяется тезисом Э. Бенвениста: "Всякая генеалогическая классификация, когда она констатирует родство между какими-либо языками и устанавливает степень этого родства, определяет некоторый общий для них тип... Отсюда следует, что генеалогическая клас-

сификация является в то же время и типологической” [Бенвенист, 1963, 45—46]. Эти слова не следует, конечно, понимать превратно, полагая, что речь идет о растворении типологии в генетической лингвистике или тем более наоборот. Речь идет лишь об актуальности изучения изменений типа языка во времени при сохранении его генетической принадлежности. Этот аспект исследования покрывает ту проблематику, с которой соотносится обычно представление о предмете исторической типологии [ср.: Гухман, 1981, 14]. Необходимой составной частью этой лингвистической дисциплины является реконструкция языкового типа, которая, как всякая реконструкция, предполагает предварительное установление соответствий, так что разграничение двух этапов сравнительного исследования — этапа формул и этапа архетипов — имеет смысл и в рамках типологической реконструкции.

Общие контуры типологической реконструкции обсуждались Г.А. Климовым, указавшим на относительность разграничения типологических и генетических реконструкций в единой реконструкционной процедуре [Климов, 1980, 7]. Его подход, однако, отличен от “интегрального” подхода Х. Бирнбаума, ведущего к признанию генетической реконструкции частным и более специальным случаем типологической [ср.: Birnbaum, 1970, 60—61; 1975, 6].

Если встать на точку зрения П. Кипарского, определяющего метод как алгоритм выведения следствий из наблюдаемых фактов, то остается признать, что в этом смысле “никакого метода реконструкции в действительности не существует” и что “единственный ‘метод’ — это выдвижение исторических гипотез о конкретных языках на основе того, как вообще, согласно нашим знаниям, языки могут изменяться” [Kiparsky, 1973, 116]. При таком подходе точные границы между генетической и типологической реконструкцией становятся весьма зыбкими, а между тем имеются некоторые общие принципы, различающие две процедуры.

Прежде всего различия касаются характера базисных единиц реконструкции — формул, т.е. синхронически формулируемых соответствий. Поскольку в типологии можно оперировать единицами языка как односторонними сущностями (т.е. проводить сравнение только формальной или только содержательной стороны языка), постольку здесь одинаково релевантны отношения корреспонденции, имеющие вид xRy и, скажем, $xR\emptyset$, т.е. нулевой корреспондент некоторой языковой сущности x столь же существен, что и ненулевой корреспондент y . Сравнительно-историческому подходу также известны подобные соответствия “единица — нуль”, однако в отличие от типологии здесь такие “нуль-соответствия” имеют смысл лишь в той мере, в какой отсутствие какой-либо сущности в том или ином языке трактуется как ее исчезновение (и тогда x в формуле $xR\emptyset$ будет интерпретироваться как сохранение, или архаизм), либо, если нельзя доказать его исконность, x интерпретируется как инновация, а $\emptyset$ — как архаизм. В любом случае “нуль-соответствие” должно получить в генетической процедуре ясную диахроническую квалификацию, что не обязательно в типологии.

По мнению П. Кипарского, нет никакого особого временного порядка, которого следует придерживаться при указании исторических этапов, образующих звенья предполагаемой цепи развития, как нет никакого особого порядка при оперировании наличными данными [Kiparsky, 1973, 116]. В рамках генеративного подхода, одним из теоретиков которого является сам Кипарский, априорная неупорядоченность материала и его "вертикальной" проекции должна по необходимости компенсироваться строгой упорядоченностью правил порождения рефлекса из архетипа. При этом именно вид правил и их последовательность становятся главным предметом диахронической лингвистики, оттесняя на второй план реальные категории и единицы языка. Между тем все более осознаваемая в компаративистике соотносительность "горизонтальной" (пространственной) и "вертикальной" (временной) проекций языковых фактов делает оправданным стремление к неслучайному их ранжированию, в связи с чем можно упомянуть о предложении Р. Катичича представлять соответствия как векторы, что придает им характер особых единиц, составленных из языковых единиц, которые расположены в определенном порядке [Katičić, 1970, 77—78].

Сказанное в равной мере можно отнести к области типологического сравнения. Для современной типологии характерно стремление к таким построениям, в которых "можно наблюдать, что синхронная типологическая классификация является просто срезом диахронического цикла, в котором разные языки застигнуты на разных стадиях их развития" [Ли, Томпсон, 1982, 230]. Подобные устремления отражают перемещение интереса от статической типологии к пропагандируемой Гринбергом динамической типологии.

Дж. Гринберг указывает четыре способа диахронизации типологии: 1) динамические модели "состояние — процесс", охватывающие в потенции все языки и представляющие синхронические классы некоторой типологии как состояния, связанные отношениями амбинаправленного перехода; 2) динамические субтипологии, построенные на маркированных категориях и реконструирующие весь "жизненный цикл" некоторого типа — от его возникновения до исчезновения (например, историческая динамика трехродовой системы); 3) интрагенетическое сравнение, т.е. типология диахронических сдвигов в группах родственных языков; 4) интергенетическое сравнение, предполагающее верификацию реконструкций не в плане типологической достоверности протосистемы как статической сущности, а в плане достоверности динамической последовательности типов, постулируемой реконструкцией. Все эти аспекты сравнения, по мнению Гринберга, отражают применение сравнительно-исторического метода на более высоком уровне [Greenberg, 1973, 186—189].

Что касается интергенетического сравнения, элементы которого находим, например, у Е. Куриловича (ср. хотя бы его замечания о параллелизме между индоевропейским и семитским в трактовке отношения "женский род — абстрактность" в истории имени [Kurylowicz, 1964₂, 211]), то оно нашло основательное применение в фундаментальном труде Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Иванова [1984].

В связи же с аспектом интрагенетической типологии (а такие исследования также ведутся) отметим один существенный вопрос: правомерно ли историко-типологическое исследование предположительно родственных языков раньше и независимо от генетического и в какой мере его результаты (и в первую очередь типологическая реконструкция) дают основания для выводов генетического порядка? Вопрос этот может показаться праздным применительно к группам языков с достаточно известной родословной. Но нередко исследователь оказывается в ситуации не столь определенной, и ответ на поставленный вопрос приобретает принципиальное значение. Это происходит в тех случаях (отнюдь не единичных), когда: а) типологическое сходство является очевидным и всеохватывающим, чего нельзя сказать о генетических соответствиях, и б) генетическая близость весьма вероятна, но генетическая реконструкция затруднена в силу недостаточной изученности соответствующих ареалов, в то время как для типологической реконструкции (хотя бы частичной) основания имеются.

С ситуацией типа "а" мы сталкиваемся в ареале алтайских языков, само выделение которых, по мнению Дж. Крюгера, мотивировано прежде всего типологическими соображениями, в связи с чем он возражает против употребления термина "алтайская семья" в пользу термина "фила" [Krueger, 1973, 575]. В этом ареале наблюдается почти полная противоположность тому, что традиционно составляет базис реконструкции, а именно: вместо значительного числа лексических соответствий и регулярных фонетических переходов при некотором типологическом изоморфизме мы находим разительное единообразие по языкам типологических характеристик при скромном объеме общеалтайских лексических и фонетических соответствий [там же, 577—578]. Несомненно, что в подобных случаях типологическая реконструкция не только правомерна, но и генетически значима. Для алтайских языков их типологическая сводимость имеет первостепенное значение именно потому, что им присущи генетические сходства, и они являются территориально смежными (хотя бы по типу цепочечной связанности).

Нечто подобное можно наблюдать на Африканском континенте, и один из примеров типологического сравнения, ориентированного на генетическую классификацию, дает история бантуистики: единообразие в строе языков банту было настолько очевидным, что, учитывая континуумное распределение этих языков, естественно было считать их родственными. Генетическое сравнение впоследствии показало, что в плане лексических соответствий только незначительная часть компаративных серий Гасри имеет высший индекс дисперсии, т.е. восходит к единым протобантуским архетипам, большая же часть отражает волновой (в смысле И. Шмидта) принцип генетических связей и региональные инновации [Guthrie, 1967—1971].

Гораздо типичнее для Африки, однако, компаративная ситуация, обозначенная выше как случай "б". Множество более или менее крупных группировок связано отношением предполагаемого родства в рамках очерченных Гринбергом макросемей, например конго-

кордофанской. Это означает, что имеющиеся лексические соответствия (между банту и бане, между бантоидными и джукуноидными, между бенуэ-конголезскими и гур и т.д.) не являются случайными, но вместе с тем на нынешнем уровне знаний даже реконструкция промежуточных региональных праязыков остается весьма проблематичной. В этой ситуации большую долю потенциально генетической информации способны нести типологическое сравнение и типологическая реконструкция. И вполне естественно, что, чем меньше надежных генетических данных, тем большую роль играют вероятностные обоснования, о которых писал Б.А. Серебренников [1974, 49].

В связи с вопросами типологической реконструкции особое внимание привлекают два первых метода, указанных Гринбергом. Нетрудно заметить, что формулировки обоих методов так или иначе опираются на понятия типа и класса и что принципиальной разницы между этими понятиями не замечается. Между тем едва ли между ними можно ставить знак равенства. Прежде всего, класс в типологии — понятие операциональное, причем типологические классификации, строящиеся на структурных признаках, являются одноплоскостными, т.е. не таксономическими: в них отсутствует иерархичность. Напротив, с понятием типа естественно соотносить онтологические представления об объекте исследования, и именно типы целесообразно трактовать как состояния при динамическом подходе в соответствии с моделью Гринберга "состояние — процесс".

В самом общем плане языковой тип, согласно удачному определению В.Н. Ярцевой, "представляет собой определенную форму организации понятийного содержания языка" [Ярцева, 1980, 43]. Тип как лингвистическое построение имеет иерархическую структуру, т.е. в нем выделяются доминантные (типообразующие) и имплицитные признаки. Изучение эволюции целостных типов — центральная задача исторической типологии. И в этой связи, возвращаясь к цитированному выше высказыванию американских исследователей, можно сказать, что реконструкция диахронического цикла из синхронической классификации даст интересные результаты именно в том случае, если предметом рассмотрения будут не отдельные структурные черты, а многомерные лингвистические типы. Исследование Ч.Н. Ли и С.А. Томпсон [1982] базировалось на достаточно емких синтаксических типах, различающихся характером представленности в языке подлежащего и топика, и благодаря этому авторам удалось сделать важный вывод диахронического порядка. Обнаруженная ими цикличность в развитии этих типов представляет собой важный факт исторической типологии, логично объяснимый: "общее количество морфологических и синтаксических типов, а также способов грамматического выражения в языках мира ограничено. На протяжении истории языков может наблюдаться неоднократное чередование и повторение одинаковых типов" [Серебренников, 1974, 43].

Лингвистический тип может охватывать язык в целом, но может моделировать лишь отдельный уровень языка или отдельную кате-

горию, однако в любом случае понятие типа будет действенным только при условии его семантической насыщенности, чисто формальные типы имеют для типологии заведомо меньший вес, чем контентивные. В принципе чем выше ранг типа, тем меньше количество таких типов и тем естественнее реконструируется их эволюция в виде циклического движения. При этом целостный тип, при прочих равных условиях, изменяется медленнее, чем частный тип. Чем более дробной становится классификация структурных типов, тем, видимо, труднее вскрыть основные линии их эволюции и тем неочевидней будет общий принцип цикличности, присущий языковому развитию. Разумеется, возможны отклонения и в ту, и в другую сторону.

Так, в рамках одномерной типологии по признаку ринезма, делящему языки на два класса — имеющие носовые гласные и не имеющие их, можно проследить цикличность эволюции данной фонологической категории, описываемую формулой: $VN \rightarrow \tilde{V} \rightarrow VN$. Например, польский язык унаследовал от праславянского носовые гласные /ě/ и /ǫ/ (орфографически соответственно *ę* и *ą*), возникшие на месте индоевропейских сочетаний V+N перед согласными, и в целом они сохраняются как фонемы, хотя их представленность и реализация по диалектам различны [Толстая, 1966]. Однако на примере разговорной речи носителей литературного языка можно заметить отчетливую тенденцию к замене /ě/ сочетанием [en], [em] перед смычными (включая аффрикаты) и простым [e] в конце слова (в падежных и личных окончаниях), тогда как перед щелевыми согласными [ɛ] обычно сохраняется. Фонема же [ǫ] отличается большей устойчивостью, сохраняя назальную реализацию перед щелевыми и в конце слова, но заменяя ее сочетанием [on], [om] перед смычными. Поэтому можно слышать, например, *pięć* [p'ɛnć] 'пять' — *kupię* [kup'e] 'куплю' — *gęsty* [gęsty] 'густой', *piąty* [p'onty] 'пятый' — *kupią* [kup'ǫ] 'купят' — *gąszcz* [gǫšć] 'чаща'. Подобные примеры свидетельствуют о текущем процессе дефонологизации назальных гласных (как отмечает С. Роспонд, есть категории интеллигенции, уже целиком не различающей носовых и простых, особенно в Кракове и Познани [Rospond, 1973, 86]), т.е. можно говорить о процессе регенерации доназального состояния; такая цикличность в истории польского ринезма ("возврат к старому, к сочетаниям, из которых родились носовые гласные") комментировалась еще в магистерской диссертации И.А. Бодуэна де Куртенэ [1870, 85]. Этот процесс, однако, не приводит к точному восстановлению предшествующей модели, так как наблюдаются нециклические изменения $\tilde{V} \rightarrow V$ ($\tilde{e} \rightarrow [e]$) и $\tilde{V} \rightarrow V_{\text{ц}}$ ($\tilde{a} \rightarrow [ou]$) типа *drogą* → [drogou] 'дорогой'. Диалекты же, отражая все возможные реализации сочетания "гласный + носовой согласный", представляют собой как бы слепок различных этапов исторического процесса зарождения и устранения вокалической корреляции назализации.

Стремление оперировать при типологической реконструкции более емкими типами объясняется тем несомненным фактом, что именно категориальный строй языка являет собой наиболее благоприятное

поле применения типологического подхода, ориентированного на диахронию. Нельзя не согласиться с Г.А. Климовым в том, что "адекватность типологической реконструкции останется недостижимым идеалом без строгого учета иерархических отношений, характеризующих разноуровневые факты языка", и что "логическая зависимость одних структурных явлений от других должна, по всей вероятности, означать и их историческую производность" [Климов, 1980, 9].

Вместе с тем следует, видимо, допустить возможность опережающего развития некоторых типологических черт, которые впоследствии могут стать отличительными признаками нового типа, но сами по себе не являются типобразующими, а относятся к имплицитному. Иначе говоря, в рамках существующего типа могут складываться иерархически вторичные признаки нового типа до того, как разовьются его первичные, определяющие признаки. Такой феномен опережающего развития сопутствующих типовых черт может быть обусловлен принципом цикличности, начавшим действовать раньше на более низком уровне типовой иерархии. Ограничимся одним примером из области русской морфемии (в том ее понимании, как она определена В.В. Лопатиным [1977, 4—5]), а говоря точнее — словообразовательной морфемии.

Как показало специальное обследование русского языка, "наиболее общей тенденцией развития современной словообразовательной системы, которая обнаруживается во многих частных процессах, является рост агглютинативных черт в семантике и структуре производного слова" [Словообразование... 1968, 9—10]. Хотя из двух стихий языка — парадигматики и синтагматики — каждая может стать источником новой тенденции, в рассматриваемом случае естественнее видеть источник агглютинативной тенденции именно в парадигматике, т.е. полагать, что изменение в способе означивания служебных морфем ("парадигматическая" агглютинация, противопоставляемая флексивности) повлекло за собой изменение в технике соединения морфем ("синтагматическая" агглютинация, противопоставляемая фузии). Иными словами, отмеченное русистами устранение многозначности словообразовательных морфем, способствующее увеличению регулярности словообразовательных типов, служит парадигматической основой агглютинативной тенденции, которая синтагматически выражается в ослаблении фузии — в устранении или фонологическом переосмыслении чередований, затемняющих морфемные стыки и опознавание морфем [Фонетика..., 1968, 100].

Примечательно в этой антифузионной тенденции то, что она из сферы словообразования, где она мотивирована парадигматически, проникает в сферу словоизменения, где парадигматической поддержки ей пока нет, так как словоизменительная морфемика в плане соотношения формы и содержания остается верной принципу флексивности. Примером действия указанной тенденции в сфере словоизменения служит фонетизация заударного вокализма флексий, т.е. фонетически единообразная реализация омонимичных именных и глагольных окончаний [там же, 42—56]. Это лишь первый шаг на пути

агглютинизации русской словоформы (и второго шага в принципе может и не произойти), но любопытно, что шаг этот делается не "сверху" (в сфере категорематики), а "снизу" — в сфере морфонемики, т.е. на заведомо подчиненных уровнях структурно-типовой иерархии. В связи с этим нельзя не упомянуть еще об одном явлении, не нашедшем пока объяснения и проявляющемся еще "ниже" — на уровне слоговой структуры русского слова.

Речь идет о своеобразной гармонизации безударных слогов, состоящей в прогрессивной ассимиляции по разным тембровым типам — [у], [а], [ы], [и]; это явление (например, [мужу́к'й], [сѣ́хар'й], [мыжык'й], [б'ис'иком] и т.п.) свойственно как диалектам, так и литературному языку [Пауфошима, 1983, 44—45]. Известно, что в языках агглютинация нередко сопровождается сингармонизацией слова (словоформы), и в этом естественно видеть своеобразную компенсацию рыхлости морфемных стыков, характерной для агглютинативности; в тех случаях, когда по крайней мере служебные морфемы являются преимущественно односложными, слоготактика слова становится одновременно фактом его морфотактики. Отмеченные примеры гармонизации слогов в русском языке не связаны явным образом с морфотактикой, поскольку русская морфемика в целом остается пока флективно-фузионной, хотя наметившаяся тенденция к ослаблению фузии и к усилению агглютинации ведет к более рыхлой морфемной структуре слова. И тогда получается, что межслоговая гармонизация, будучи в общем плане имплицуруемой чертой агглютинативного строя, в данном случае как бы предвосхищает сдвиг русской морфемики в сторону агглютинации. Это ли не пример опережающего развития вторичных черт языкового типа, когда его доминирующие черты (или по крайней мере иерархически более высокие) только зарождаются?

Не углубляясь более в этот интересный вопрос, заслуживающий специального исследования, отметим только, что факт гармонизации именно безударных слогов кажется весьма знаменательным в свете данных экспериментальной фонетики. Замечено, что степень артикуляционной спаянности ("слитное, не расчлененное строго на гласный и согласный произношение") существенно выше в безударных слогах, чем в ударных [Бондарко, Вербицкая, Зиндер, 1966, 63]. По-видимому, этот факт можно интерпретировать типологически как сосуществование в структуре русского фонетического слова альтернативных типовых моделей — фонемной в ударном слоге и силлабемной в безударных слогах. Поскольку редукция гласных (в рамках которой и наблюдается явление силлабемности) — инновация русского языка, резонно предположить циклическое движение фонологического типа: "фонемный строй → силлабемный строй → фонемный строй → (частично) силлабемный строй", охватывающее временной диапазон от раннего праславянского до современного русского. На нынешнем этапе элементы силлабемного строя оказались созвучными с начавшимся в русской морфемике процессом агглютинизации.

Завершая неполный анализ этих явлений, надо сказать, что и

сама тенденция к агглютинации могла бы рассматриваться как факт опережающего развития иерархически подчиненных черт, если полагать вслед за Т. Феннеманом, что традиционные морфологические типы связаны с более высоким рангом иерархии — гринберговскими типами словопорядка [Гринберг, 1970], совершая вместе с ними циклическое движение, в котором агглютинация обычно соотнесена с типом SOV (в обозначении Феннемана — SXV) [Venemann, 1974, 371], который пока никак нельзя считать доминирующим в русском языке. Идет ли уже русский язык по пути преобразования SVO→SOV, предстоит еще выяснить. Но можно полагать, что синтаксические типы более инерционны, чем морфологические, и это различие имеет определенное значение для типологической реконструкции, в которой категорематический подход завоевывает все большие права.

Категориальная реконструкция актуальна прежде всего для грамматики, и второй из указанных Гринбергом методов (см. выше) нацелен преимущественно на грамматические категории. Эффективность типологической процедуры — как синхронической, так и диахронической — во многом зависит от способа представления компаративного материала.

Применительно к обобщенным понятийным категориям, составляющим фундамент категориальной системы языка (трактуемой как система функционально-семантических полей [ср.: Бондарко, 1983, 52—53]), допустимо, например, расположение их семантических характеристик в порядке возрастания грамматикализованности. Этот прием построения компаративных формул естественно вытекает из положения, сформулированного Е. Куриловичем: "...одной из самых важных предварительных операций, необходимых для внутренней реконструкции, является правильная оценка распределения первичной и вторичной функций. Иерархия функций внутри некоторой семантической зоны носит панхронический характер... Чем более грамматичной (то есть более общей) является данная категория, тем менее дифференцированы ее вторичные функции и тем проще установить семантическое расщепление и относительную хронологию" [Курилович, 1965, 428].

Различие между первичными и вторичными функциями — это по существу различие между контекстно-свободными и контекстно-связанными категориальными значениями (при широком понимании контекста, т.е. не только как внешнего окружения языковой единицы, но и как ее "внутреннего" контекста, создаваемого для категориальных значений данной единицы ее общим лексическим значением). Под категориальным значением следует при этом понимать некоторое обобщенное значение, обладающее определенной степенью регулярности, т.е. присущее в качестве семантической константы более чем одной лексеме. При таком понимании категориального значения очевидно, что признаком категориальности могут обладать не только грамматические, но и лексические значения (например, "предметность", "абстрактность", "димиинутивность" и т.д.). Очевидно также, что формулы, отражающие семантический спектр

категории, связывают лексическую и грамматическую семантику, причем структура формулы будет в принципе одинакова и для семантического представления категории в отдельном языке, и для представления ее в плане межъязыковых типологических соответствий. Формулы такого рода указывают на семантические категориальные соответствия (признаковые соотношения) и не несут обязательного указания на последовательность формальной диахронической деривации. Вместе с тем эти формулы должны строиться с таким расчетом, чтобы, оставаясь семантическими по характеру, они допускали в перспективе возможность их диахронической векторизации.

В исторической типологии уже установлен ряд векторных формул, выведенных на основании синхронно-типологических соотношений и моделирующих эволюцию грамматических категорий; пример такой формулы — "собирательность → мн. число". Здесь, однако, учтены не все категориальные значения. Уместно привести комментарий Е. Куриловича к истории категории числа: "Вторичной функцией плюралиса является его использование в *собирательном* значении. Но плюралис в то же время есть результат *грамматикализации* собирательности. Это самоочевидно, поскольку по своему происхождению плюралис должен быть подвидом сингуляриса и, следовательно, обозначать разновидность расчлененного *единства*..." [Kurylowicz, 1964, 204]. Таким образом, в семантико-типологическую формулу категории числа необходимо включить сингулярность. Это, в свою очередь, требует переосмысления инвариантного категориального значения, так как механизм семантического расщепления не может объяснить непосредственного выведения количественного значения множественности из значения единственности, а это означает, что объяснение внутренней динамики "категории числа" следует искать в сфере преобразований качественных категориальных значений.

Согласно одной из интерпретаций, «инвариантным признаком, на основании которого в языке противопоставляются такие формы, как *моя книга* и *мои книги*, является не признак "единичности"/"множественности", а признак выраженной расчлененности и невыраженной расчлененности» [Исаченко, 1961, 37]. Исходя из этого, собственно количественное значение (единичности или множественности) трактуется как лишь одно из возможных использований указанного инвариантного значения; что же касается собирательности, то она попадает в область признака "невыраженная расчлененность".

В своей интерпретации категории числа А.В. Исаченко опирался на положения Р.О. Якобсона (высказанные в 1932 г.) об асимметричной структуре морфологических корреляций [Якобсон, 1985] и одновременно полемизировал с якобсоновским представлением этой категории в количественных терминах ("множественность" противопоставляется отсутствию указания на "множественность"). В. Барнет, также исходивший из идей Якобсона и полагавший бесспорной вторичность маркированного члена морфологической корреляции, возникающего "путем семантического выделения из немаркированного члена", подчеркивал неизбежное расхождение между диахро-

нической картиной многочисленной системы числа (единственное — двойственное — множественное) и ее синхронической картиной, нарисованной, в частности, А.В. Исаченко [Barnet, 1966, 198—199]. По мнению В. Барнета, в основе грамматической категории числа лежит первоначальная оппозиция по парности—непарности, впоследствии перестроенная в оппозицию по признаку множественности, причем и дуалис, и плюралис представляют собой результат семантического выделения из сингуляриса.

Такая интерпретация не кажется более убедительной хотя бы потому, что типологическая значимость дуалиса несравненно меньше, чем других категориальных значений обсуждаемой категории. В интерпретации В. Барнета отсутствуют значения расчлененности и собирательности, столь важные и типологически, и диахронически. Ведь в изменении "собирательность → множественность", называемом Е. Куриловичем диахронической универсалией, различие между этими числовыми субкатегориями сводится именно к признаку нерасчлененности—расчлененности, и само это изменение, по мнению Куриловича осуществлялось не без влияния числовой парадигмы личных местоимений, обладающих не собирательной, а так называемой эллиптической плюральностью "с индивидуально отличными членами множественности" [Kuryłowicz, 1973, 72—73]. Иначе говоря, возникновение грамматического числа, по Куриловичу, означает возникновение семантического категориального признака расчлененной множественности — "математической" (множественность объектов одного класса) или "эллиптической" (множественность разнородных объектов), ср., с одной стороны, *отцы* = *отец* + *отец* + ..., с другой — *родители* = *отец* + *мать*.

Таким образом, с историко-типологической точки зрения стремление А.В. Исаченко свести количественный семантический признак ("множественность") к более общему качественному ("расчлененность") вполне оправдано. Вместе с тем его интерпретации недостает законченности, и поэтому она оказывается в некотором отношении уязвимой. Прежде всего нельзя не заметить отсутствия второй напрашивающейся дихотомии, обратной той, которую сформулировал Исаченко — речь идет о дихотомии "выраженная нерасчлененность—невыраженная нерасчлененность". Нерасчлененность как положительное семантическое свойство характеризует собирательные имена (имеется в виду как лексическая собирательность типа *толпа*, *стая*, так и деривационная типа *листва*, *воронье*). В рамках двух дихотомий изменение "собирательность → множественность" естественно интерпретируется (в терминах Э. Бенвениста [Benveniste, 1968, 85]) как разновидность инновационных категориальных мутаций, состоящая в смене основания противопоставления категориальных значений (признаков): "нерасчлененность → расчлененность". Тем самым устраняется неоправданное растворение категориального значения собирательности в неопределенном "отрицательном" значении немаркированного члена оппозиции, как это имеет место у Исаченко.

Вообще надо заметить, что в типологии и истории категории числа внимание исследователей сосредоточено обычно на том ком-

поненте категориальной семантики, который так или иначе соотносится с представлением о множественности, и это понятно, поскольку именно этот компонент считается маркированным членом базисной категориальной оппозиции, а перипетии категориальной эволюции связываются прежде всего с мутациями маркированного члена (ср. обсуждение типов категориальных изменений у В. Барнета [Barnet, 1966, 201—203]). Необходимо подчеркнуть, что значение множественности невозможно исключить из числа категориальных значений, как могло бы следовать из приведенного выше слишком жесткого определения А.В. Исаченко. Выдвижение признака расчлененности в качестве доминантного не устраняет признака множественности, точно так же как формула "собирательность → множественность" не означает, что доминантное значение собирательности (нерасчлененности) исключает значение множественности — не случайно в египетских текстах (в частности, классического периода) собирательные существительные писались с детерминативом мн. числа [Коростовцев, 1963, 123]. "Множественность", представая как многосоставность, является фоновым категориальным значением и для "собирательности", и для "расчлененности", что позволяет объединить два данных контрастирующих признака в один более общий категориальный гиперпризнак "включенность в совокупность", так что типология и эволюция рассматриваемой категории будут представляться как варьирование (в пространстве и времени) единого гиперпризнака, приводящее к доминации (на разных этапах или в разных типовых состояниях категории) то одной, то другой характеристики множественности (совокупности).

При таком подходе к категории числа особенно важной становится соответствующая квалификация категориальных значений, соотносимых с сингулярностью. На это обычно обращается меньше внимания, а между тем совершенно очевидно, что каждая категориальная семантическая оппозиция, характеризующаяся специфичностью маркированного члена, придает особый смысл немаркированному члену. В историко-типологическом плане это было глубоко осмыслено еще 40 лет назад А.А. Холодовичем, выдвинувшим понятие сдвига доминанты как центрального механизма категориальных мутаций. "Вполне допустимо, — писал он, — что в отношении *рука/руки* доминирующий признак может переместиться... И этот сдвиг должен, очевидно, вызвать и переосмысление как каждого члена в отдельности, так и всего отношения в целом" [Холодович, 1979, 183]. Коррелятом грамматической множественности ("мн. число" в узком смысле) является "единичность" ("ед. число" в узком смысле). Но коррелятом "расчлененности" является уже не единичность, а "цельность", коррелятом "собирательности" — "выделенность" ("индивидуальность", "отдельность").

Каждая субкатегория как в сфере "сингулярности", так и в сфере "плюральности" определяется не единственным значением, а серией значений, иерархически организованных. Так, субкатегория собирательности формируется значениями "многосоставность" (частный случай — "парность", "тройственность"), "нерасчлененность", а также,

видимо, "дробность" (последний признак выделен для собирательных имен Б.А. Серебренниковым [1974, 167]). Все эти значения реализуются в рамках гиперпризнака "включенность в совокупность" и служат характеристиками этой совокупности, как и значения, формирующие субкатегорию грамматического плюралиса, но при этом семантический объем мн. числа расширяется вследствие варьирования грамматического значения в сочетании с разными лексическими значениями [Соболева, 1979, 60—61]. Гиперпризнак, характеризующий противоположный компонент категориальной семантики, можно определить как "невключенность в совокупность"; в рамках этого признака также реализуется целая серия категориальных значений: "единичность", "цельность", "выделенность", "элементарность" ("односоставность"), "отдельность".

Категориальная мутация, определяемая формулой "собирательность → множественность", осуществляется с опорой на признак многосоставности, осмысляемой как абстрактное множество, а соответствующее изменение в сфере сингуляриса, которое можно описать формулой "выделенность → единичность", осуществляется с опорой на признак элементарности (индивидуальности). Типологическая реконструкция этой категории может быть продолжена, и в результате мы придем к некоторой синкретической, нейтральной в числовом отношении протокатегории "обобщенность", имеющей два контекстно различаемых значения — "обобщенно-индивидуальное" и "обобщенно-совокупное"; последнее через значение "нерасчлененность" дает начало "собирательности", тогда как первое через значение "конкретность" ("определенность") преобразуется в "выделенность". Между семантическими компонентами категории "обобщенность" могли, по-видимому, существовать отношения "род/вид" и "часть/целое" (А.А. Холодович склонялся к последнему), но в обоих случаях наличествовал гиперпризнак "включенность" — то ли в класс, то ли в целое, и этим может объясняться дальнейшее развитие гиперпризнака в значение "включенность в совокупность". Холодович ссылаясь на японский язык, где категория числа еще не сформировалась и где "единица и множество если и имеют место, то присутствуют на заднем плане", а доминантой категории является "единство целого и части" [Холодович, 1979, 185]. В этом языке рассматриваемая категория близка к состоянию, обозначенному как нейтральное (синкретическое).

Наличие категории обобщенности в составе категории числа — не такая уж редкость, но многие языки, имеющие ее, демонстрируют более сложную категориальную структуру. Так, в языках со счетными классификаторами, согласно интерпретации Дж. Гринберга, существительное само по себе, вне нумеративного контекста, выражает, скорее, собирательность и функция классификатора состоит в том, чтобы индивидуализировать денотат и тем самым сделать его доступным пересчету [Greenberg, 1974₂, 30]. По-видимому, точнее будет назвать исходный категориальный статус существительных в этих языках "обобщенным" с собирательностью в качестве вторичного (потенциального) значения, и тогда деривационная цепочка

ка узловых категориальных значений предстанет в этих языках в следующем виде: "обобщенность → выделенность → расчлененность", ср. в китайском: *чжоуцзы* 'стол' → **-чжан чжоуцзы* 'стол (как индивидуальный предмет с плоской поверхностью, *чжан* — классификатор)' → *сычжан чжоуцзы* 'четыре стола' (*сы* 'четыре').

Еще более сложная картина представлена, по-видимому, в языке сонгай (Республика Мали), где существительные обладают двумя числовыми парадигмами — так называемой определенной и неопределенной. Неопределенная форма ед. числа выражает, как можно думать, обобщенность (и потенциальную, или скрытую, собирательность), реализующуюся в значениях обобщенно-индивидуальном (ср.: *ау на һав деу* 'я купил корову', *һав* 'корова', неопр. ед. ч.) и обобщенно-совокупном (ср.: *ау ка һав деу*, *тта һав си* 'я пришел купить корову, но коров нет', где первое *һав* — обобщенно-индивидуальное, второе — обобщенно-совокупное). Форме *һав* соответствует неопределенная же плюральная форма *һавуан*, которая может трактоваться как эксплицитно собирательная с доминирующим значением "многосоставность"; иначе говоря, *һав/һавуан* образуют оппозицию по признаку "выраженная многосоставность/невыраженная многосоставность" при общем для них признаке "нерасчлененность". Наряду с этими формами имеются еще две: определенное ед. число — *һаво*, определенное мн. число — *һавеу*, ср.: *ау һаво* 'моя корова' — *ау һавеу* 'мои коровы'. Оппозиция *һаво/һав*, базирующаяся на признаке "определенность/неопределенность", имеет в качестве вторичного основания противопоставления признак "выделенность/невыделенность"; оппозиция *һавеу/һавуан* могла бы тогда трактоваться как отношение, покоящееся на первичном признаке "определенность/неопределенность" и вторичном — "расчлененность/нерасчлененность" или, может быть, "выраженная расчлененность/невыраженная расчлененность", и тогда в оппозиции *һаво/һавеу* можно видеть зарождающееся грамматическое противопоставление, основанное на признаке "единичность/множественность".

Эта система, однако, отличается неустойчивостью, нежесткостью указанных семантических оппозиций. А. Прост [Prost, 1956, 51—54] отмечает редкость неопределенных плюральных форм на *-уан*, что объясняется двойственной природой соответствующих сингулярных форм, способных передавать как "отдельность", так и "совокупность". Кроме того, определенные сингулярные формы типа *һаво* также иногда передают обобщенное или собирательное значение, которое может переноситься и на соответствующие плюральные формы на *-еу*. Все это говорит о том, что категория числа в сонгай находится в процессе перехода от одного типового состояния в другое. Доминирующим значением в сфере плюралиса остается "собирательность" ("многосоставность"), причем это значение господствует в субкатегории неопределенности. Подтверждением сказанного служат не только конструкции типа *һав ггу* 'пять коров', *һав бобо* 'много коров', где в контексте "множественности" представлена неопределенная немаркированная форма ("обобщенно-совокупная") в отличие, однако, от конструкций типа *һавеу веу* 'эти коровы' (с двойной мар-

кировкой определенности — суффиксальной и местоименной), но и такие на первый взгляд парадоксальные слоформы, как *nyangoan* (букв. 'матери'), в которых к определенной сингулярной форме присоединяется неопределенный плюралный показатель *-uan*, передающий здесь в чистейшем виде значение собирательности и многосоставности, ср.: *a kou nyangoan do* 'он отправился к семье матери' (приблизительной семантико-типологической параллелью может служить англ. *he went to the Smiths* 'он пошел к Смитам'). Форма *nyangoan* примечательна еще в одном отношении: поскольку имя не может быть одновременно определенным и неопределенным, ясно, что по крайней мере одно из этих значений должно быть здесь погашено. С очевидностью это можно сказать о значении показателя *-uan*, наглядно демонстрирующего одну из линий эволюции категориальной семантики "неопределенность → обобщенность → собирательность". Но и формант *-o* не сохраняется, по-видимому, своего первоначального значения определенности, а приспосабливается для выделения типичного представителя ("точки отсчета") в той совокупности, которая обозначена посредством *-uan*, т.е. можно говорить о другой линии категориальной эволюции: "определенность → конкретность → выделенность", откуда уже один шаг до грамматической "единичности". На наших глазах на базе категории определенности/неопределенности формируется категория числа.

Итак, общее направление эволюции категории числа — от качественных характеристик к количественным. В языках, развивших грамматическое число, наблюдаются факты, свидетельствующие о его дальнейших мутациях, ведущих к лексикализации плюралиса, "конечным этапом которой является полная десемантизация флексий множественного числа" [Соболева, 1979, 72], ср.: *слово* — *слова* (текст песни), *грязь* — *грязи* (лечебное средство, курорт), *камень* — *камни* (болезнь) и т.п., где форма мн. числа сопряжена с семантическим сдвигом в лексическом значении слова. Как выразительно сказал об этом явлении А.А. Холодович, "количество является здесь водоразделом между качествами. А форма — лишь средство выражения качественностей" [Холодович, 1979, 195]. Так "жизненный цикл" категории замыкается там, откуда началось движение, — в качественных значениях, вновь уводящих "множественность" из грамматики в лексику.

Рассмотренный пример подтверждает важность векторных формул, отражающих динамическую структуру языковых категорий. Но отнюдь не всякая реконструкция, построенная на векторных формулах, вскрывает типовые линии языковой эволюции, а между тем смысл типологического сравнения состоит как раз в выявлении относительно регулярных преобразований типов и типовых характеристик одновременно с определением их иерархической соотнесенности в плане синхронических таксономий. Эффективным путем таксономизации одноплоскостных типологических классификаций может служить процедура, названная Ю.С. Степановым "укрупнением грамматики" [Степанов, 1975, 18] и состоящая в семантической генерализации и иерархизации (шкалировании) категориальных значений. Резуль-

татом этой процедуры является установление гиперкатегорий, по отношению к которым известные грамматические категории предстают как их частные проявления (состояния).

Принцип укрупнения применим не только к отдельным категориям, традиционно описываемым в морфологии, но и к категориальным построениям высшего порядка — к типам языковых подсистем и к языковым типам в целом. Наиболее общие и одновременно наиболее емкие языковые типы, которыми оперирует современная типология, — это контенсивные типы (активный, эргативный, аккумулятивный), получившие основательную синхроническую и историко-типологическую интерпретацию в трудах Г.А. Климова [1973; 1977; 1983]. Сами эти типы уже фигурируют в типологии как своего рода гиперкатегории, поскольку с активностью, эргативностью, аккумулятивностью (номинативностью) как типобразующими характеристиками соотносятся целые серии частных имплицлируемых свойств языковой структуры. Тот факт, что в центре внимания оказался именно эргативный тип [Ergativity, 1979; Relational typology, 1985], объясняется, по-видимому, не только его своеобразием, но и тем, что с ним издавна связывается — явно или неявно — представление о большей архаичности в сравнении с номинативным строем и одновременно он оказывается типологически наиболее близким к последнему, так что углубленное изучение эргативности может высветить важный этап эволюции языковых типов.

Объективности ради надо сказать, что в типологической трактовке эргативности и номинативности сталкиваются прямо противоположные взгляды, обусловленные некоторой — чтобы не сказать произвольностью — теоретической "презумптивностью": в зависимости от того, как вообще понимается эргативность/номинативность в семантико-грамматической системе языка, меняется оценка ее типологической значимости. Согласно одной точке зрения, эргативность и номинативность — не более чем формальный прием, элемент лингвотехники, причем "эргативная конструкция предложения — это в сущности та же номинативная конструкция, принявшая специфический вид в особых условиях" [Серебренников, 1985, 307]. Ясно, что в рамках такого понимания проблемы типологическая значимость выделения эргативного и номинативного типов и диахронического выведения одного из другого оказывается не слишком высокой.

Противоположной можно считать точку зрения, основанную на глубинно-семантической интерпретации эргативности и аккумулятивности, предполагающей более дробное ролевое представление актантов вместо обобщенного представления их как субъект/объект. Особенно существенным предстает различие между обсуждаемыми типами, если интерпретировать их на основе сформулированного в ряде работ А.Е. Кибрика понятия Фактитива как гиперроли, объединяющей роли актанта одноместного предикта и Пациенса двухместного в эргативных языках [Кибрик, 1980, 80]. В этом случае ключевые (типобразующие) семантические оппозиции в системах эргативности и аккумулятивности примут следующий вид:

В каждой оппозиции немаркированная (-м) гиперроль (Актор — гиперроль, объединяющая роли первого актанта двухместного предиката и актанта одноместного в противоположность второму актantu двухместного предиката — Пациенсу) противопоставляется маркированной (+м) простой роли, и возможный переход от эргативности к аккузативности трактовался бы тогда как поглощение маркированной роли немаркированной гиперролью (Агенса→Актор) и, напротив выделение из немаркированной гиперроли маркированной роли (Фактитив→Пациенс).

В известном смысле промежуточной между двумя изложенными точками зрения является позиция тех исследователей [Гамкрелидзе, Иванов, 1984], которые, признавая значимость контенсивных типов, интерпретируют их преимущественно в синтаксических терминах "субъект/объект", в результате чего эргативизация или номинативизация предстают по отношению друг к другу как едва ли не поверхностные морфо-синтаксические преобразования, не затрагивающие существа языкового типа:

$$S_{tr} : (S_{intr}, O_{dir}) \sim (S_{tr}, S_{intr}) : O_{dir} \sim (S_{tr}^{ac}, S_{intr}^{ac}) : (S_{intr}^{ac}, O_{dir})$$

эргативность аккузативность активность

(S_{tr} — субъект переходного глагола, S_{intr} — субъект непереходного, O_{dir} — прямой объект, S^{ac} — субъект активного глагола, S^{st} — субъект стативного глагола). В рамках этой интерпретации только изменение "активность→эргативность/аккузативность" должно расцениваться как смена типа, тогда как "эргативность↔аккузативность" будет трактоваться как варьирование типа.

Важным вопросом исторической типологии является диахроническая интерпретация обсуждаемых типов и тем самым реконструкция прототипа для исторических языков. В связи с этим можно, как уже говорилось, прибегнуть к укрупнению этих категорий путем объединения их в рамках типологической гиперкатегории (шкалы) актантажной ориентации (АО), т.е. системной и/или функциональной семантической квалификации актантов с опорой либо на собственные характеристики денотатов, либо на их деятельностные характеристики. В первом случае имеет место ориентация актантов относительно друг друга (таксонимическая АО), во втором — относительно глагола (эргонимическая АО). Соотнося шкалу АО с последовательностью типов Г.А. Климова [1977, 291], мы получим следующую картину:

Таксонимическая АО

Эргонимическая АО

Классный тип Активный тип Эргативный тип Аккузативный тип

Здесь опущен "нейтральный тип" Г.А. Климова, но и сам автор считает, что аргументация в пользу его выделения недостаточна [Климов, 1983, 87—88]; в нашей схеме ему могла бы соответствовать априорно введенная рубрика "отрицательной АО", однако трудно представить, что это такое в действительности.

Согласно гипотезе Г.А. Климова приведенная последовательность типов имеет также диахронический смысл. В этом случае можно утверждать, что кардинальным типовым сдвигом является преобразование "активность → эргативность" (хорошо документируемое фактами языков), поскольку происходит смена АО: активный тип базируется на классифицирующей дихотомии "одушевленность/неодушевленность" ("активность/инактивность") как разновидности таксонимической АО, эргативный же тип базируется на ролевой оппозиции "Агенса/Фактив" как разновидности эргонимической АО. Смена АО сопряжена с переходом от семантически диффузных актантов (S и O) к семантически специфицированным актантам (ролям) — в ролевом представлении активность пришлось бы, видимо, определить как Актор/Фактив, — и в целом развитие идет в сторону грамматикализации субъектно-объектных отношений. В сущности, можно говорить о двух принципиально различных (гипер)типах, каждому из которых соответствуют два вариантных состояния. Эта в целом стройная картина предполагает, что аккузативность не обязательно диахронически следует за эргативностью [Климов, 1973, 248], а после появления труда Т.В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова [1984] проблему поиска эргативного прошлого индоевропейских языков (предполагавшегося некоторыми) следует закрыть ввиду ее беспочвенности. Но зато остаются две другие проблемы.

Первая проблема касается интерпретации описанного движения типов как однонаправленной, необратимой эволюции языка [Климов, 1983, 170 и след.]. Наряду с фактами, как будто подтверждающими такую интерпретацию и подробно рассмотренными Г.А. Климовым, требуют осмысления и факты иного рода — такие, например, как "колебательное" движение контенсивного типа индоиранских языков "номинативность → эргативность (→ номинативность)" [Эдельман, 1985]. Поскольку в этих языках эргативность не может считаться рудиментом прошлого состояния (индоевропейское прошлое было активным), следует признать, что эргативность рождается в недрах аккузативности и что, следовательно, номинативность (аккузативность) отнюдь не является конечной точкой в линейной языковой эволюции. Высказывается даже вполне категорическое мнение, что вообще нельзя говорить о строго линейном развитии и что изменения "эргативность → аккузативность" и "аккузативность → эргативность" одинаково вероятны: на базе пассивизации может развиваться эргативность, на базе антипассивизации — аккузативность [Dixon, 1979, 100]. Отмечается также и более парадоксальное явление — намечающееся смещение эргативности (смешанной) в сторону активности в одном из диалектов табасаранского языка [Кибрик, 1980, 90]. Эти факты не позволяют пока снять с повестки дня вопрос о цикличности в развитии контенсивных типов; по-видимому, цикличность необходимо считать естественной по крайней мере в пределах гипертипов, между их варьирующимися состояниями (классность — активность, эргативность — аккузативность). Впрочем, здесь есть один нюанс, нарушающий стройность нарисованной картины и подводящий нас ко второй проблеме.

Дело в том, что выделенный Г.А. Климовым "классный тип" изучен в значительно меньшей степени и многие языки, представляющие собой образец языка с именными классами, в действительности не образуют отдельного, четко выделяемого континентального типа. В частности, языки банту, на которые ссылается Г.А. Климов, демонстрируют отчетливые черты аккузативного строя: в них представлено различное оформление Актора и Пациенса (Актор выступает в статусе подлежащего, контролирующего субъектное согласование), причем в соответствии с иерархией М. Сильверстейна наиболее ярко аккузативность проявляется в сфере личных местоимений (ср. в луганда: *Mukasa akulabye* 'Мукаса тебя увидел' — *Omulabye Mukasa* 'Ты увидел Мукасу', где личное местоимение 2-го лица ед. числа имеет две формы — *o* (субъектная) и *ku* (объектная), для 3-го лица ед. числа соответственно *a/mi*) и в сфере одушевленных имен: в луганда показатель фокуса *-e* имеет разное оформление для имен 1-го и 9-го классов — *ue* (субъектный фокус) / *gwe* (объектный фокус, 1-й класс), *gye* (объектный фокус, 9-й класс), ср.: *omukazi ye yakulaba* '(именно) женщина тебя видела' — *omukazi gwe nnalaba* '(именно) женщину я видел', *enjovu gye nnalaba* '(именно) слона я видел'. Наконец, языкам банту свойственна пассивизация, ср. в суахили: *mwaliu amelela kitabu* 'учитель принес книгу' — *kitabu kimelewa na mwaliu* 'книга принесена учителем'.

Но наряду с такими бесспорными признаками аккузативного типа (ср. также различие в луганда субъектного и объектного согласователя для "класса животных" (9-й кл.) — *e/gi*) в языках банту имеются черты, отдаляющие их от эталона аккузативности. Так, важнейшая характеристика аккузативных языков — глагольный бинаризм, т.е. деление глаголов по признаку переходности/непереходности, — оказывается в языках банту слишком расплывчатой, если не проблематичной, и специальное исследование У. Уайтли [Whitelу, 1968] не сняло всех проблем, а лишь наметило их решение. Ср. такие конструкции с "прямым дополнением", как суахилийские *mbwa atekufa njaa* 'собака умерла от голода' или *nchi imeenea maji* 'страна покрыта (покрылась) водой' / *maji yameenea nchi* 'вода покрывает страну' (примеры Уайтли); во втором случае наблюдается явление, весьма напоминающее лабильность глагола эргативных языков (различие в оформлении глагола в данном случае не должно вводить в заблуждение: согласователи *i-/ya-* отражают лишь различие в классе подлежащего). Неясность категории переходности ведет к неясности категории объекта; при трехместных глаголах оказывается актуальным выделение проксимативного объекта [Hawkinson, Numan, 1974, 151—152]. Имеется ряд признаков, чуждых языкам аккузативного строя и свойственных системе активности, например наличие явных версионных форм глагола (традиционно именуемых "направительными"); прослеживается (хотя и не так явно, как в языках манде) различие "отчуждаемой/неотчуждаемой" принадлежности [Voeltz, 1976]. Но особого внимания заслуживает одно явление, на которое главным образом и ссылается Г.А. Климов, аргументируя мысль о доактивном состоянии языков банту, лишь вступающих на путь развития активной типологии.

Довольно давно замечено, что классные системы этих языков подвержены упрощению и разрушению, особенно заметному в "смежной", ближайшей родственной группе бантоидных языков — бане (классификационный термин Дж. Гринберга [Greenberg, 1974₁]), ср. хотя бы данные по диалектам бамилеке [Numan, Voeltz, Tchokokam, 1970], а также в языках других ветвей бенуэ-конголезской семьи. Замечено также, что на этот процесс оказывают катализирующее воздействие определенные социальные и коммуникативные условия (например, урбанизация и широкие межэтнические контакты) и что трансформация классной системы идет в направлении ее семантизации на базе категории одушевленности/неодушевленности, которая подвергается грамматикализации и генерализации [Richardson, 1967; Wald, 1975; Bokamba, 1977]. Эти вопросы вновь затронуты Н.В. Охотиной [1985; 1986], которая пришла к следующему заключению: "Как представляется, чисто экстралингвистическими факторами можно объяснить появление сугубо инновационной грамматической категории в надэтнических языках суахили и лингала, грамматической категории, типологически инородной для языков банту, а именно корреляции по признаку одушевленности/неодушевленности" [Охотина, 1985, 165].

Вопрос этот имеет принципиальное значение и для определения континсивного типа языков банту, и для собственно грамматической реконструкции, в которой часть задач составляет исключительно прерогативу генетической реконструкции (это в первую очередь установление архетипов основ и классных показателей), но есть вопросы, связанные, в частности, с семантической конфигурацией категории, решение которых лежит в сфере типологической реконструкции. К ним принадлежит и вопрос об инновационности "корреляции по признаку одушевленности/неодушевленности". Оставляя в стороне весьма спорное сведение причин столь существенной категориальной перестройки только к внешним факторам, отметим, что указанные сдвиги в классной системе свойственны не только надэтническим языкам суахили и лингала; в один ряд с этими языками ставят, например, пиджин А 70 (на базе языка булу в Каме-руне), язык весьма ограниченной сферы использования [Alexandre, 1967], и И. Ричардсон, по-видимому, с полным основанием видит в перестройке классной системы тенденцию, общую для всех языков банту [Richardson, 1967, 387]. Этот процесс, как отмечает У.Э. Уэлмерс, доведен до логического конца в языке ндоро (принадлежащем, как и банту, к бенуэ-конголезской семье, бантоидная ветвь), где вместо прежней поликлассной системы представлена двухклассная — одушевленные/неодушевленные имена [Welmers, 1973, 211]. Явления сходного порядка (в частности, акцентируемая бантуистами действительность обсуждаемой категории при классном оформлении новых заимствований) обнаруживаются в разных языках (например, то же видим в тив [Arnott, 1967, 56] и порой далеко за пределами ареала банту — в так называемых "остаточных языках Того" [Heine, 1968]). Нельзя не отметить далее, что в самих языках банту семантическая категория одушевленности/неодушевленности играет

огромную роль в грамматике [Hawkinson, Hyman, 1974; Morolong, Hyman, 1977], а приведенный выше пример с фокальным показателем в луганда свидетельствует о наличии грамматического выражения обсуждаемой категории.

Не углубляясь в сложные вопросы реконструкции классной системы на разных уровнях (бантуском, бантоидном, бенуэ-конголезском, нигеро-конголезском), обратим лишь внимание — в порядке типологического сравнения — на конфигурацию классных систем в двух языках — лелеми (лефана, семья ква) и занде (адамауа-восточная семья). По свидетельству Х. Хёфтман, в лелеми семантически вполне четко выделяется только класс одушевленных имен, имеющих плюральный показатель *ba-*, тогда как остальные имена образуют семантически аморфную массу предметных классов [Höftmann, 1966]. В занде же именные классы [Клингенхен, 1963, 48] демонстрируют совершенно иную конфигурацию, в которой прослеживается таксономический принцип организации (схема 8; ср., впрочем, иную трактовку классной системы занде в кн.: [Claudi, 1985]).

Схема 8



Совершенно ясно, что семантические основания предметной классификации в лелеми стерлись с течением времени, но при этом ничто не указывает на инновационный характер класса одушевленных, как и в занде. Различие между двумя системами в том, что в лелеми классная дифференциация пошла по линии неодушевленности, а в занде — по линии одушевленности. В этом отношении языки банту ближе к лелеми, но в отличие от него в бантуских классах легче разглядеть семантические основания. Вместе с тем языки банту сделали один шаг в направлении классной системы типа занде: в них фигурирует в качестве различительного признак "личность/неличность".

В диахроническом плане этот признак может толковаться по-разному, как явствует из полемики Ч. Крейдера с Т. Гивоном, полагающим, что в бантуской классной протосистеме отсутствовали таксономичность и оппозиция по личности/неличности, которая развилась позже из одушевленности [Givón, 1971]. Ч. Крейдер, не отрицая такого пути возникновения личного класса, утверждает его наличие в протобанту [Creider, 1975], о чем как будто говорят все известные генетические реконструкции (К. Мейнхофа, М. Гасри, А. Мееюссена). Этот вопрос требует отдельного рассмотрения (вероятно, оба исследователя правы, так как речь может идти о разной глубине реконструкции), нам же важно то, что семантическая корреляция по одушевленности/неодушевленности уходит корнями в глу-

бины истории языков банту, и нельзя пройти мимо того факта, что в протобанту А. Мееюссеном реконструируется своеобразное тоновое противопоставление одушевленных классов в целом (1-го и 9-го) неодушевленным, прослеживаемое в нумеративных и местоименных согласователях и идущее бок о бок с не менее своеобразным тоновым же противопоставлением по личности/неличности в глагольных согласователях [Meeussen, 1967, 96—97].

Не дают ли рассмотренные факты основания предполагать, что категория одушевленности/неодушевленности не возникает в языках банту заново, а лишь проступает сквозь позднейшие многоклассные наслоения (ср. замечание Ю.С. Степанова о "возобновляющихся" классифицирующих категориях [Степанов, 1975₂, 129])? А если так, то квалификация языков банту в рамках контенсивной типологии становится еще более трудной. Необходимы дополнительные данные, но уже сейчас можно предположить смешанный типологический характер этих языков (подобно смешанным эргативно-аккузативным подтипам в составе эргонимического типа). А может быть, это просто некий диффузный тип, в котором внешне беспорядочно (порядок предстоит еще установить!) перемешаны признаки разных контенсивных типов? Последнее не означает, конечно, что перед нами какой-то прототип, первичная типологическая туманность; по-видимому, в диффузное состояние может приходить любая система в период быстротечной и радикальной типологической перестройки, и задача типолога состоит в том, чтобы определить (реконструировать), смену каких типосостояний знаменует собой состояние диффузности. Определение языковых типов и их исторических превращений можно существенно углубить использованием количественного подхода, интересные возможности которого выясняются из опыта многофакторного анализа категории русского подлежащего, с успехом предпринятого И.Ш. Козинским [1983].

Завершая (но отнюдь не исчерпывая) рассмотрение проблемы "классного типа", можно сказать, что в зависимости от дальнейших исследований мы, скорее всего, окажемся перед выбором одного из возможных решений: либо в языках банту (и, наверное, бане) складывается активный строй на базе не вполне развившегося аккумулятивного (и тогда перед нами цикличность, проявляющаяся на уровне высших типов), либо в них формируется аккумулятивный строй на базе не вполне разрушенного, частично регенерирующего активного (и тогда перед нами своеобразное переплетение разных тенденций: восстановление именного бинаризма и — на его фоне — опережающее развитие аккумулятивных характеристик при отсутствии формально четкого глагольного бинаризма). В решении задач такого рода типологическая реконструкция должна стоять на реальной почве результатов сравнительно-генетических исследований. У типологической реконструкции большое будущее, но она нуждается в серьезной отработке своей теории и методики, а пока что, объективно взглянув на две реконструкционные процедуры, мы должны признать, что еще во многом типологическая реконструкция так относится к генетической, как здравый смысл к математике.

СООТНОШЕНИЕ ПРИЕМОВ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИХ И АРЕАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ

Развитие компаративистики в частных филологиях (германистике, славистике, иранистике, финно-угроведении, тюркологии и др.) обязано своими успехами использованию представителями отечественного языкознания и зарубежной лингвистики таких приемов сравнительно-исторического анализа, которые вскрывали закономерное действие строгих соответствий, т.е. фонетических законов. В настоящее время в связи с подготовкой сравнительно-исторических грамматик и этимологических словарей (славянских, тюркских, тунгусо-маньчжурских, абхазско-адыгских, иранских и других языков) наметился значительный подъем сравнительно-исторических исследований.

Существенные изменения претерпела и методика сравнительно-исторического анализа. Можно с уверенностью утверждать, что наступил качественно новый этап в развитии метода, ставшего классическим, — метода сравнительно-исторических или, как его все чаще называют, сравнительно-генетических исследований. Наметились прогрессивная тенденция к синтезу методов и приемов сравнительно-исторического и типологического языкознания, приемов ареальной лингвистики, лексикостатистики и др.

Поворот в сторону сближения методов и приемов разных областей языкознания с целью выработки точных и логически непротиворечивых процедур исследования языков различных семей обусловлен общим прогрессом в развитии языкознания последних лет. На частном примере анализа соотношения приемов сравнительно-исторических и ареальных исследований можно убедиться в правомерности использования комплексной методики для достижения относительной истины при реконструкции. Учет этой более совершенной методики сразу же положительно сказался при осуществлении основополагающей процедуры компаративистики — реконструкции. Обновление приемов реконструкции связано и с выдвижением таких понятий, как: системная, динамическая и статистическая, внешняя и внутренняя, проспективная и ретроспективная (обратная) реконструкция, базирующаяся на процедурах фонологической, морфологической, синтаксической и в особенности семантической реконструкции [СИИЯРС, II, 292—293].

Основанная на разработках, посвященных лингвистическим атласам (ср. "Лингвистический атлас" Ж. Жильерона), "теории волн" Шмидта, теории субстрата, теориям, связанным со смешанным характером языков, и т.д., ареальная лингвистика с ее специфическим набором приемов внесла существенные коррективы в представления о прямолинейном распаде праязыка, причем не устраняя праязыковую гипотезу, а допуская ее. Именно ареальная лингвистика дает возможность представить объективный процесс образования групп

родственных языков. Так, например, сравнительно-исторические разработки с использованием приемов ареальной лингвистики дают некоторые основания воссоздать историю образования отдельных групп тюркских языков. Проведенное ареальное исследование большого комплекса тюркских языков Средней Азии и Кавказа позволяет прийти к следующему выводу: состоянию огузской и кыпчакской общности предшествовала эпоха пратюркского состояния со смешанными языковыми чертами, т.е. состояния смешанных языков и диалектов, район которых концентрировался и локализовался где-то в Средней Азии и в Южной Сибири. Процедура реконструкции на всех языковых уровнях подтверждает этот тезис.

Древние причастия эпохи тюркского праязыка существенно отличались от причастий в современных тюркских языках. Они не имели временной и залоговой дифференциации и, скорее, были отглагольными прилагательными. Отглагольные прилагательные этого типа обозначали какое-либо свойство, присущее глаголу, например результативность действия. Реликты такого причастия — отглагольного прилагательного, реже существительного, представлены во всех тюркских языках, как огузских, так и кыпчакских. Так, например, характерная для современных кыпчакских языков форма на *-қан*, *-ган* реликтивно сохраняется и в огузских языках. Ср. тур. *çalışkan* 'работающий' < *çalış-* 'работать', *kurgan* 'крепость' < *kur-* 'строить', азерб. *гудурған* 'бешеный' < *гудур-* 'взбеситься', *јагған* 'овраг' < *јаг-* 'рассекать'. Характерная для огузских языков форма на *-мыш* реликтивно сохраняется в кыпчакских языках. Ср. тат. *тормыш* 'жизнь', < *тор-* 'жить', *язмыш* 'судьба' или 'нечто предписанное' < *яз-* 'писать', узб. *ўтмиш* 'прошлое' < *ўт-* 'проходить' и т.д.

Можно предположить, что кыпчакские и огузские языки образовались не путем распада какого-то единого языка, а путем "отставания" либо огузских, либо кыпчакских черт в определенных географических зонах. Этому предшествовали сложные процессы распространения смешанных черт на огромной территории от Енисея до Босфора в результате миграции. В отдельных географических районах шли процессы "отставания" черт, формирования отдельных национальных языков, причем эти процессы нельзя считать окончательно завершенными.

В свете сказанного понятно, почему при реконструкции тех или иных звуков, форм, конструкций нередко мы восстанавливаем пратюркское состояние не одной, а двух форм, двух звуков [ср. проекцию в пратюркское состояние обоих показателей дат. падежа — *-a/-e* и *ç(a)/-ç(a)*]. Кроме того, когда мы, опираясь на приемы ареальной лингвистики, выявляем в современных тюркских языках огузского типа неоднородный характер кыпчакизмов (исконные, контактно-приобретенные в благоприятных географических условиях, ложные, как результат конвергентного самостоятельного развития, случайных совпадений и др.), то мы одновременно в полной мере используем и другие приемы лингвистического анализа. Среди них в первую очередь генетические приемы, выявляющие внутрисистемные особенности языка, однотипные по своему характе-

ру процессы, дающие одинаковые результаты и проявляющиеся с достаточно высокой степенью частотности в различных языках мира.

В истории языкознания известны попытки использования приемов ареальной лингвистики для исследования проблемы диалектного членения праязыков (ср. труды Дж. Девото, В. Порцига, Г. Краэ и др.). Однако создать точную карту распространения диалектов праязыка в какой-то определенный момент пока не удалось. Вместе с тем следует отметить весьма результативные исследования, в которых большое внимание уделяется установлению относительной хронологии различных структурных разновидностей изоглосс.

Ареальная лингвистика изначально, с момента своего зарождения, а именно уже с работ представителей итальянской неолингвистической школы, имела диахроническую направленность. М. Бартоли, Дж. Видосси, а также Дж. Девото, В. Пизани или представители французской школы А. Мейе, А. Доза и др. [Bartoli, Vidossi, 1943; Devoto, 1962; Pisani, 1940; Meillet, 1922; Dauzat, 1922] последовательно применяют некоторые положения лингвистической географии к сравнительной грамматике индоевропейских языков, к изучению их истории. В.А. Богородицкий при сравнительно-историческом изучении татарского вокализма и консонантизма обосновывал необходимость учета территориального распределения анализируемого фонетического явления, утверждая, что он стоит на "топографической точке зрения" [Богородицкий, 1953]. Сложные процессы изоляции узбекского языка Е.Д. Поливанов освещает с учетом протяженности изоглоссных явлений этого языка, взятого в объеме всех его диалектов [Поливанов, 1933].

Диахроническому аспекту ареальной лингвистики уделяется в настоящее время большое внимание [см., например: Десницкая, 1977; Макаев, 1964; Издельман, 1968]. Ареальная лингвистика иногда сводится только к изучению географического распространения языкового явления в прошлом (ареалы диалектного и праязыкового единства, межязыковых и междиалектных контактов и схождений и т.п.), являясь фактически уже составной частью лингвистической географии. Вместе с тем синхронный план лингвистической географии связан также с ареалами. Как показывают ведущиеся в наше время исследования в этой области, синхронный план ареальной лингвистики прежде всего может тесно соприкасаться с диахроническим и, кроме того, синхронный план, как и диахронический, эффективно используется в сравнительно-исторических исследованиях. Например, изучение сходных явлений в смежных языках и их картографирование фактически невозможны без выяснения истории их происхождения, так как в противном случае на карте будут отмечаться конвергентные явления [ОЯ, 1973]. Диахроническая направленность ареальной лингвистики во всех ее аспектах, ее непосредственная соотнесенность с историческими исследованиями хорошо показаны, например, в трудах русистов: учет территориального распространения изоглоссных явлений помогает разрешению вопросов, связанных с генезисом таких явлений, как аканье, аффрикатизация и т.д. [Аванесов, 1952; Орлова, 1962].

В методическом плане следует различать два случая. В срав-

нительно-исторических исследованиях могут и должны использоваться данные диалектов отдельных языков. Так, например, туркменские диалекты сохраняют следы довольно раннего тюркского направительного падежа на -к (ср. диал. *сүрәк* 'к стаду'), диалекты киргизского языка сохраняют в реликтовом состоянии любопытный местоименный элемент -сы, родственный, очевидно, усилительной частице. Ср. в джержетальском диалекте киргизского языка: *кышындасы* 'зимой', *кечиндеси* 'вечером' [Мукамбаев, 1955], в тулейкенском говоре *жазындасы* 'летом, весной' [Туряджанова, 1954]. Данные диалектов в сочетании с различными приемами лингвистического анализа позволяют связать усилительную частицу -сы с материально родственным аффиксом -сы (ср. тат. *анасы* 'его мать'). Вероятность такого предположения обосновывается тем, что притяжательные аффиксы в тюркских языках восходят к местоименным основам. Усилительные частицы, как показывают данные многих языков, восходят к местоименным основам, поэтому не исключена возможность, что какая-то местоименная основа -сы в одних случаях превращалась в усилительную частицу *сы*, а в других случаях послужила основой для образования варианта притяжательного аффикса 3 л. ед. ч. -сы, выступающего обычно после основ на гласный.

Значительная роль диалектных данных в исторических исследованиях свидетельствует о необходимости создания направления исторической диалектологии.

Другое дело — использование в сравнительно-исторических исследованиях самих приемов ареальной лингвистики. Ареальная лингвистика, самым тесным образом связанная с детальным изучением диалектных данных, значительно расширяет возможности компаративиста. Компаративист пользуется довольно ограниченным набором данных для сравнения, нередко представляя процесс развития звуков, форм линейно и отмечая на этой линии возможные этапы развития. Преимущество лингвиста, занимающегося проблемами ареальной лингвистики, заключается в том, что он, благодаря большому количеству зафиксированных состояний звуков, форм на различных территориях, имеет возможность составить более точное представление об этих процессах (ср. реконструкцию глухого анлаута, падежной временной системы в тюркских языках и т.д.).

Приемы ареальных исследований, предусматривающие тотальный охват диалектов, позволяющий судить о характере протяженности изоглоссного явления — о его разбросанном характере или сосредоточении в определенном центре, — иногда помогают в самой процедуре реконструкции, например в установлении относительной хронологии.

Как известно, степень глубины проникновения в прошлое бывает различной. Тюркологи вслед за индоевропейцами выделяют раннее и позднее пратюркское состояние накануне распада праязыка. Так, например, в тюркских языках, характер протяженности соответствующих изоглосс дает возможность установить два состояния падежной системы тюркских языков. Одно, по-видимому более древнее,

было характерно для более ранних этапов существования тюркского праязыка, другое сложилось значительно позднее и характеризовало тюркский язык эпохи, предшествующий его распаду. Наличие серии лативов в различных диалектах тюркских языков (-а, -қа, -ра, -ары// -гары, -ча, -а, -та, -да и др.) отражает диалектное дробление тюркского праязыка, и различные направительные падежи принадлежали отдельным диалектам и не были достоянием какой-то общей падежной системы. Остатки их обнаруживаются во всех тюркских языках.

Распад пратюркской общности и выделение многочисленных тюркских языков получили отражение в появлении большого числа временных форм. Приемы ареальной лингвистики, занимающейся изучением территориально ограниченных языковых явлений при опоре на сравнительно-исторический метод, позволяют реконструировать аналитические формы наст. времени со вспомогательными глаголами типа *йам-, тур-* (аналог английского Present Continuous Tense) в период относительно более позднего состояния тюркского праязыка, когда уже шло развитие и "отстаивание" временных форм в отдельных географических регионах. В данном случае имеется в виду регион Средней Азии. Или ср. еще появившиеся относительно поздно временные формы как бы малых зон: сибирские формы на -ча, -галак и др. Или еще пример, характерный для тюркских языков Прикаспия: фонетический процесс опереднения заднеязычного *қ* является результатом более позднего периода его развития именно в данном географическом регионе.

При реконструкции системы времен, как и других грамматических категорий, нужно учитывать следующее: разбросанный характер той или иной временной формы в огузских или кыпчакских языках; при этом сгущение данной изоглоссы в одной из групп тюркских языков может и не быть показателем ее зонального ограничения. Сама форма могла присутствовать в праязыковом состоянии, а далее она получает развитие в той или иной общности. Ср. форму наст. времени на -а, которая была в праязыке, а позднее "отстоялась" и стала особенно характерной для кыпчакских языков.

Наглядной иллюстрацией трудностей в технике реконструкции, когда помимо приемов сравнительно-исторического метода, ареальной лингвистики используются самые разнообразные приемы лингвистического анализа, служит выявление первоначального ядра тюркской системы глагольных времен. Никакие памятники древней письменности здесь не помогают. Необходим особый метод поиска, который предполагает одновременное исследование существующих в тюркских языках глагольных времен в нескольких аспектах. Существенными приемами анализа являются и системный анализ, и определение дистрибуции данного времени, помогающей определить возраст глагольного времени, и выяснение путей семантического развития времен. Выявление двух семантических направлений в развитии глагольных времен, формирование так называемых определенных и неопределенных времен, вносит известный порядок в систему классификации (естественно, учитывается относительный характер понятий

"определенность/неопределенность") [Серебренников, Гаджиева, 1979]. Ср. такие структурные типы неопределенных времен, как настоящее на *-a*, *-дыр*, *-ар* и др.

Приемы ареальной лингвистики помогают обнаружить подходы к будущим языковым изменениям (ср. десингармонизацию части узбекских диалектов, которая только была усилена иноязычным влиянием; истоки же этого сложного фонетического явления коренятся в самой системе вокализма тюркских языков).

Целый ряд характерных приемов ареальных исследований, таких, например, как определение центров инновации того или иного явления либо определение зон затухания этих явлений, работает на сравнительную грамматику. Параллельно с установлением центров инновации может производиться изучение истории изоглоссных явлений в определенных ареалах. Это осуществляется обычно путем выявления реликтов прежнего состояния.

Ареальная лингвистика ставит своей задачей исследование явлений на больших территориях распространения языков. Эта ее особенность дает возможность вносить известные коррективы в выводы, полученные путем применения сравнительно-исторического метода. Так, например, считается, что ослабление аффрикат является характерной особенностью татарского языка (а также древнебашкирского). На самом деле ослабление аффрикат охватывает целую полосу языков (ср. чувашский, казахский, ногайский и в известной мере каракалпакский).

Ареальная лингвистика обычно изучает явления на сплошных территориях, охватывая также явления неродственных языков. Так, огубление древнего *a* в татарском и башкирском языках многие тюркологи отождествляют с узбекским оканьем. Однако обнаружение с помощью приемов ареальной лингвистики такого же явления в марийском языке, где древнее *a* начального слога также переходит в *o*, свидетельствует о том, что сама природа татарского оканья иная, т.е. ареальная лингвистика в данном случае хорошо помогает сравнительно-историческому методу. Ср. еще пример: система прошедших времен чувашского, татарского и башкирского языков обнаруживает удивительное сходство с системой прошедших времен восточных угро-финских языков (коми-зырянский, коми-пермяцкий, марийский). Можно сделать неосторожный вывод, что сходство систем является результатом контактирования языков. Обнаружение подобных систем прошедших времен в тюркских языках Северного Кавказа (ср. кумыкский) свидетельствует о том, что татарский и башкирский языки уже имели подобные времена до прихода татар и башкир в Волго-Камье).

Ареальная лингвистика дает более ясную картину распространения звуковых изменений. Лингвисты, изучающие историю финского языка, обычно отмечают, что в финском языке древние долгие гласные превратились в дифтонги. Однако этот фонетический закон имеет более широкую зону распространения, поскольку подобные явления наблюдаются также в северных эстонских говорах.

Классическая компаративистика только отмечала формулы звуковых законов, особенно не заботясь о деталях этих звуковых измене-

ний. Так, например, изменение праязыкового *э* в первом слове в *и* в татарском и башкирском языках формулировалось как определенный звуковой закон. Данные ареальной лингвистики позволяют установить, что в башкирском языке звуковой закон перехода *э* > и осуществляется не совсем последовательно. В ряде случаев наблюдается сохранение переходной ступени *е*. Ср. башк. *йел* 'ветер' и тат. *жил* 'год'. Обнаруживается также, что этот же закон перехода *э* > и наблюдается и в чувашском языке, но не последовательно, и причины этой непоследовательности неясны.

Непоследовательность проявления звуковых законов особенно ярко проявляется в зонах вибрации. Последние всегда свидетельствуют о том, что языковые системы контактирующих диалектов на каких-то участках оказываются разрушенными. В зонах вибрации часто происходят живые процессы, которые с течением времени приводят к ликвидации этих зон. Большой теоретический интерес представляет изучение причин вибрации, которые еще недостаточно изучены. Не исключена возможность, что сначала навязывается один элемент системы, который производит затем дальнейшее разрушение. Например, изменение фонемных пар, находящихся в определенной оппозиции, может вызвать появление новых фонемных пар. Ср. такой факт, когда в случае навязывания узбекской системы согласных казахскому языку появление нового *ч* в казахском может усилить пару противопоставления (*ч:ш*), вследствие чего могут участиться случаи перехода *с* > *ш*. Подобного рода проблемы требуют детального изучения. Зоны вибрации обычно указывают на промежуточные этапы между двумя языковыми состояниями. Специфика самих явлений, связанных с вибрацией, исключает такое предположение, как сохранение языком прежнего состояния, поскольку при всех случаях вибрации языковая система оказывается нарушенной. Отсюда следует, как важно в сравнительно-исторических исследованиях вести учет и такого рода явлений.

Вместе с тем нельзя слепо использовать данные ареальной лингвистики без детального углубления в историю языков.

Исследователями давно подмечено увеличение частотности употребления перфекта на *-мыш* в азербайджанском языке. Такое же увеличение частотности употребления перфекта на *-нй* наблюдается и в чувашском языке, а в одном из диалектов чувлымско-тюркского языка перфект на *-ган* даже вытеснил прошедшее на *-ды*. Можно было бы объединить территории распространения этих языков единой изоглоссой. На самом деле причины распространения этого явления в каждом языке различны. В чувашском расширение употребления перфекта объясняется тем, что он приобрел наряду с перфектным значением также значение прошедшего длительного; в азербайджанском языке перфект на *-мыш* распространяется главным образом потому, что показатель *-мыш* более выразителен, чем *-ды*, а в чувлымско-тюркском перфект на *-ган* вытеснил прошедшее на *-ды*, имевшее черты сходства с формой наст. времени на *-ат*.

Приемы ареальных исследований, помогающие установлению различных типов изоглосс, хорошо работают на сравнительно-истори-

ческую грамматику: учет их, с нашей точки зрения, дает эффективный результат. В лингвистической литературе наблюдаются иногда случаи недифференцированного подхода к параллельным явлениям в различных тюркских языках, свидетельствующим об их генетической общности или не подтверждающим ее. Неустойчивость ауслаутного *н*, характерная для фонетической системы тюркских, а также монгольских языков, на самом деле выходит далеко за рамки этих систем. Неустойчивость конечного *н* (типа тюрк. *бирлен* ~ *биле*) свойственна и эстонскому языку, и финским, а также и немецким диалектам; она является характерной чертой скандинавской фонетики (ср. др.-исл. *drikka* ~ *trinken* 'пить').

Возникновение протетических *й* и *һ*, отмечаемое исследователями как фонетическая закономерность тюркского анлаута, свойственно фонетическим системам различных языков мира. Отличительным признаком конвергентных изоглосс является их территориальная удаленность, исключающая возможность контактирования языков. Например, независимый характер имеет сужение гласных в татарском, азербайджанском и в языках Средней Азии. Появление эмфатических частиц, сопровождающих формы повелит. наклонения, наблюдается в туркменском, татарском, уйгурском языках. Конвергентно возникает протеза *й* в узбекском и азербайджанском, а интервокальное *г* изменяется в *в*, например, в татарском, чувашском, узбекском и других языках. Характерным признаком параллельных конвергентных явлений помимо их территориальной удаленности служит их различная системная обусловленность. Сужение гласных в татарском сопровождалось появлением редуцированных, а в азербайджанском оно не предполагает этого фонетического процесса и т.д.

Изоглоссные явления языковых общностей отличают синхронность и системная обусловленность, т.е. они одновременно возникали в языках, некогда входивших в единую общность. Формы причастия типа *-атын*, *-атыган* возникали чаще в тех тюркских языках, в которых было слабо или совсем не развито причастие на *-(у)чу*. Форма наст. времени на *-а* особенно развивается в тех тюркских языках, в которых у формы на *-р* не была развита фонетическая и морфологическая дифференциация вариантов, и она синкретично выражала настоящее-будущее время.

Таким образом, четкая дифференциация генетически общих явлений и конвергентных, достигаемая использованием приемов ареальной лингвистики при опоре на приемы системного анализа, чрезвычайно важна для сравнительно-исторических исследований.

В отечественной ареальной лингвистике предлагается новая методика определения архаизмов и инноваций. Она основана на том, что приемы ареальных разработок, выявляющие архаизм, требуют проверки, предусматривающей применение сравнительно-исторического филологического метода, приемов типологических исследований.

Значительное внимание, уделяемое исследователями диахроническому аспекту ареальной лингвистики, не случайно послужило причиной появления такого понятия, как "ареальная реконструкция".

Приемы ареальных исследований в маргинальных, в окраинных

диалектах, где чаще происходит консервация старых черт, при использовании приемов сравнительно-исторического анализа дают возможность гипотетически реконструировать некоторые фонетические и грамматические черты исчезнувших языков (ср. реконструкцию системы глагольных времен, а также отдельных черт фонетической системы хазарского языка и др.).

Таким образом, приемы ареальной лингвистики помогают выявить реликты древних, ныне исчезнувших звуков, форм; они помогают вскрыть причины языковых изменений, причины их устойчивости и, наоборот, мобильности. Результаты ареальных исследований дают возможность установить динамику распространения изоглоссных явлений в условиях языковой интерференции, что очень важно для историка языка.

Для складывающейся и развивающейся сегодня компаративистики характерны более совершенные операционные приемы реконструкции, которую отличает системный характер. Применение только сравнительного метода не удовлетворяет современного исследователя-компаративиста, который использует и приемы исторических, типологических исследований, а также статистический метод, фонологическую реконструкцию. В этой комплексной методике современного сравнительно-исторического языкознания значительное место отводится приемам лингвистики, которые нередко обеспечивают относительную надежность реконструкции.

СИСТЕМНОСТЬ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ АРХЕТИПОВ КАК КРИТЕРИЙ ИХ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ

1

Среди задач современной компаративистики, связанных с проблемами реконструкции, значительное место занимает вопрос о ревизии восстановленных и.-е. архетипов с попыткой установить реальность их одноплоскостного существования в системе общего и.-е. праязыка в период до его распада. В настоящем разделе указанный вопрос рассматривается на основе применения метода системного подхода к восстановленным и.-е. архетипам и их соответствиям в армянском языке.

В настоящее время различаются три хронологически последовательных периода развития праязыкового состояния: раннеиндоевропейский, среднеиндоевропейский и позднеиндоевропейский (периодизация, предложения Н.Д. Андреевым [1978]).

Из трех названных состояний единого общего и.-е. праязыка наиболее реальным для реконструкции является праязык позднеиндоевропейского периода. Одноплоскостное языковое состояние в это время представляется в целом достаточно полно очерченным и сконстру-

ированным благодаря усилиям младограмматиков и современных компаративистов.

В связи со сказанным нам представляется, что оценка Дж. Лейна достижений младограмматиков, рассматривающего, в частности, реконструкцию К. Бругмана как "окрошку" из древнегреческого и древнеиндийского языков, в которую были добавлены немногие латинские, готские и литовские формы [Lane, 1949, 333; см. также: Макаев, 1977, 12], неоправданно строга и во многом несправедлива, так как мало соответствует действительному положению вещей. Так, данные армянского языка, интерпретируемые на основе системного подхода к реконструированным архетипам, в ряде случаев подтверждают корректность восстановленных младограмматиками и уточненных позже праязыковых форм. Этот факт приобретает особое значение, если учесть, что в реконструкциях младограмматиков данные армянского языка играли довольно скромную роль и не привлекались так широко, как данные других языков. Тем не менее восстановленная еще младограмматиками структурная модель и.-е. суффиксального словообразования закономерным образом "работает" применительно к армянскому материалу, и, что самое интересное, реконструированные подсистемы и.-е. суффиксов вычлениются здесь не в виде отдельных соответствий, изолированно, а системно. Это свидетельствует о том, что процессами трансформации была охвачена вся и.-е. подсистема в целом. Как будет показано далее, указанная системность преобразований подтверждается и данными других языков.

Следует признать в связи со сказанным, что младограмматиками действительно была создана прочная основа, на которой продолжают далее развиваться современная теория и практика реконструкции, но уже на более высоком уровне, поскольку сейчас активно привлекаются новые данные материального родства и применяются более усовершенствованные методы их системного и типологического анализа.

Нам представляется, что одноплоскостная, синхронная модель праязыка позднейноиндоевропейского периода в настоящее время в общих чертах сконструирована и используется в научном обиходе. С учетом данного обстоятельства главной задачей современной компаративистики является дальнейшее уточнение этой модели с целью предельного приближения ее к исходному состоянию. Решение указанной задачи диктует необходимость подвергнуть восстановленные и.-е. подсистемы различных ярусов ревизии, проверить корректность восстановленных и.-е. архетипов на основе привлечения методов внешней и внутренней реконструкции с применением системного подхода к фактам.

В данном разделе на основе изучения процессов трансформаций и.-е. архетипов в армянском языке сделана попытка доказать, что системность процессов преобразования отдельных подсистем и.-е. морфологического яруса в конкретном языке является критерием одноплоскостного существования восстановленных архетипов и свидетельством корректности их реконструкции. Выбор морфологического

яруса объясняется тем, что именно уровень морфологии наиболее консервативен, наиболее "сквозной", мало поддающийся изменениям в течение длительного периода. Представляется закономерным, что доказательная сила данных морфологии значительно возрастает в условиях их системного анализа. Изолированные, отдельные факты, малодоказательные сами по себе, приобретают важное значение, если находят себе место в ряду соответствующих аналогичных явлений [Туманян, 1984, 50 и след.]. Между тем в сравнительных исследованиях и.-е. языков центральное место как в прошлом, так и в настоящее время занимает проблема фонетических соответствий как основного аргумента языкового родства. Доля работ, посвященных морфологии и словообразованию, среди них достаточно скромна. "Все многообразие проблем языка, поднятых во времена Ф. Боппа и А. Шлейхера, — пишет Ф. Шпехт, — было сведено только к фонетике и морфологии, а в этих рамках львиная доля исследований относилась только к вокализму" [Шпехт, 1956, 31]. И далее: "Вопрос о первоначальном значении словообразующих элементов, который в начальный период индоевропейского языкознания стоял на первом плане, давно уже отпал. Теперь довольствовались констатацией факта, что соответствующая форма встречалась еще там-то и там-то и, следовательно, могла быть отнесена к индоевропейскому праязыку или же что соответствующая форма является новообразованием данного отдельного языка. В последнем случае искали объяснения, исходя из принципа образований по аналогии" [там же].

Значение данных морфологии при реконструкции исходного состояния общности и.-е. языков трудно переоценить, поскольку наличие морфологических соответствий с опорой на фонетические данные исключает случайное заимствование и свидетельствует о выборе правильного пути реконструкции одноплоскостного уровня.

А. Мейе справедливо отмечает, что науке до сих пор еще неизвестны случаи, когда "можно было бы объявить морфологическую систему данного языка результатом смешения морфологических систем двух разных языков. Во всех случаях, которые приходилось наблюдать до настоящего времени, мы имеем дело с непрерывной традицией одного языка. Этот язык мог принять в себя большее или меньшее число заимствований, которые могли повлиять в той или иной мере на словообразование; он мог передаваться от поколения к поколению или быть воспринятым другим народом, утратившим собственную речь, — при всех обстоятельствах продолжается единая непрерывная традиция морфологической системы этого языка (разрядка наша. — Э.Т.)" [Мейе, 1954, 72].

Касаясь вопроса о реконструкции различных уровней языка, Э.А. Макаев также наиболее результативным считает реконструкцию тех уровней, которые содержат единицы, представленные исчислению закрытым списком: к последним он относит фонетический (фонемный) и морфологический (морфемный) уровни. Что касается синтаксического и лексико-семантического уровней, которые содержат

конститутивные элементы, данные открытым списком, то они в отличие от фонемного и морфемного уровней, допускающих глобальную реконструкцию, подвержены частичной, или парциальной, реконструкции [Макаев, 1977, 89—90].

Консервативная природа морфологического строя дает возможность проследить и изучить процессы трансформаций постулированных для праязыка позднеиндоевропейского периода морфологических подсистем, модификации которых происходят в современных и.-е. языках строго в соответствии с действующими для конкретной языковой системы законами.

В данной работе мы ориентируемся на праязыковую модель, сконструированную младограмматиками и уточненную усилиями компаративистов последующих поколений, считая ее абстракцией языка предков индоевропейцев позднеиндоевропейского периода в значительном приближении к реально существующим формам.

Прежде чем перейти к анализу конкретного материала армянского языка отметим, что наиболее значительным достижением современной компаративистики, которая вновь обратилась к проблемам реконструкции, является системный подход к изучению языковых фактов. Современные компаративисты стали восстанавливать не отдельные элементы, а целостные системы. Системный подход к интерпретации реконструированных явлений начался на уровне фонетики. Идея о необходимости перейти от инвентаризации праязыковых фактов к их систематизации подвела вплотную к необходимости выявления принципов их системных связей и отношений, поскольку было признано, что изменяется не отдельный звук, а система звуков.

Перенесение принципов регулярности законов звуковых изменений, их системности на явления морфологии представляется весьма целесообразным, поскольку позволяет вывести закон регулярности и для морфологических изменений, также не знающих исключений, закон системности этих изменений. Только в этом случае о структуре слов в языке позднеиндоевропейского периода можно говорить с большей уверенностью и с меньшей вероятностью домыслов и догадок. Существенно при этом и наличие аналогичных данных по всем или хотя бы по большинству групп индоевропейских языков, в том числе и по отдельным языкам этой семьи, которые укладывались бы в определенные системы отношений. Только при этом условии система действительно стала бы арбитром, "а системность — критерием при решении задач оценки уже имеющихся реконструкций" [Журавлев, Нерознак, 1981, 7].

Попытаемся подтвердить на материале армянского языка корректность реконструированных и постулируемых для позднеиндоевропейского периода подсистем продуктивных словообразовательных суффиксов.

Априорно принимается, что если восстановленная система индоевропейских суффиксов трансформируется в конкретных языках системно, обнаруживая при этом закономерные соответствия, которые не

знают исключений, то это может служить доказательством корректности реконструкции, с одной стороны, и одноплоскостного существования восстановленных систем — с другой.

Еще младограмматиками для общего праязыкового индоевропейского состояния была восстановлена богатая подсистема словообразовательных суффиксов, среди которых наиболее продуктивными были суффиксы типа "согласный + гласный *o*" (CV), т.е. с исходом на гласный, типа **-to* **-lo*, **-ko* (**-s $\hat{k}o$*), **-ro*, **-jo*, **-no* и др. Одновременно с данной системой словообразовательных суффиксов для указанного периода была реконструирована другая подсистема словообразовательных суффиксов — с исходом на консонант (VC) типа **-es*, **-en*, **-on*, **-om* и др., которые формировали основы на согласный.

Предполагается, что указанные выше реконструированные подсистемы индоевропейских суффиксов после распада праязыка на отдельные индоевропейские диалекты получили в каждом из них самостоятельное развитие и трансформировались строго в соответствии с законами, действующими в конкретном языке. Исходя из постулата о том, что любая языковая система (на всех ее уровнях) видоизменяется в соответствии с языковыми законами, можно сделать вывод, что восстанавливаемые для праязыка словообразовательные суффиксы могут изменяться в отдельных языках системно только в том случае, если в праязыке они отражают реально существующее языковое состояние. На основе данных армянского языка можно проверить реальность восстановленных индоевропейских суффиксов, возможность их одноплоскостного существования в исходном индоевропейском праязыке в период до его распада, если установить системность их трансформаций в рассматриваемом языке.

Подобранный для анализа языковой материал имеет довольно большую доказательную силу, поскольку модели производных слов, образованных с помощью указанных двух типов суффиксов, в системе позднеиндоевропейского словообразования были весьма продуктивными. Это касается в первую очередь суффиксов с исходом на гласный **o* типа **-no*, **-lo*, **-to* (*-do*), **-ko* (**-sko*), **-jo* (**-ijo*) и др., которые формировали систему тематических **e/o*-основ.

Армянский язык унаследовал значительный пласт индоевропейских слов, в структуре архетипов которых наличествовали вышеуказанные суффиксы с исходом на **o* (**-no*, **-lo*, **-ro*, **-to* и др.). Подавляющее большинство этих слов в армянском языке относится к тематическим *o*-основам, которые здесь содержат большое количество слов индоевропейского происхождения. Наши подсчеты показали, что если в составе имен с *i/a*-основами индоевропейское происхождение имеют 9,5%, а с *i*-основами — 16%, то среди имен с *o*-основами индоевропейскими являются 27,6% [Туманян, 1978, 150].

Сравнение архетипов индоевропейских слов, образованных с помощью этих суффиксов, с их состоянием на уровне древнеармянского языка обнаруживает ряд изменений, происшедших в структурной

организации указанных архетипов на армянской почве. Приведем примеры.

В индоевропейском засвидетельствован корень **g^hher-* в значении 'тепло' (ср. рус. *гореть*), который выступал как в чистом виде, так и в качестве производного слова с суф. *-mo* (**g^hher-mo*). В армянском языке представлены обе формы — как корневая, так и производная. Из корневой формы **g^hher-* образуется арм. *jer* 'теплота, жара' (род. п. *Jeroy*), точно соответствующая греч. *ῥερος*, др.-инд. *hāras* 'жара' и др. Производная же основа с суф. **mo* (**g^hher-mo*) дает в армянском *Jer^m* (род. п. *Jer^moy*), прилагательное со значением 'теплый', с точным соответствием в греч. *θερμός* с ударением на конечном слоге.

Из и.-е. корня **s^uep-*, **sup-* 'спать' образуется цслав. *СЪРАТИ*, др.-инд. *svāpiti* 'спит'. Однако форма с суф. **-no*, образующая в праиндоевропейском производное слово в виде **s^uépno-s*, **s^uópnos*, дает начало в армянском *k'un* 'сон' — род.п. *k'noy* <*s^uópnós* (ср. цслав. *СЪНЪ*), греч. *ὑπνος* 'сон'. Армянская форма род. падежа восходит к архетипу *suópnós* с ударением на конце. И.-е. суф. **-to*, который находился под ударением и образовывал многочисленную серию прилагательных, четко вычленяется в армянском слове *mard* 'человек'. И.-е. корень **mer-*, **merā* 'умереть' дает в армянском *me^ranim* с тем же значением. Производная же основа с суф. **-to* (**mr^o-to*) в значении 'мертвый' отражена в армянском *mard* (род.п. *mardoy*) 'смертный, человек'. Ср. также греч. *μортός*

И.-е. суф. **-lo* образует в праязыке уменьшительные, затем различные производные из других основ. Армянский сохранил ряд слов, в составе которых содержится этот и.-е. суффикс. Так, например, сочетаясь с и.-е. корнем **rōi* : **rēi* : *rī* 'маленький, мало', суф. **lo-* (**-ko*, **-ro* и др.) образует архетип — производную основу **pō-lo-s*, откуда и арм. *ul* 'ягненок' — род. п. *ulo-y* и т.д. [Туманян, 1968]. Число указанных примеров можно значительно увеличить. Но достаточно и приведенных, чтобы сделать некоторые выводы о принципах структурной реорганизации системы индоевропейских производных основ с суффиксами типа **-lo*, **-no*, **-mo*, **-to* и др., которая произошла в армянском языке.

Прежде всего бросается в глаза тот факт, что подсистема и.-е. суффиксов с исходом на **-o* на почве армянского языка подвергается системной трансформации, т.е. на основе одних и тех же закономерностей, суть которых сводится к следующему:

1. Указанные производные и.-е. архетипы, в составе которых вычленяются суффиксы с исходом на гласный **o* (типа CV), на армянской почве перешли в статус корневых образований, далее не членимых на составные элементы. Однако эти корневые единицы действительно восходили к восстановленным архетипам, представляющим собой более сложные образования, а именно производные слова с различными суффиксами. Сейчас без сравнительного анализа нельзя установить, например, что корневое слово *Jer^m* 'тепло' состоит из и.-е. корня **g^hher* и суф. **-mo*.

2. Процессы реорганизации, имеющие место в армянском языке,

происходят в основном в конечном сегменте слова, состоящем из суффиксов и окончаний. Указанные суффиксы в армянском языке подвергаются расщеплению таким образом, что согласный компонент отходит к корню, формируя его исход и сохраняясь во всех парадигматических рядах. Гласный компонент *o* получает самостоятельность, проявляя избирательное отношение к падежам, которое выражается в том, что он становится обязательным для косвенных падежей и необязательным для прямых. В последних он полностью отсекается. Возьмем для примера тот же самый индоевропейский архетип **g^hher-mo* > в арм. *ĵerm* 'тепло'. В этом слове и.-е. суф. *-mo* так перестраивается, что его носовой элемент *-m* отходит к корню, образуя новый его исход. Происходит перерасположение суффикса в пользу корня. О том, что это *-m* действительно является частью и.-е. суф. **-mo*, свидетельствует сохранение чистого корня **g^hher*, представленного в армянском языке в слове *ĵer* (род. п. *ĵeroy*) 'теплота', греч. *θέρως*. В слове *ul* 'ягненок' из **pō[u]lo* 'маленький', где корнем является **pōu-*, а суф. — **-lo*, четко выделяется сонант *l*, который и здесь является согласным элементом суф. **-lo*, присоединившимся к корню. Слово *mard* 'человек', букв. 'смертный' (род. п. *mardoy*), восходящее к производной основе **mr_o-to* (с суф. **-to*), образовано по тем же правилам. Как видно из примеров, везде наблюдается аттракция корня, который притягивает к себе согласный элемент и.-е. суффикса. Кроме того, во всех проанализированных случаях гласный элемент суффикса (**-o*) представлен только в форме косвенных падежей, прежде всего в форме родительного как основообразующего. В прямых падежах он полностью исчезает.

Иная картина системной реорганизации наблюдается у производных архетипов с исходом суффикса на согласный (тип VC): **-em*, **-en*, **-es* и др. Данная подсистема в отличие от описанной выше характеризуется меньшими преобразованиями, которые к тому же носят иной характер. Прежде всего суффиксы здесь в отличие от описанных выше случаев не подвергаются расщеплению, а сливаются с корнем, формируя атематические основы. Приведем примеры. И.-е. корень **ol(e)-* 'гнуть, сгибать' образует при помощи суф. **-en* (тип VC) производную основу **ōl-en*. Данный производный архетип в армянском образует слово *otn* [otən] 'позвоночник' (из **ōl-en*) ~ греч. *ὀλήν, ὀλένη* 'локоть'. Как видно из примера, и здесь согласный элемент суффикса обнаруживает тенденцию к слиянию с корнем, образуя с ним новое слово, а гласный элемент, чередуясь уже внутри основы, формирует косвенные падежи атематических основ, ср. *ot-ə-n*, но род.п. *ot-i-n*. Из и.-е. корня **el-* со значением 'олень (и подобные ему животные)' с суф. **-en* образуется архетип **el-en*, который в армянском языке дает *eln* 'олень' (ср. кимр. *elain* 'олень', греч. *ἔλα-φος* 'олень' и др.), основа — *el-i-n*. Следует отметить, что носовой элемент этих суффиксов не всегда обнаруживает такую тесную спайку с корнем, как в тематических основах, где согласный элемент суффикса полностью абсорбируется корнем, составляя его неделимый ингредиент [Туманян, 1978, 317].

Анализируя особенности процессов изменений, происшедших в структуре индоевропейских слов, унаследованных в армянском языке, мы исходили из двух ключевых для нашего исследования постулатов, а именно: 1) в период самостоятельного развития индоевропейские языки могли изменять только ту систему, которую они получили в наследство от первоначального единства; 2) изменения в отдельных ключевых звеньях данной системы должны вести к последовательным изменениям всей системы на основе наличия закономерных связей ее элементов между собой. Отсюда вытекает положение о том, что регулярность и закономерность процессов трансформаций, которые происходят с индоевропейскими архетипами производных слов в армянском языке, не могут быть простым совпадением или случайностью по следующим причинам:

а) изменениям подвергаются не отдельные элементы восстановленной подсистемы, не тот или иной суффикс, а вся система суффиксов данного типа словообразования;

б) трансформация происходит не хаотическим образом, а на основе определенных закономерностей, образующих четкую систему соответствий;

в) указанные выше системные изменения имеют место на морфологическом ярусе, а данные морфологии, и в частности словообразования, обладают высокой степенью надежности и доказательности.

Из системы могут исчезнуть отдельные ее элементы, но сама система как таковая не может полностью исчезнуть — она может только трансформироваться, теряя при этом нередко большую часть составляющих ее конституирующих единиц, но и в этом случае реорганизация происходит системно. Известно, например, что словообразовательные модели языка-основы в различных индоевропейских языках подверглись трансформации, потеряв при этом четкость структурного членения, так как сдвинулись бывшие морфемные швы, свидетельствующие о первоначальной организации этих моделей в рамках слова. Но поскольку они образовали в прошлом систему, их реконструкция также должна была осуществляться не на основе выявления отдельных изоглосс, а путем восстановления самой системы в целом.

Согласно известному тезису Ф. де Соссюра, система организуется и функционирует на уровне горизонтального среза языка, синхронно. Отсюда можно постулировать, что в случае, если будет доказана системность реконструируемых архетипов праязыка, будет установлено и их одноплоскостное существование.

На основе анализа данных армянского языка было обнаружено, что реконструированная подсистема морфологического яруса языка-основы на уровне армянского языка подвергается изменениям, которые охватывают всю данную подсистему целиком, а не отдельные ее элементы и образуют при этом закономерные соответствия. Факт системного изменения отдельного восстановленного уровня праязыка является весьма примечательным, так как свидетельствует о том, что установленная для праязыкового состояния подсистема является действительно системой, поскольку составляющие ее элементы тран-

сформируются здесь не хаотично, а на основе определенных закономерностей, причем в итоге этих процессов образуются однотипные соответствия.

Поскольку разноуровневые, не связанные между собой системными отношениями элементы не могут дать одинаковых результатов — не знающих исключений соответствий, следует полагать, что восстановленные архетипы суффиксов, постулируемых для праиндоевропейского периода, действительно системно организованы.

Указанный факт имеет исключительное значение, так как свидетельствует об одноплоскостном существовании реконструируемых подсистем, а также о том, что реконструкция по существу была корректной.

ПРИЕМЫ СЕМАНТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

Семантическая реконструкция, т.е. процедура восстановления древнего, или предшествующего, значения слова, тесно связана с реконструкцией формально-фонетической и словообразовательно-лексической, а также с реконструкцией языковой (праязыковой) в целом. Имеющая место универсальная тенденция к усложнению последней (праязыковая диалектология) ведет, естественно, и к усложнению праязыковой семасиологии и к пересмотру ее хронологии.

Бесспорность этих связей, однако, еще не предопределяет характер и направление связей. Намерение говорить о "приемах" семантической реконструкции не означает, что уже решены принципы семантической реконструкции и другие базисные вопросы, и не освобождает от их обсуждения, хотя и перемещает акцент в план более детального анализа отношений слов и значений. Разумеется, сохраняют важность категории и положения, выработанные предыдущим исследованием: внутренняя и внешняя реконструкция, контроль реконструкции через генетические связи и семантическую типологию, генезис лексических значений исконным путем и через заимствование, относительная хронология (семантические архаизмы и инновации), закономерность семантических изменений (?) или, скорее, их контролируемость, семантическая универсальность и уникальность, реконструкция апеллативной семантики и ее резервы (ономастика, реликты, формы, реликты языка — субстраты), проблемы автономности и взаимосвязи, диахронии и синхронии.

Не последняя роль отводится тому, что было названо "семантическим инстинктом" исследователя¹, и, разумеется, опыту исследо-

¹ "К счастью, сейчас составители этимологических словарей по большей части обладают примечательным семантическим инстинктом (как я бы назвал это качество), т.е. они извлекли из большого числа обследованных ими историй слов такой опыт, что они держат в памяти множество параллелей смысловой эволюции или номинации" [WVB, 1979, XV].

вания — индивидуального и коллективного. Мы имеем в виду опыт этимологии и этимологической лексикографии индоевропейских, славянских и других языков (к настоящему времени опубликованы уже 14 выпусков "Этимологического словаря славянских языков", опирающихся на тридцатилетний опыт работы в этимологии и реконструкции лексических значений) и вклад этимологии в "историю идей". Говоря об истории идей, мы имеем также в виду, что именно этимология уполномочена дописывать историю лексических значений и реконструировать до письменный период этой истории, часто несравненно более длительный и бурный, чем собственно письменная история у слов фондовой лексики, для которых письменная история обычно застаёт уже период относительного покоя в собственной истории слов и значений [Трубачев, 1984].

Было бы неправильно, наконец, если бы в числе побудительных причин появления данного раздела не был отмечен тот факт, что уже исполнилось 30 лет со времени публикации "Семантических проблем реконструкции" Э. Бенвениста в американском журнале в 1954 г. — до появления компонентного анализа — и тем не менее тонких, во многом образцовых и сейчас в вопросах точного описания значений слов и их эволюции [Бенвенист, 1974].

Но главное, конечно, не во внешних поводах для обсуждения. Суть дела в том, что углубленное понимание значения есть, по нашему убеждению, уже тем самым его реконструкция [Трубачев, 1980, 3], а в этом деле нельзя обойтись без этимологии. Смутное понимание возросшей интердисциплинарной важности этимологии облекается иногда в причудливую форму признания ее "синхроничности". Таков ход рассуждений западногерманского автора К.-П. Хербермана: этимология обычно понимается как "единственная целиком диахроническая дисциплина" (Я. Малкиел, Э. Косериу), однако этимология вскрывает мотивацию, а мотивация — это "чисто синхроническое понятие" (С. Ульман), на основании чего делается вывод о синхроничности этимологии, ср. и способность этой дисциплины к классификации и систематизации [Herbermann, 1981, 22 и след.]. Перед нами поучительный пример отрицательного давления терминологии и понятийного ригоризма, жертвой которого стал упомянутый автор (далее мы будем говорить и о других примерах ущерба, наносимого науке типично метафористическим мышлением). Соссюрианская дихотомия диахронии—синхронии заслонила Херберману реальную живучесть, функционирование диахронии в синхронии. Разумным пониманием этого последнего, думается, необходимо уравновесить одностороннюю тенденцию к переформулировке диахронии в духе синхронии. Целесообразнее, по-видимому, согласиться с другими учеными в том, что смена поколений влечет за собой и смену интересов к научным направлениям и что сейчас растет вновь интерес к истории и этимологии, а вместе с ним и готовность признать именно за этимологическим исследованием умение "установить степень мотивированности языкового знака в определенный момент" [Pfister, 1980, 4, 37; Трубачев, 1983, 173].

Чем дольше мы изучаем значение слова, тем острее понимаем

важность проблем и приемов записи значения, влияние правильной (resp. неправильной) записи значения на правильную (resp. неправильную) интерпретацию значения. Понятно отсюда и наше желание разобраться насчет реального места некоторых приемов. Семиотическое понимание значения как "перевода знака в другую систему знаков" (Ч. Пирс) [цит. по: Jakobson, 1980, 10] и построенная целиком на этой базе популярная теория семантического метаязыка (языка описания) могут быть, в свете нашего опыта, сведены к проблеме синонимии и синонимизации², что, с одной стороны, показывает важность извечной проблемы синонимии в языке и лексике, а с другой — демонстрирует тенденцию к метафорическим преувеличениям, которая характеризует — и затрудняет — нынешнее теоретическое языкознание. В самом деле, что есть перевод, как не упражнение по синонимии прежде всего? В презумпции интерлингвальности всякого перевода содержится преувеличение. Так, нам сулят пунктуальное описание, а взамен мы получаем неточное сравнение и переносное употребление. Поневоле приходят в голову молитвенные слова Поля Луи Курье: "Боже, избави нас от лукавого и от образной речи! Иисусе Спасителю, спаси нас от метафоры!"³

Реконструкция — сущность сравнительного языкознания, однако любопытно отметить, что современную формулировку проблемы охотно связывают с именем Соссюра [см.: Gambiara, 1977, 52—53], с которым до недавнего времени связывали совсем другие задачи совершенно другого способа видения языка. Действительно, в специальном небольшом разделе своего "Курса" (Гл. III. Реконструкции) Ф. де Соссюр признает реконструкцию единственной целью сравнения, цель самой реконструкции видит в "регистрации успехов нашей науки" и высказывает уверенность в надежности реконструкций [Соссюр, 1977, 255 и след.]. Мы бы сейчас сказали, что главная цель как сравнения, так и реконструкции — углубленное понима-

² См. подробнее: «Здесь уместно вспомнить о негативном давлении терминологии на примере теории метаязыка как (другого?) языка описания, а также эффективной, но шаткой семиотической концепции значения у Пирса (Peirce) как "перевода знака в другую систему знаков"... Вообще проблема синонимической сложности языка, несмотря на интерес к ней нынешних исследователей, все еще до удивительного недостаточно изучена и оценена, причем именно теми, кто, казалось бы, по роду своих занятий трансформациями и семантическими "языками описания" должен был бы по достоинству оценить потенции языковой синонимии... Теория метаязыка вообще уязвима как раз в плане синонимии, ибо практически применения метаязыка (иначе — языка описания) в толковой, одноязычной лексикографии — это не что иное, как парад синонимов того же самого (описываемого) языка причем по крайней мере в этих случаях — кстати, важнейших в силу важности толковых словарей, — проблема особого языка описания попросту снимается. Встречаемые в литературе остроумные рассуждения о „метаязыковой потребности“ человека, начиная с детского возраста (вроде ответов на вопросы ребенка, „это что?“), или о том, что мы пользуемся всю жизнь метаязыком, сами того не подозревая (мы бы сказали: толкованиями, синонимическими переинтерпретациями с применением различных выразительных средств, слов, конструкций), свидетельствуют все о том же — о надуманности проблемы» [Иванов, Трубаев, 1982, 7].

³ Из письма П.А. Вяземского (цит. по: Раевский Н. Портреты заговорили. Алма-Ата, 1980. С. 195).

ние связей и причин. Точность хороших реконструкций в этимологии бывает достаточно высока, и все же она допускает неединственность решений, что неизбежно для каждой объясняющей, а не описательной науки. В конечном счете все решает точка зрения исследователя. В контексте того, что изложено нами выше, глубокое удовлетворение и одобрение вызывают слова, сказанные Соссюром: "Ce sera une des utilités de l'étude historique d'avoir fait comprendre ce qu'était un état" ("Одним из полезных свойств исторического исследования явится то, что оно позволило понять, что такое состояние"). Между тем и сейчас еще лингвисты, не задерживаясь на этой мысли Соссюра, видят главное в тоне (и контексте) "строгого укора", адресованного Соссюром историческому языкознанию [Jakobson, 1980, 54].

Потребность синхронического общения нередко понимают упрощенно, недооценивая, например, информацию, заключающуюся в живом слове; время от времени отмечающееся оживление (резтимологизация) в речи (высокой, поэтической, окказиональной) отдельных, казалось бы, давно забытых этимологических связей созвучно семантической реконструкции, на которую направлено этимологическое исследование. Более того, указанное оживление древних связей хорошо демонстрирует их потенциальную актуальность, а вместе с тем и актуальность самих исследований по этимологии, представляющих вовсе не схоластический научный интерес. Мы никогда так и не поймем природы этой резтимологизации слова в речи, если не постараемся понять, что наше слово "всегда несет большее количество информации, чем наше сознание способно извлечь из него..."⁴.

То, что подобная резтимологизация осуществляется не всегда и не во всякой речи, а в выдающимся образом организованной речи (выше — поэтической), также составляет одно из естественных условий. Говоря иначе, своеобразным этимологическим тестом гениальности такого мастера русской художественной речи, как Лев Толстой, может служить один пример (их, бесспорно, больше, но это могло бы быть темой особого исследования), когда мы читаем о физическом веселье, которое ощущал Стива Облонский (буквально в тексте — "...чувствуя себя... здоровым и физически веселым..."): Толстой едва ли знал об этимологическом родстве этого слова с латышским *vesels* 'здоровый' и о дальнейшем происхождении от и.-е. **wesu-* 'хороший, добрый', но он пронизательно увидел, уловил эту потенцию употребления слов *веселье*, *веселый*, не дав себя сбить значению эмоциональной игривости, абсолютно преобладающему и активному во всех славянских языках, но банальному и, как видим, этимологически не первоначальному.

В свое время крупные шаги в направлении к раскрытию этих идеологических потенций языка и слова сделал, как известно, В.И. Абаев [1934; 1948]. К плодотворной абаевской концепции идеосемантики и ее пробуждения в высоких стилях речи примыкают и наши суж-

⁴Р. Якобсон, по которому мы цитируем это высказывание А.Э. Шерозиа [Jakobson, 1980, 129], вряд ли прав, видя здесь соответствие гипотезе Сепира—Уорфа.

дения о собственном, специфическом значении слова как знаменателе важности собственного происхождения слова, а также о том, что этимология предопределяет стилистику слов (на примерах слов со значением 'торговля' в разных европейских языках) [Трубачев, 1976, 170—171]. Современное речевое употребление — при обязательном условии точности его описания, записи — хранит большие потенции вскрытия непрерывного действия этимологических связей. Австрийская исследовательница У. Ройдер, занимаясь внутренним, семантическим родством слов греч. *θῦμός* 'мужество, ярость', др.-инд. *dhūmāḥ* 'дым', лат. *fūmus* 'дым' и хет. *tuhḫima-* 'одышка, удушье', реконструирует не только, в общем, очевидное направление семантического развития 'дым'→'мужество, ярость' и фрагмент соответствующего представления древних индоевропейцев о мужестве или ярости как о внутреннем огне, разжигаемом в теле желчью и раздуваемом мехами легких. Гораздо важнее следующий вывод У. Ройдер: "Работа по реконструкции облегчается тем, что потускневшие картины мира (*verblaßte Weltbilder*)... продолжают жить в оборотах речи еще очень долго, иногда тысячелетия (разрядка наша. — О.Т.)" [Roider, 1981, 109]. Примеры последнего исследовательница видит в немецких выражениях *gauchen vor Wut* (ср. рус. *пышет яростью*) — *der Zorn vergaucht, der Mut wird gekühlt*. С другой стороны, — и это тоже очень важно — дескриптивная мысль синхрониста, какой бы точной она сама себе ни мнилась, неизбежно скользит по поверхности, не затрагивая интересующих нас явлений и даже порождая удобную иллюзию коммуникативного их забвения. Некоторые авторы, в общем, сознают, что "внутренняя информативность (неисчерпанность скрытых возможностей) объекта значительно выше, чем тот же показатель его описания" [Лотман, 1974, 13], но, скорее всего, поворот в сторону "динамики", "динамической модели" носит в большей степени терминологический характер и преодолеть жесткую, статическую сущность синхронного описания никогда не сможет.

Лексическая семантика — особый уровень языка, несмотря на терминологические споры и даже целые направления, работавшие без признания семантического и в целом — лексического уровня. Так, например, в ряде докладов советско-чехословацкого симпозиума "Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие" (апрель 1967 г.) чувствовалась тенденция растворить уровень лексической семантики в концепции языковой семантики с ее (бинарной) оппозицией языковой структуре, а также синонимизировать понятия семантики и функции [ЕЯВ, 1969]. Впрочем, и в самое последнее время можно встретиться с утверждениями вроде того, что "семантика не является языковым уровнем..." [Бахнарь, 1982, 33]. И это не должно вызывать удивления, если вспомнить, что целые лингвистические школы (например, американская дескриптивная лингвистика) обходились также без лексического уровня вообще. Сюда примыкают и другие концепции, не различающие слово и словоформу и изучающие все пространство между уровнями фонологии и синтаксиса в духе морфемики.

Из правильной идеи взаимосвязи уровней предшествующим языкознанием был сделан явно преувеличенный вывод о равноструктурности, или (не совсем точно) изоморфизме уровней, имевшей далеко идущие последствия. Понятия изоморфизма выдвинуто в 1949 г. Е. Куриловичем и формулируется как идея структурного параллелизма между звуковыми и семантическими комплексами [Курилович, 1962, 21, 25—26]. Практически это выразилось в появлении опытов "фонологизации" семантики, т.е. ее структурирования по образу и подобию фонологического уровня и оперирования семантической нейтрализацией, семантическими ДП, вариантами и их семантизацией (читай: фонологизацией) [Бенвенист, 1974]. Надо признать, что сам автор понятия изоморфизма после первых своих несколько прямолинейных высказываний избегал впоследствии настойчивых утверждений об изоморфизме семантического и формального уровней [Kurylowicz, 1965], чего никак нельзя сказать о его последователях [см.: Трубачев, 1976, 150]. Результатом явились не только голословные высказывания об изоморфизме всех уровней, но и опыты описания одного уровня через другой. При этом для сторонников классического структурализма это были описания снизу вверх, от низшего уровня к высшему (конкретно — "фонологизация" всех уровней, включая семантический [ср.: Benveniste, 1954]), в чем, даже если не соглашаться с этим, можно еще признать известную стройность (сведение к меньшему числу единиц описания).

Однако с распространением генеративистских учений появились и опыты описания семантики через синтаксис, т.е. низшего уровня через высший, процедура внутренне противоречивая, о чем говорят хотя бы поиски "элементарных смыслов". Вопрос этот затрагивается здесь потому, что он имеет очень серьезные теоретические и практические последствия. Совершенно справедливо мнение о схоластичности суммативного изоморфизма "снизу вверх" — от фонемы к высказыванию, поскольку при этом игнорируется фактическая несводимость высших форм к низшим [Белый, 1982, 33]. Надо ли говорить, что в изоморфизм "наоборот" (т.е. от высшего к низшему) поверить еще труднее. Недаром раздаются голоса о "хорошо известном факте анизоморфизма языков" ("...el hecho bien conocido del anisomorfismo de las lenguas" [ILG, 1977, 251]). Ходячее утверждение о сумме универсальных сем как значении слова естественного языка, таким образом, глубоко проблематично и сомнительно. Искать универсальные для каждого языка смыслы на синтаксической базе значило бы недооценивать элементарное противоречие между изменчивостью, зыбкостью пропозитивной семантики и устойчивостью лексической семантики [ср.: Телия, 1981, 71]. Даже в трудах последовательных пражских структуралистов сейчас можно встретить "международные (универсальные) семы лексического значения" [Nětmes, 1981], что, как и вышеупомянутые "универсальные смыслы", идет от генеративистских концепций трансформаций синтаксических процессов в словообразование и семантику слов и уже вызывает оправданную критику с разных сторон [Vajs, 1982, 23].

Умение различать уровни языка неотрывно от умения видеть

их автономию. Не кто иной, как Якобсон указал, что ошибка многих лингвистов заключается в том, что они изучают уровни с позиций гетерономии, т.е. колониализма, а не автономии [Jakobson, 1980, 95].

В чем же выражается автономия уровня, если говорить о ее наиболее ярких проявлениях? Очевидно, в первую очередь в деривации, если иметь в виду своеобразие деривации семантической сравнительно со словообразовательной деривацией, тем более что семантическая реконструкция интересуется именно деривацией лексического значения. Как раз здесь и обнаруживаются наибольшие затруднения, хотя, казалось бы, нет недостатка в работах, изучающих производные слова и их значения. Однако нет и надлежащей четкости в понимании генезиса производных образований и их значений. При всех возможных нюансах толкований над соответствующими анализами тяготеет схема однонаправленности деривации формальной и семантической. Не будучи ошибкой в ряде случаев, эта изоморфистская схема чревата ошибками при попытках ее абсолютизации, т.е. распространения на все случаи.

И все-таки, при всех недостатках, исследования, которые ведутся в русле "традиционных" направлений (включая теперь уже и работы в духе классического структурализма), изучая производность слов и значений, изменение значений, появление вторичных значений, семантическое приращение (терминология при этом бывает различной), способны воссоздать в известном приближении если не картину, то схему, хотя бы в принципе не противоречащую объективной. Показателем этого является объективно правильное выделение в корнях или основах словообразовательных дериватов случаев "семантических архаизмов", где ожидаемая семантическая деривация не состоялась, а имела место, напротив, семантическая консервация [ср.: Ермакова, 1977, 31, 33—34]. Правда, и в этих исследованиях нет объяснения этого явления, но сама способность нащупать важный феномен налицо. Примечательно, что трансформационная доктрина словообразования как первоначально синтаксического процесса, прошедшего конденсацию (компрессию, свертывание и т.п.), оказывается, в сущности, мало интересуются семантическим приращением; вне поля зрения генеративной лексической семантики остается и упомянутый феномен семантической консервации в словообразовательном производном. Типичной в русле этого направления в нашей литературе является книга Е.С. Кубряковой [1981]. Читая такие работы, все время задаешься вопросом, насколько четко различают (и различают ли) исследователи свой собственный рабочий метаязык описания и поддающиеся проверке факты действительного свертывания фразы в слово. Опасность сбиться на изучение своего собственного метаязыка описания крайне велика, и это не может не тревожить исследователей проблемы подлинной семантической реконструкции слова, не говоря о других приведенных выше примерах утраты тонкости в вопросах семантической интерпретации. Сама "динамичность" динамической модели [ср. об этом еще: Straková, 1983, 217 и след.] при этом делается спорной. Во всяком случае, семантическая реконструкция как исследовательская задача нуждается в другом динамизме.

После этого станет понятной наша настороженность в отношении всякой постулируемой семантической конденсации, будто бы присущей любой деривации без исключения [Мартынов, 1982, 130 и след., 134]. Так, суффиксальные производные вроде *стар-ик*, *стар-ец* вовсе не обязательно представляют собой свертывание первоначально двухкомпонентного словосочетания *старый человек*. Гораздо более реальной представляется картина свободного употребления прилагательного *старый* (о человеке), и суффиксальное оформление его в *стар-ик* было лишь формальным довершением уже наметившейся субстантивации. При занятиях историческим словообразованием такие примеры встречаются во множестве, и было бы произвольно видеть здесь обязательные эллипсисы первоначально двучленных конструкций. Схема бинаризма всякой номинации (хотя бинарные оппозиции как будто неотрывно входят в арсенал структурализма), особенно же его последующие конденсации смыкаются с семантическим генеративизмом, разделяя его недостатки. Нужна определенная широта и нескованность мысли, чтобы увидеть возможность изначальной эллиптичности (точнее — одночленности) подобных случаев словообразования, семантики, номинации вообще.

Но о бинаризме речь еще будет дальше, а эту часть своих рассуждений мы намерены закончить другим. Занимаясь деривацией словообразовательной и семантической, многие упускают из виду, что старая функция (читай: значение) может закрепляться за новой формой, а новая функция — за старой формой, что делает понятной потенциальную противоположность словообразовательной и семантической деривации (в нашей литературе нам приходилось встречать рассуждения на эту тему, но только на эмпирическом уровне, без теоретического осмысления и истории вопроса [ср.: Ермакова, 1977]). Этот закон ("4-й закон аналогии") выдвинул — по иронии судьбы — тот же самый ученый, который обосновал и противоположное понятие изоморфизма, — Е. Курилович, причем в том же, 1949 г. (двойная ирония!) в статье "*La nature des procès dits analogiques*" [Kuryłowicz, 1949, 15—37], которую историки науки потом назовут "знаменитой" [Szemerényi, 1982, 134, 136]. Неисповедимым образом, однако, эта статья, а с ней и сам закон не получили, в частности у нас, такой громкой известности, которой до сих пор пользуется неистребимо популярный изоморфизм. В нашей работе об этимологических исследованиях и лексической семантике 1976 г. был поставлен вопрос "о наличии в отношениях семантики и словообразования своеобразной междууровневой компенсации, т.е. явления, скорее противоположного изоморфизму" [Трубачев, 1976, 152]. Там же, а собственно говоря, еще раньше, на основании этимологического исследования славянской ремесленной терминологии, написанного 20 лет назад, был сделан вывод, что "довольно часто семантическое новообразование если и сопутствует формально-фонетическому новообразованию, то отнюдь не обязательно совпадает с ним в одном слове; напротив, при этом нередко складываются отношения своеобразного парного равновесия, при котором новообразование формы одного слова компенсаци-

руется новообразованием значения другого слова” [Трубачев, 1966, 220]. В старой деривации, вскрываемой практикой этимологии и исторического словообразования, такое явление известно. Можно сослаться здесь на наш пример отношений производящего слав. **gьrнь* (рус. *горн* [плавильный] и т.д.) и производного **gьrн-ьсь*; последнее, будучи словообразовательно уменьшительным от **gьrнь* ‘горн’, должно было бы значить — в духе изоморфизма — ‘маленький горн’, однако вместо этого данный словообразовательный деминутив знает в славянских языках только значение ‘горшок’, как оказывается, значение архаическое не только для производного **gьrньсь*, но и для производящего **gьrнь*, под древней формой которого кроется обновленное значение ‘плавильная печь’ (реально-исторически такая печь вначале — подобие горшка или сооружения из горшков).

Как видим, мы пришли к аналогичному выводу самостоятельно, опираясь на материал этимологии, правда, без учета закона, опубликованного Куриловичем раньше. Впрочем, думается, что и в европейском (и в мировом) языкознании в целом 4-й закон аналогии Куриловича, если и известен, все же используется совершенно недостаточно там, где его действие следует допускать с большим вероятием, — во всех случаях смены форм и функций и в соответствующих операциях по реконструкции предшествующего состояния. Один из ярких примеров на сравнительном индоевропейском материале — судьба формантов и окончаний вокатива и номинатива ряда основ на согласный: вокатив как категория (функция) вторичен, однако за ним закреплено бесспорно первичное (первоначально номинативное) словообразовательное окончание *-ter*, *-or* с краткостью, тогда как старая функция номинатива перенесена на обновленную форму с продлением *-tēr*, *-ōr* (некоторыми неточно реконструируемую как исконную форму номинатива, как, например, у Семереньи в книге о терминологии родства [Szemerényi, 1977]). Точно так же кажется допустимым отождествлять, например, с балтийскими именными исходами *-ā* (>*ā*) только исход *-o* (и-е. *-ā*) славянских вокативов основ на *-a*, но не сами эти последние номинативные исходы, где *-a* (долгое *-ā*) удержалось в условиях местного инновационного продления формы со старой функцией.

Отступление преследовало единственную цель — показать важность данного положения для работ по реконструкции форм и значений. Остается сказать, что ничем этим не интересуется “динамическая” модель генеративной семантики слова.

Значит, направление, которое изъявило готовность принять эстафету исследования словообразовательной и семантической деривации после направления, основанного на анализе парных, в том числе лексических, оппозиций, органически не сможет адекватно охватить полноту динамики слова и значения. Не следует, впрочем, думать, что бинаристская (структурная) лингвистика уже сдала свои позиции. Она продолжает работать над проблемами, которые интересуют всех нас, демонстрируя одновременно как отдельные достижения, так и коренные свои недостатки. Общим предостережением могут

послужить слова Мартине, сказанные, правда, по поводу другого конкретного случая (билингвизм — диглоссия): "Опасность как здесь, так и в других случаях состоит в навязывании упрощенной бинарной оппозиции, которая способна лишь затушевать исключительное разнообразие исследуемых ситуаций" [Martinet, 1982, 11]. Упрек очень серьезный, потому что бинарная (парная) оппозиция причисляется к главным достижениям структурализма. Противопоставление в лексике как универсалия языка по-прежнему занимает молодых лингвистов [ср.: Маслова, 1981]. Несмотря на выступления против бинарных упрощений, именно на них и на поисках ограниченного числа универсальных смыслов строятся оппозитивные анализы лексического значения: компонентный анализ (разделение значения слова на элементарные, неделимые "кванты содержания", семы), дистрибутивный анализ (через описание позиций, употреблений, окружений) [Васильев, 1975, 158 и след., 172].

Однако замечено, что компонентные семантические анализы вроде 'дантист' = 'вставлять'+ 'зубы' не более как гипотеза, иначе — один из возможных анализов, но отнюдь не вскрытие объективных отношений между компонентами [ILG, 1977, 250]. Точно так же не выдерживает проверки этимологией и семантической реконструкцией и оказывается всего лишь непригодной гипотезой другая ходячая истина компонентного анализа — о том, что семема 'птица' включает сему 'лететь' [см. подробнее: Трубачев, 1980, 9 и след.]. Согласимся, что гипотетичность описания (а анализ по семантическим компонентам — это прежде всего описание типа фонологического анализа, ср. выше концепцию изоморфизма уровней) — признак тревожный (*contradictio in adiecto*). Испанский лингвист Ф. Адрадос писал по этому поводу в коллективном труде "Введение в греческую лексикографию": "Очевидно, что всякая семантическая теория стремится к упрощению... В действительности существует тенденция к двум взаимно противоположным упрощениям, которые одинаково опасны, если принимать их безоговорочно: а) одна из них — та, которая находит в значениях слов устойчивые и постоянные элементы, организованные в устойчивые и постоянные сочетания (...компонентный анализ), б) обратной является тенденция к установлению строгого разграничения между оппозициями слов и оппозициями более высокой иерархии..." [ILG, 1977, 250].

Сказанное верно, но схватывает суть дела не до конца. Современная теоретическая мысль в области семантики стремится к упрощению и одновременно боится простоты и всячески ее избегает, а вместе с тем бежит и от здравого смысла. Недвусмысленные симптомы этого — критически высокая метафоричность научного языка и мышления и гипертрофия внешних атрибутов точности анализа и терминологии. Сейчас нередко стыдятся говорить о расширении значения или о его сужении (специализации), предпочитая говорить о прибавлении новых сем — латентных (скрытых), потенциальных, реальных, конкретных, обязательных [ср.: Dolnik, 1982, 109 и след.]. Семантическая реконструкция остро заинтересована в прояснении этого вопроса — ведь речь идет о динамике значения

слова. Все говорят о динамике, ей посвящены работы по компонентному анализу семантического приращения, но на деле мы получаем не динамику, а статику. Попытки понять семантическое развитие как выделение новой семы не раскрывают динамики явления. Постулируемая новая сема как бы имплицитно в составе (новой) семемы наличие междусемного шва, стыка, чего в языковой действительности не наблюдается. Нужно признать, что эти опыты недостаточно тонки для описания значения и восстановления его эволюции. Единственно достоверное, на что мы можем сейчас серьезно опереться с виноградовских времен, — это констатация основного собственного значения слова и контекстно обусловленных употреблений этого значения. Вся суть семантической эволюции — во взаимодействии обеих категорий. Сходную мысль выразил Мартинет: "Каждое слово в каждый момент языковой эволюции обладает определенными семантическими достоинствами, известными носителям языка, на основе которых можно толковать изменения, задаваемые различными контекстами" [Martinet, 1983, 3].

Сейчас, как и прежде, мы вынуждены повторить, что компонентная делимость значения не доказана [Трубачев, 1980, 8]. Изменение значений слов происходит не так, как его упрощенно и механистически описывают, и, следовательно, на этот опыт нельзя ориентироваться при проведении семантической реконструкции слова. Весьма симптоматично встреченное в этой литературе указание на "очень значительное число неразложимых семем (типа 'береза', 'ольха', 'мак', 'полынь' и т.п.), которые мы вынуждены пока трактовать как состоящие из одной семы" [Толстой, 1968, 346; ср. также: Blanař, 1983, 111]. Между прочим, и специалисты по толково-комбинаторной лексикографии уклоняются от лексикографирования таких слов, считая, что толкование тут можно заменить картинкой реалии. А ведь этимология и семантическая реконструкция располагают данными для того, чтобы восстановить непростой и длинный путь развития лексем и семем 'береза', 'ольха', 'полынь'... Мощным резервом семантической реконструкции следует считать тот факт, что "очень мало слов выпадает из языка, потому что — почти как правило — они подвергаются дифференциации внутри синонимического ряда и таким способом взаимно перегруппировываются, и языковые эпохи этим и отличаются по большей части друг от друга" [Матияшевић, 1982, 120—121]. Нам тоже уже приходилось раньше говорить о том, что в языке гораздо больше переосмыслений, чем абсолютных прибавлений и вычитаний (утрат) [Трубачев, 1980, 12]. Значит, основной путь изменения словарного состава — это переосмысление.

Важнейшими понятиями лексической семантики и семантической эволюции, включая ее реконструкцию, остаются помимо уже называвшейся синонимии полисемии и омонимии. Как известно, триумф этимологического исследования — в умелом решении задач на омонимы [ср.: Трубачев, 1985, 8]. Однако, неизменно признавая фундаментальную лингвистическую важность этих понятий, необходимо постоянно иметь в виду их соотношенность с внеязыковой действительностью: "Первым важным фактором при различении полисемии и

омонимии является внеязыковая действительность” [Peciar, 1980, 87]. Речь должна идти именно о соотносительности, а не о прямолинейной связи, которая обычно кладется в основу семантических дифференциальных признаков. ”При полисемии все значения слова связывает некоторое общее представление... При омонимии эта общая база и связь значений отсутствуют” [там же, 92]. Было бы странно отрицать тот факт, что семантическое словообразование — это как раз и есть результат критического разрастания полисемии, хотя попытки такого отрицания встречаются [Марков, 1981, 20].

Каждый серьезный исследователь заинтересован в том, чтобы несколько сократить существующие недостатки реконструкции. Очевидным представляется постулат, что всякое действительное тождество должно быть доказуемым и что семантическая вариация — гораздо более распространенный феномен, чем абсолютное тождество значений. Можно понять поэтому мнение, что историческая лексикография должна всегда сомневаться в однозначности слова современного языка и того же слова в древний период истории языка [Němec, 1980, 92]. Столь же важно для семантической реконструкции требование возможной точности описания значения, т.е. функциональной синонимии. Вероятно, только на этом пути восполнимы ”недостающие звенья”, которые всех так волнуют. Наверное, разные исследователи видят по-разному минимизацию недостатков реконструкции. Так, австрийский лингвист О. Панагль в специальной работе о семантической реконструкции в этимологии относит к числу достижений лексической семантики за время после выхода известной работы Э. Бенвениста компонентный, или признаковый, анализ [Panagl, 1980, 317 и след.]. Но, учитывая ошибки субъективизма, прямолинейной экстралингвистичности или же вообще недостаточно тонкую методику членения значений на семы даже при хорошо наблюдаемой семантике слов, трудно возлагать особенно большие надежды на такой анализ при реконструкции древних состояний. Если дело обстоит так, то говорить об осязаемом прогрессе за 30 лет, истекших со времени появления статьи Бенвениста, не приходится. По-прежнему необходимо стремиться к более точному описанию употреблений слов, к изучению факторов появления нового вида значения, к определению основного понятия и его различных реализаций (вспомним сказанное выше о значении слова и его употреблении вслед за В.В. Виноградовым).

Исследовательская практика учит нас также отличать способы, ведущие к разрешению реальных проблем, от тех, которые только доказывают общеизвестное (так, впрочем, рекомендовал и Бенвенист [1974, 348], предостерегавший и против ложных ”очевидных” истин, которыми, кажется, активно питается практика компонентного анализа лексических значений, ср. выше о воззрениях на состав значений слов *дантист* и *птица*). Нам нечего, например, возразить против одного опыта интерпретации формальными методами нашей этимологии — семантической реконструкции слав. **pěti*, **poje* ‘петь’ ← ‘совершать возлияния (божеству)’ на основе тождества (нейтрализации) с презентным **poje*, рус. *пою* в составе **pojiti* ‘поить’, кроме того, что этот новый род записи (см. ниже) уже известных данных

('торжественно петь', 'возносить молитвы' как центральные значения и 'гласить', 'петь' как периферийные значения, с последующим выделением способа совершения жертвы — магического песнопения [Homolková, 1983, 119 и след.]) не добавляет ничего нового к нашей давней этимологии 1959 г. [Трубачев, 1959, 135 и след.]. Более того, не будь той этимологии, которая, оставаясь гипотезой, одновременно представляла собой довольно реальный шаг в направлении воссоздания неизвестного (забытого) языкового прошлого, не было бы и этой попытки интерпретации формальными методами того, что уже сказано этимологией.

Возвращаясь вновь и вновь к бенвенистовскому требованию более точного описания употребления слов, без которого вскрытие условий появления нового вида значения существенно затрудняется и, наоборот, повышается риск неточной оценки природы процесса, мы воспитываем в себе зоркость и наблюдательность, а вместе с ними способность фиксировать свое внимание на ранее не замеченных несоответствиях. Мы имеем в виду поучительные случаи, когда привычная, традиционная и, казалось бы, точная запись значения (подчеркнем, что здесь имеется в виду не происхождение, а именно запись современного, живого значения!) не столько показывает основное значение слова, сколько скрывает его от нас за своего рода идиоматизированным (связанным) словоупотреблением. Уточнив, скорректировав традиционную запись значения, мы заметно облегчаем семантическую реконструкцию.

Наиболее подходящими кажутся при этом примеры из недавней практики подготовки двенадцатого выпуска "Этимологического словаря славянских языков", посвященного, как известно, реконструкции праславянского лексического фонда и его более глубоких, индоевропейских, связей. Остановимся в первую очередь на словах праславянского гнезда **krasa* — **kresati* — **krěsiti*. Так, глагол **kresati* устойчиво обнаруживает значение, которое мы привыкли передавать как 'высекать огонь, искру', ср. значение русского (прежде всего диалектного) слова *кресать*. В отдельных славянских языках и диалектах **kresati* выступает также в значении 'бить, ударять', в чем сказывается видимое влияние рифмы **kresati* с глаголом **tesati*, позволяющее отнести при семантической реконструкции значение 'бить' как вторичное для **kresati*. Но внимательное изучение толкования значения **kresati* как 'высекать огонь/искру' (поддающегося переформулировке и как 'выбивать огонь/искру') наряду с некоторыми другими соображениями, о которых ниже, позволяет увидеть и в этом случае связанное, идиоматическое и, как увидим, вторичное употребление, ср. хотя бы постоянно наличествующее или подразумеваемое дополнение/объект — *кресать (огонь, искру)*. Иллюзия единственной возможности именно этого толкования значения (*кресать* 'высекать, выбивать огонь, искру') поддерживалась в реальном плане техникой добывания огня ударом. Однако дальнейшее внимательное изучение, во-первых, типологии называния способов добывания огня в более далеких языках, а во-вторых, показаний производных и других слов лексического гнезда **kresati* в славянских

языках упорно свидетельствует, что толкование значения *kresati* 'высекать, выбивать (огонь)' есть не более как запись значения, одна из возможных записей значения, которое могло быть записано и иным способом, более адекватным этимологии слова (например, 'добывать (огонь, искру)').

Постоянная идиоматическая спайка глагола и дополнения слав. **kresati ognь* дает нам право обратиться к равнозначным парам, например лит. *ùgnì kùrti* 'разжигать огонь', далее — нем. *Feuer anstiften, Feuer anmachen*. Интересно при этом, что лит. *kùrti*, в составе идиоматического сочетания *ùgnì kùrti* означающее действие 'разжигать', обладает — как основным — значением 'создавать, производить', что, в свою очередь, позволяет правильно взглянуть на значение 'разжигать' как на вторичное для глагола *kùrti*, иначе говоря — его идиоматизированное употребление. Что же касается немецких глаголов *anstiften, anmachen*, то для всякого элементарно владеющего немецким языком ясно их основное значение 'устанавливать, создавать, делать' что угодно, в том числе и *Feuer* 'огонь'.

Следовательно, типология сочетаний 'разжигать огонь' в других языках показала реальность их первоначального значения 'создавать огонь', а это существенно и для наших поисков исходной семантической базы славянского словосочетания **kresati ognь*. Обращение к другим словам гнезда **kresati* подтверждает наличие внутренних данных в пользу такого типологического вероятия. Достаточно взять родственный этимологический глагол **krěsiti* с его важным значением 'оживлять, освежать, воскрешать', непосредственно производный от имени **krěsъ* — названия летнего солнцеворота, т.е. прежде всего возрождения (а побочно и связанного с ним купальского огня). Деривативное продление вокализма **kresati* > **krěsъ* сомнений не вызывает, а иная этимологизация последнего (**krěs-* < **krěp-s-* < **kroip-s-* в связи с семантикой 'оборачивать, поворачивать') не кажется приемлемой. В свете изложенного допустимо реконструировать древнее значение словосочетания **kresati ognь* как 'создавать огонь' (следует признать, что это пример того, как собственно реконструкция значения сливается с углубленным, правильным пониманием современного значения, см. об этом в начале раздела).

Окончательный вывод гласит, что значение глагола **kresati* безотносительно к названному контексту было 'создавать, творить' и что слав. **kresati* этимологически родственно лат. *creō* 'создавать, творить, производить', *crēscō* 'расти'. Имя **krasa*, связанное с **kresati*, **krěsъ*, **krěsiti* чередованием *a/ě*, или **ō/*ē*, семантически убедительно реконструируется как 'цвет жизни', откуда затем — 'красный цвет, румянец (на лице)', значение, которое иногда упрощенно понимают как безусловно вторичное, недооценивая древний синкретизм красного именно как цвета жизни; далее — 'цветение, цвет (растений)', ср. укр. диал. и блр. диал. *krasá* в последнем значении, наконец, на описанной базе общее значение — 'красота'.

Излагая нашу семантическую реконструкцию глагола слав. **kresati*, рус. *кресать* (и т.д.) как 'создавать', уместно вспомнить о древних

воззрениях на живую природу огня. Древняя семантика, стертая в центре лексического гнезда, в производящем слове, лучше закрепились на перифериях, в словообразовательных производных **krasa*, первоначально 'цвет жизни', **krěsъ* 'оживление, воссоздание, воскрешение' — в полном соответствии с представленной выше концепцией автономности деривации словообразовательного и семантического уровней, а также с 4-м законом аналогии Куриловича.

Этимология, кстати, расширяет пределы лексического гнезда **kresati* и дает дальнейшие подтверждения семантической реконструкции. Так, вполне логично отнести сюда же слав. **krějati*/**krъjati* с его первоначальной семантикой выздоровления, обретения сил, ср. ст.-чеш. *křáti*, *křiti* 'приходить в себя, набираться сил', рус. диал. *креять* 'выздоровливать, поправляться' и укр. *кріяти*, блр. *крыць* в близких значениях (оппозитивные значения 'слабеть, терять силы, чахнуть, вянуть, хиреть, хворать' у продолжений слав. **krějati*/**krъjati* в болгарском, а также в русских диалектах на этом фоне получают объяснение как вторичные, появившиеся в результате префиксальных сложений с *ot-* и последующего депрефигирования, что породило к тому же и темные случаи, например повторное префигирование и т.п.). Важно здесь отметить старое сближение **krějati*/**krъjati* с лат. *creō*, *creāre* 'создавать' (Маценауэр) и наличие той же древней семантики жизни, что и в **kresati* и непосредственно родственных последнему формам (см. выше).

Затронув бегло выше терминологию и семантику купальского огня (**krěsъ*), мы не можем пройти мимо основных соответствующих слов, имен и значений, поскольку они интересны как сами по себе, так и в связи с занимающей нас специально коллизией между привычной, традиционной записью и углубленным описанием значения, иначе — его реконструкцией. Славянский глагол **kъpati* обычно сопровождается в словарях толкованием 'погружать в воду для обмывания, освежения, *lavage*' (таковы рус. *купать*, цслав. КЖПАТИ и др.). Может создаться впечатление, что, например, глаголы *купать* и *мыть* в русском языке, его диалектах и их соответствия в других славянских языках близко перекрещиваются и во многом синонимичны. Однако не случайно указывалось также, что **kъpati*, *купать* обозначало не просто (гигиеническое) мытье, а ритуальное омовение, очищение. Несмотря на случаи семантической интерференции **kъpati* и **myti* (ср. *купаться* в значении 'мыться в бане' в отдельных русских диалектах или, скажем, польск. *kąpiel* в значении 'ванна', приспособленное для обозначения реалии современной цивилизации), первоначально это были слова с четко различимыми сферами употребления. Более адекватным первоначальному употреблению следует признать такое, когда, говоря русскими словами, моются в бане (ср. Даль I, 45: баня — "строение или покой, где моются и парятся"), а купаются обычно в открытых водоемах, реках. Тонкие остаточные различия словоупотреблений вроде *купать детей*, *купать стариков* (а не *мыть...*) ведут, очевидно, дальше — в ритуальную сферу. Похоже, что **kъpati*, *купать*, как ни странно, выпадает из банной терминологии в собственном смысле, так что

этимологии, ведущие этот глагол от мытья, применения воды, веника, недостоверны. Недвусмысленным показателем ритуального характера термина **kꙋpati* служит то, что Иоанн Креститель был первоначально назван Иваном *Купало* для перевода греч. βαπτιστής, собственно, 'купатель, погружатель', а, например, не **Мов(ь)никъ* или **Мыль-никъ*; ср. и немецкое название Иоанна Крестителя — Johannes der Täufer (от *taufen*, собственно, 'погружать, освящая', потом 'крестить'), а не Johannes der **Bader* (от *baden* 'купать', первоначально 'мыть в жаркой бане').

Специфично, что термины 'мыть' и 'купать' имеют и различают не все языки. Богатый латинский обозначал и то, и другое одним словом *lavō, lavāre*, почему и вынужден был для высокого нового смысла 'окупать в священную купель, крестить' перейти на греческую терминологию: *baptizare, Baptista*. Славянский глагол **kꙋpati*, напротив, на ранней стадии христианизации подошел для передачи греч. βαπτίζω 'крестить — освящать, погружая в купель' (ср. свидетельства производных — *Купало, купель*), явившись предтечей возобладавшего потом повсеместно в славянских языках глагола **krъstiti*, рус. *крестить* и т.д. (от имени Христа) подобно тому, как сам Иоанн Креститель явился предтечей Христа. Этот эпизод семантической истории **kꙋpati* почти забыт по причине экспансии **krъstiti*, но он имел место и доступен реконструкции — опять, как видим, по данным семантики производных и другим восстановимым особенностям употребления. Эти указания сводятся к тому, что **kꙋpati* было ритуальным термином: 'омывать с целью очищения, врачевания', возможно также — 'пользовать особыми средствами или травами'. Любопытно при этом, что терминологическая пара **myti* — **kꙋpati* не извечна в славянском; если **myti* — слово достоверно индоевропейского происхождения (ср. ниже), то **kꙋpati* не имеет глагольных индоевропейских соответствий и является, очевидно, славянским благоприобретением в особых условиях. Вероятный культовый характер слова **kꙋpati*, первоначально 'ритуально очищать' (ср. выше), заставляет вернуться к старой этимологии Мерингера — от названия конопли **kanap-*, откуда **kꙋpati* 'пользовать коноплей'. Здесь лишь с краткостью напомним, что конопля исконно известна Северному Причерноморью, "Скифии" и ее древним этносам, как и ее применение скифами в особой паровой конопляной бане, о котором поведал еще Геродот. Полагают, что скифы одурманивали себя паром разогретой конопли в культовых целях. Вероятен и генезис имени конопли в самих индоиранских диалектах Северного Причерноморья. В таком случае **kꙋpati* проделало путь из Скифии к славянам, как и ряд других древних сакральных терминов славян.

И.-е. **meḡ-, *mī-* 'мыть, очищать', к которому восходит праслав. **myti*, рус. *мыть*, лежит в основе важнейших лексических значений, которые стоят того, чтобы сказать о них при обсуждении проблем семантической реконструкции, и прежде всего — это значения 'красота, красивый' и 'мир', понятый как 'красота'. Правда, это не славянские обозначения красоты и мира; славянский, унаследо-

вав индоевропейскую глагольную основу 'мыть (очищать физически)', пошел при формировании значений и терминов для красоты и мира своим путем: как мы отметили выше, для обозначения красоты в славянском широко использовано обозначение цвета жизни, румянца — **krasa* (и родственные). Зато лат. *mundus* 'нарядный, чистый, красивый' — это, собственно, 'мытый'.

Венцом семантической деривации этого ряда является лат. *mundus* 'мир, вселенная', первоначально — употребление в этом новом значении слова *mundus* со значением 'украшение' (субстантивация вышеназванного прилагательного), семантическое новообразование *mundus* I 'украшение' → *mundus* II 'мир' в духе греч. *κόσμος* 'красота' и 'мир' (как упорядоченная красота) (остается добавить, что в основе греческой семемы и идеи красоты реконструируется образ причесанных, приведенных в порядок волос — *κόσμος* < и.-е. **kes-/kos-*). Таким же путем семантического калькирования в конечном счете греч. *κόσμος* образовано гот. *fairhus* 'мир' < 'красота'. Так, семантическая реконструкция вскрывает самобытность формирования первичных понятий ("красота") и ареальный характер формирования понятий более высокой культуры ("мир, вселенная"). Но и здесь ареальное оказывается, скорее, территориально ограниченным, поскольку в других языках названия мира реконструируются уже не как обозначения красоты и внешнего порядка. Так, слав. **mirъ*, рус. *мир* — это прежде всего 'внутренний порядок, согласие', тогда как слав. **světъ*, рус. *свет* (*весь свет, белый свет*) — это, как и др.-инд. *loka-*, 'мир-свет', 'видимый мир', а западногерманское особое название мира (англ. *world*, нем. *Welt*) — это 'мир-век, человеческий возраст' [см. об этих словах: Pokorny, 1959, 741; Buck, 1971, 12 и след.; Walde, Hofmann, 1972, 126; Kluge, 1967, 851]. Они показывают, какой школой лингвистической и культурной типологии могут быть занятия семантической реконструкцией.

Опираясь на семантическую типологию и реконструкцию, оказывается возможным свести воедино как будто несвязанные слова разных языков, воссоздать на их базе древнее слово и значение. Например, в "Этимологическом словаре славянских языков" (вып. 1, 142 и след.) впервые было восстановлено праславянское слово **ba-kul'a*/**bakъ'l'a*, объединяющее слова и значения: с.-хорв. *бакуља* 'заболонь (в дереве)', рус. диал. *баклѹша* 'заболонь', 'чурбак', 'яма с водой', укр. *бакаль* 'озеро' и некоторые другие, либо совершенно пропущенные в прежних славянских этимологических словарях Миклошича и Бернекера и в новом "Праславянском словаре" [SP, 1974], либо толкуемые как разнородные, в том числе заимствованные слова. На самом же деле ни заимствование из лат. *baculum*, ни этимологическая связь с рус. *бакалея* 'колоннальные товары' (последнее — из арабского) здесь не имели места. Зато соседство значений 'заболонь, самый молодой и светлый слой древесины' и 'яма с водой', 'болото' оказывается не случайным, а возводимым к семантически единому обозначению белого, светлого. Ср. параллели праслав. **bolna*, **bolнь*, **bolньje*, обозначение как древесной заболони, так и болотистых, мокрых пространств в разных славянских языках, а так-

же праслав. **běľь* в обоих значениях [ЭССЯ, вып. 1]. Обозначение белым, светлым как заболони дерева (ср. лат. *alburnum*), так и болота, в частности мохового (ср. и общее название болота — праслав. **bolto*, рус. *болото*), оказывается довольно устойчивым и встречаемым явлением семантики слов. И заболонь, и болотные пространства характеризует кроме светлого цвета еще и такое общее реальное свойство, как склонность к загниванию. Семантическая реконструкция вскрывает филиацию образов и лексических значений 'белое' → 'заболонь дерева' → 'нарост (шишка, прыщ, пузырь)'; 'палочка, колышек' (собственно, 'обеленная, оструганная палочка'); 'болотистое место' [см. также: Трубачев, 1975, 31].

Семантическая реконструкция — важная сторона праязыковой реконструкции, как об этом уже было сказано в начале настоящего раздела. Сейчас можно считать наиболее продвинутой практику праязыковой реконструкции для славянского (праславянского) языка, поэтому следует отметить соответствующий диалог, явно или неявно возникающий между двумя основными словарями [SP; ЭССЯ] и затрагивающий теоретическую и практическую сторону дела. Из всех возможных видов праязыковой реконструкции: фонетико-фонологической, лексико-словообразовательной и т.д. — наиболее трудной является семантическая реконструкция древнего слова; это особенно очевидно при признании автономности (анизоморфизма) каждого уровня, на чем мы специально останавливались выше. Ясно также, что семантической реконструкцией в полном смысле нельзя считать бесхитростную транспозицию засвидетельствованных значений слов отдельных славянских языков в праславянскую эпоху. Это путь возможных ошибок. Так, краковский "Праславянский словарь" приводит следующие значения праслав. **biľь*: 'сильно разросшийся, развитый', 'мощный, сильный, безудержный, неистовый', 'неукротимый', 'бешеный, глупый' [SP, 1974, 441]. Ниже, в этой статье словаря, мы встретим эти же значения при отдельных славянских лексических соответствиях. Тем самым вместо реконструкции мы получаем неэкономную тавтологию, от которой авторы "Этимологического словаря славянских языков" с самого начала отказались.

Дело в том, что все перечисленные значения содержатся и у нас в обзоре слов под праслав. **biľь* [ЭССЯ, вып. 3, с. 83—84]. То же отличие между трактовкой в обоих словарях производного **biľьнь*, как и других слов. У нас нет доказательств наличия всех перечисленных весьма разных значений у **biľь* и **biľьнь* уже в праславянское время. Можно заметить, что в "Праславянском словаре" реконструируются для праславянского также явно вторичные, переносные значения 'безудержный', 'бешеный, глупый', но оставляется без внимания значение 'крупный', о первичном и этимологическом характере которого говорит происхождение праслав. **biľь*, **biľьнь* от и.-е. **bhou-*/ **bhū-* 'расти'. Например, для блр. *буйны* значение 'крупный' является основным, и оно архаично, а не инновационно на остальном славянском фоне, хотя случаев значения 'крупный, большой' меньше по сравнению с преобладающими другими значениями (см. выше). К сожалению, знание значений этимологически родственных

форм никогда полностью не заменит знания реального значения исследуемого слова. Обольщаться насчет этимологии нецелесообразно, как и недооценивать ее важность, хотя примеры того и другого есть и в работах крупнейших лингвистов. Ни суммирование известных значений, ни их праязыковая транспозиция, ни достоверные этимологические соответствия полной гарантии реконструкции реального древнего значения не дают. Полезно отдавать себе отчет в том, что мы лишь приблизительно нащупываем древнее значение или, вернее, его основные признаки. Описанное показывает не слабость этимологического метода семантической реконструкции, а трудности самой реконструкции (при этом пример с **biŭjъ*, **biŭjnъ* отнюдь не самый трудный, скорее наоборот).

Не более чем изоморфистским предубеждением оказывается мнение о том, что, чем "прозрачнее" словообразовательная структура, тем яснее первоначальное значение. В нашей работе, откуда черпаются рассматриваемые здесь материалы [Трубачев, 1985], разобран — как наиболее яркий в этом смысле — феномен названий ломбарда, когда между "прозрачной" структурой европейских названий ломбарда (фр. "гора благочестия", нем. "житель Ломбардии") и реальным значением этих слов ('кредитное учреждение, ссужающее деньги под залог') нет ничего общего. Не следует, однако, принимать за пессимизм трезвое сознание относительности наших возможностей. Именно языкознание, его сравнительный метод и внутренняя реконструкция позволяют существенно продвинуться в понимании древних лексических значений там, где уже не может помочь письменная история. Нами также разбирается более подробно случай со словом *изгой*, когда мы в состоянии подсказать и историкам общества, что первоначальным для данного термина было не значение 'отверженный, отщепенец', как обычно думают, а скорее что-то вроде 'иждивенец, ограниченный в правах', как это показывает более внимательный учет семантики мотивирующих глаголов, сохранившихся в производном рус. *иждивение* [там же].

В обоих словарях праславянского языка [SP; ЭССЯ] остро стоит проблема омонимичных слов и их значений. Здесь имеются расхождения, и они, по-видимому, поучительны. В нашем словаре дана одна словарная статья **drobъ* [ЭССЯ, вып. 5, с. 119—120], объединяющая слова со значениями 'внутренности', 'кусочки, крошки', 'осадок, подонки', 'дробь', 'мелкие домашние животные'. Морфологически всю собранную здесь славянскую лексику объединяет соотносительность с глаголом **drobiti* 'мельчить, разделять на кусочки'; семантически общими для этих имен являются близкие значения 'остаток', 'мелочь'. Как 'остаток' можно понять значение 'внутренности, потроха' в ряде славянских языков, поскольку легкие, сердце, печень обозначены как остаток после отделения более ценных сортов мяса. Осадок, подонки — это тоже 'остаток', а также и 'крошево, крошки' (оба основных значения при этом как бы нейтрализуются в одном — 'остаток'/'мелочь'). Понятен поэтому и достаточно старый принцип обозначения домашней птицы и мелких домашних животных как того, что остается за вычетом крупной

скотины. Отсюда ясно, как единое первоначально слово праслав. **drobъ* с общим значением было употреблено вторично для обозначения разных объектов в отдельных славянских языках. Трактовка краковского словаря [SP, IV, 245—248] не кажется последовательной (ниже разрядка наша. — О.Т.): *drobъ* 1. 'то, что остается (осадок) после варки пива'; **drobъ* 2. 'мелкие предметы, мелочь, отходы, остатки, крошки', 'мелкие домашние животные, птица'; *drobъ* 3. 'внутренности животных (обычно сердце, легкие, печень)'. С равным успехом можно было бы, множа омонимы, выделить и *drobъ* 4. 'мелкие домашние животные и птица', объединенное в "Праславянском словаре" вместе с 'мелкими предметами', как можно было бы и не делать этого, справедливо увидев в *drobъ* 1 (2, 3, 4) вторичную лексикализацию, снимаемую при древней реконструкции единого **drobъ*. Конечно, там, где речь может идти только о приближении к реальному древнему значению слова, всегда будут возможны разногласия. Польские исследователи праславянской лексики и семантики, в свою очередь, отмечают случаи своего несогласия с нашей трактовкой кроме рассмотренного **drobъ* также, например, алфавитно близкого **dropъ* 'драный, рваный' и т.п. [ср.: Boryś, 1981, 35 и след.].

Понятны неослабевающие стремления объективировать представления о зыбкой стихии семантических изменений. Правда, в этих поисках и рекомендациях относительно немного новизны, гораздо больше внешнего разнообразия изложения и затейливости терминологии. А научная суть вращается примерно вокруг тех же одной-двух старых истин: "Если мы не можем определять место какого-нибудь значения, то посмотрим, куда идут его типичные связи. В историческом лексиконе есть много значений, которые недостаточно ясны. В таких примерах мы прибегаем к сеткам типичных связей" [Novak, 1982, 165]; или: "Для раскрытия семантического состава лексики определенной эпохи очень важно семантическое соседство слов в языке" [там же, 168]. Актуальность этого давно известна. Гораздо хуже обстоит дело с осуществлением замыслов кодификации "типичных связей" значений, их филиации в разных языках. На практике чаще встречаются примеры индивидуального развитого "семантического инстинкта" исследователя-этимолога (о чем см. выше), перегруженной человеческой памяти. Опытов же кодификации семантической эволюции слов в науке почти нет, не считая одного законченного, но неполного словаря "избранных синонимов" американского индоевропеиста К.Д. Бака [Buck, 1971]. Есть несколько проектов, ср. далекий от завершения "Словарь сравнительной семасиологии" И. Шрёпфера [WVB, 1979]; один проект принадлежит и автору этих строк [Трубачев, 1964, 100 и след.], ср. реплику по его поводу [Navlová, 1965].

Отсутствие полных систематизированных справочников в такой интересной материи, как типология эволюции лексических значений, не может не показаться заметным отставанием в наше время проектирования банков информации. Однако не следует спешить с категорическим осуждением. Кодифицированные инвентари семантической эво-

люции (если таковые в будущем появятся) едва ли будут предназначены для широкого читателя. Основной фонд семантической типологии, который они, возможно, будут содержать, уже находится в обороте, правда у немногочисленных исследователей лексической семантики. Но прежде нас замечено, что серьезность и важность научного направления не измеряется количеством его сторонников. Семантическая реконструкция представляется нам одним из таких общекультурно важных направлений, для здорового состояния которого достаточно наличия немногочисленных квалифицированных исследователей; у каждого такого специалиста в голове свой "второй Бак (Buck)", выработанный годами практики и чтения. Кодифицированный инвентарь сократит годы, но только годы способны создать исследователя, его интуицию и память. Ведь и хорошие поэты никогда серьезно не нуждались в словарях рифм.

Мы и сейчас уже умеем отличать сложные значения от простых, вторичные — от первичных, типологически подтвержденные реконструкции — от типологически изолированных. Например, исландский лингвист Й. Хильмарссон реконструирует семантическое развитие и.-е. **ŋghū-* 'язык' из первоначального 'рыба (**ġhū-*) внутри (**ŋ-*)' на основании сходства второго компонента этого слова и названия рыбы — и.-е. **ġhūr/*ġhdhū-* [Hilmarsson, 1982, 355 и след.]; связующее звено автор видит в распространенном назывании мускулов "рыбой", а "язык — это мускул". Но дело даже не в том, что вообще-то в индоевропейских языках еще более популярен принцип называния мышцы, мускула "мышью, мышкой", а, скорее, в том, что Хильмарссон исходит из современного понимания анатомии ("язык — это мускул") и без колебания приписывает его древним индоевропейцам, для которых язык человека был, конечно, чем-то особенным. Чистой конструкцией оказывается смежная этимология В. Винтера, который возводит индоевропейское название языка к еще более древнему сложению **ndh-ġheAw-* '(то, что) внизу зева/под небом' [Winter, 1982, 167 и след.]. Более адекватной древним воззрениям кажется семантическая реконструкция, признающая сакральную роль человеческого языка и его названия и связывающая **ŋ-ġhū-* 'язык' с и.-е. **ġheuṣ-* 'совершать возлияния; звать', ср. тождество др.-инд. (вед.) *juhí-* 'язык' и *juhū-* 'ложка (для жертвенных возлияний)', редупликация того же корня [ЭССЯ, вып. 6, с. 74—75]. Сакральность названия языка позволяет лучше понять последующие разнородные преобразования начала этого слова (как табуистические): лат. *lingua*, стар. *dingua*, гот. *tungō*, лит. *liežūvis* и др., в том числе метатезы.

В свое время у нас вызвал сомнение слишком обобщенный тезис Х. Шустер-Шевца о звукоподражательном происхождении многих славянских и индоевропейских названий деревьев [Schuster-Sewc, 1975, 13 след.], тогда как, по нашим наблюдениям, известен только один более или менее достоверный случай образования названия дерева от звукоподражательного глагола — название бузины, т.е. постулируемый семантический переход оказывался уникальным. Отсюда важность знания градации типологических оценок семантиче-

ских переходов — от констатации недостоверности и уникальности (так, проверка пока не подтвердила достоверность семантического развития 'тыква' > 'трактир', в том числе и для известных русских примеров *кабак* I и *кабак* II [Havlová, 1979, 183—184]) до различных степеней возможного, помня при этом, что "возможно" еще не значит "фактически обязательно" [Korešný, 1975, 23; Havlová, 1979, 183—184].

Семантическая реконструкция средствами этимологии — не только важная самоцель, но и один из источников реконструкции древней культуры — духовной и материальной. В первом из этих разделов культуры лингвистическая реконструкция смыкается со сравнительной мифологией. Применение лингвистической (семантической) реконструкции в разделе истории материальной культуры особенно ощутимо для реконструкции культуры материалов недостаточной сохранности — "деревянной" культуры. Археология мало что дает для восстановления древней посуды и орудий из дерева, тогда как этимологизация названий палицы, палки, бжега в русском и других славянских языках от соответствующих глаголов *палить* и *жечь* помогает полнее представить масштабы применения древней техники закаливания деревянных орудий и предметов вооружения — обжиганием на огне [Němec, 1983, 197—198 и след.].

Наблюдаются и неиспользованные случаи перекрестных свидетельств этимологии (семантической реконструкции) и археологии. В этом смысле показательна реконструкция древнего значения праслав. **kŕtja*, предложенная и обоснованная в 12-м выпуске "Этимологического словаря славянских языков". Праслав. **kŕtja*, восстанавливаемое на основе болг. *къща* 'дом', с.-хорв. *kùća* 'то же', словен. *kóča* 'хижина' и целого ряда слов в восточнославянских диалектах (русских, украинских, белорусских), при характерном отсутствии в западнославянских языках, мы объясняем как производное от названия угла — **kŕtъ*. Этой, в общем, прозрачной словообразовательной связи не хватало до сих пор семантического обоснования. Суть последнего состоит в связи слова **kŕtъ* с огнем, очагом, ср. болг. диал. *кът* 'место для сидения близ очага' и соответственно значение 'помещение с очагом' у болг. *къща*. Значения 'помещение с очагом', 'кухня' вообще характерны для продолжений праслав. **kŕtja* в южнославянских языках, но близкие следы существуют и у восточнославянских соответствий, хотя они привлекли меньше внимания, ср. рус. диал. *кутѣ* 'часть избы перед русской печью', укр. диал. *куча* 'узкое пространство под русской печью', блр. диал. *кучка* 'место под печью'. Весьма показательны и значения производящего слова **kŕtъ* (также в южнославянском и восточнославянском): 'место у очага', 'часть дома, где раскладывался очаг', 'задняя часть или угол в русской печи', 'кухня' и т.п. Известно к тому же, что слав. **kŕtъ* обозначает не всякий угол, а внутренний. Таким путем постепенно вырисовывается обозначавшееся с помощью **kŕtja* примитивное жилище прямоугольной формы (ср. **kŕtъ* 'угол') с очагом или печью в углу, что само по себе уже есть рекон-

струкция не только древнего лексического значения, но и фрагмента древней культуры.

По данным археологических раскопок известно, что размещение очага (печи) в углу характерно для прямоугольных землянок и полужемлянок, типичных жилищ древних славян, причем не для всей их территории около середины I тысячелетия н.э., а, скорее, склавено-антского ареала (в терминах готского историка VI в. Иордана); такие жилища археологически не характерны для венедской территории, т.е. северо-западной Славии. Археологической картине весьма точно соответствует распространение **kŕtja* 'прямоугольное помещение с очагом в углу' только у южных и восточных славян, но не у западных. При этом полезно справиться в археологических исследованиях о типах жилищ древних славян и ареалах их распространения [Donat, 1979, 184; Седов, 1979, 114—115; 1982, 14—15].

Но вернемся к языковым проблемам семантической реконструкции. В языке пик языковой специфики приходится, как правило, на глагол. Отсюда не следуют прямолинейные обратные заключения об имени, однако исключительная грамматичность глагола остается фактом. Недаром глагол — излюбленный объект исследования для всех формализующих направлений. Это полностью относится и к признаваемому всеми семантическому своеобразием глагольной лексики [ср., например: Васильев, 1981, 34 и след.]. В общем, нужно признать, что моменты формы (грамматики) и словообразования сохраняют эвристическое значение при такой неформальной реконструкции, как воссоздание древней семантики слова всюду, но в большей степени для глаголов, чем для имен. Однако тонкое и объективное исследование предполагает и умение критически работать с устоявшимися и общепринятыми суждениями, способность отличить достоверность от предвзятости. И, хотя нижеследующее утверждение может показаться отклонением от предшествующего вступления, утрированный примат глагола можно считать предвзятым суждением.

Идея этого примата, унаследованная от предшествующих поколений ученых и поддерживаемая компонентными и трансформационными направлениями лексикологов и семасиологов, заслоняет собой сложную и изменчивую реальность. Здесь мы коснемся только одной, правда обширной и важнейшей, проблемы глагольной каузации (каузативности) и только в интересующем нас плане, но с одновременной задачей показать принципиальную смежность, даже перемежаемость глагольного и именного в глагольной проблематике. То, что каузация — сложная категория и, следовательно, возводимая к другим языковым средствам, более простым или прежде всего иным, признается, но, кажется, не очень глубоко понимается, а популярный метод семантического перифразирования глагольного глагольным же (например, *поить* = 'делать так, что кто-либо пьет') [Савичюте, 1980] не раскрывает сущности явления и процесса и приводит вообще к ошибочному пониманию отглагольности, как увидим ниже.

Выше упоминался пример нашей реконструкции первоначально кау-

зативного значения ('поить') у формально некаузативного глагола **pěti* [Трубачев, 1959, 135 и след.], что служило в свое время и для автора, и для критики камнем преткновения: ожидалась правильная каузативная форма — слав. **pojiti*, рус. *поить*. Однако уже указывалось на поздний характер образования многих глаголов на *-iti* в славянских языках и на отыменность некоторых из них [Куркина, 1965, 44 и след.]. Давно замечено также, что каузативная характеристика славянских глаголов на *-iti* — не первичная и не древняя их черта. Уже балтийские глаголы на *-i-* четко некаузативны [Vaillant, 1966, 417]. Показательна формальная и семантическая реконструкция некоторых достаточно старых славянских глаголов на *-iti*, например **věniti*: др.-рус., рус.-цслав. ВѢНИТИ 'продавать', но также 'покупать, выкупать' (ВѢНОМЪ ВѢНИТИ). Внешне и функционально каузативный, славянский глагол **věniti* этимологически тождествен лат. *vēnīre* 'продаваться, быть проданным'. Сравнение это ценно тем, что лат. *vēnēd*, *vēnīre* совершенно четко представляет собой свернутое словосочетание *vēnum īre*, т.е. сочетание глагола 'идти' с именем, что-то вроде 'идти на продажу'. Точность соответствия *vēnīre*=**věniti* позволяет нам допустить у славянского глагола в древности такое же лексическое значение, как и хорошо сохранившееся латинское значение: 'идти на продажу, продаваться'. Древнее страдательное значение, видимо, через промежуточное медиальное (ВѢНОМЪ ДА Ю ВѢНИТЬ СОБѢ ЖЕНѢ. Иск. XXII. 16. XIV в.) лишь впоследствии обрело каузативный смысл. Оставляя в стороне интересный открывающийся аспект диахронического тождества глагольного форманта и глагола 'идти' (слав. **jьti*, и.-е. **ei-*), как и в целом рассмотрение этих древних отношений [Трубачев, 1975₂, 11—12], укажем на отыменность каузатива **věniti* < **věno* 'плата, выкуп', важную для нас сейчас.

Отыменность каузативного глагола — таков тезис, который был в кратком виде предложен на лейпцигском симпозиуме по этимологии в 1972 г. на примере слав. **baviti* 'пребывать, медлить, проводить время' от имени **bava* (рус. диал. 'благосостояние', 'игрушка', блр. 'разговор'), а также **traviti*←**trava*, **slaviti*←**slava* [Трубачев, 1975₁, 33]. Это толкование, специально развернутое позднее в "Этимологическом словаре славянских языков" [ЭССЯ, вып. 1, с. 168 и след.], вызвало дискуссию как нетрадиционное и на симпозиуме, и в последующей литературе. И. Немец на симпозиуме 1972 г. возражал, что "поздний простой глагол (simplex) *baviti*, который О.Н. Трубачев производил в своем докладе от существительного *bava*, нельзя считать отыменным глаголом, а, скорее, результатом видовой депрефиксации: наряду с *zabyti* (←*byti*) уже в праславянском языке существовала каузативная видовая пара первичного типа *zabaviti* : *zabavjati*, от которой путем депрефиксации была получена видовая пара вторичного типа *zabaviti* : *baviti* 'забавлять', а от этого простого глагола в свою очередь было произведено отглагольное имя *bava* (= 'забава', Даль, s.v. *бавить*)" [Нѣмес, 1975, 24].

В развитие доводов И. Немца о важности видовой депрефиксации и о том, что надо учитывать все гнездо соответствующих

префиксальных и депрефигированных форм, выступил позднее в специальной статье В. Шаур. Ему импонирует концепция видовой префиксации/депрефиксации, выдвинутая Немцем. В целом Шаур считает, что "каузативы на *-aviti* образовывались первоначально от глаголов на *-uti*, а затем по аналогии и от глаголов на *-yti* [Šaur, 1980, 19 и след.]. Он считает важным, что префиксальные формы соответствующих глаголов, как правило, старше, чем простые: известны ст.-слав. *избавити, прибавити, пробавити*, но нет ст.-слав. **бавити*. В древности простых, непрефигированных форм Шаур в принципе сомневается. Он думает, что и семантика свидетельствует против направления деривации *slava*→*slaviti*→*proslaviti*. Равным образом он полагает, что глагол *traviti*, первоначально 'потреблять, истреблять', семантически ближе к глаголу *truti* 'уменьшаться, сокращаться', чем к имени *trava*, первоначально 'корм для скота вообще', откуда потом 'луговая растительность'. Большое значение чехословацкий лингвист придает тому, что нет ни простых глаголов **naviti*, **taviti*, ни имен **nava*, **tava*, но есть префиксальные глаголы *unaviti*, *otaviti* и производные от них, по его мнению, имена типа чеш. *únava*, *otava*.

Заключение Шаура совершенно однозначно: "Из приведенного материала, таким образом, вытекает правильность мнения И. Немца, что исследованные глаголы на *-aviti* являются отглагольными производными и что образование шло явно по пути типа *truti*→*otraviti*→*traviti*→*trava*. Мысль О.Н. Трубачева о том, что эти глаголы отыменны, а следовательно, образование шло по пути *truti*→*trava*→*traviti*→*otraviti*, не подтверждается хронологией засвидетельствованных форм" [там же]. Оставляя несколько в стороне "хронологию засвидетельствованных форм", в которой возможен элемент случайного, обратимся к тому, что требует критического рассмотрения, поскольку автор уверенно говорит о "глаголах на *-aviti*", что ни в каком случае не является точным: можно говорить только о глаголах на *-iti*. Остроту антитезы префиксального/непрефиксального можно попытаться ослабить. Начнем с замечания, что для вероятных старых образований четкая видовая корреляция здесь, видимо, вторична, а первичны лексические отношения. Преимущественно лексико-семантическим было отношение простого и префиксального глаголов **truti* и **otruti*, ср. и наше современное *кормить* и *обкормить*. Затем от этих глаголов (на базе презентных форм **trovq*, **otrovq*) были правильно произведены (с продлением корневого *o*→*ō*=*a*) имена **trava* и **otrava*, а от них, в свою очередь, глаголы на *-iti*: **traviti* и **otraviti*. Неясные случаи могут продолжать оставаться неясными, но основное направление деривации было все-таки **bava*→**baviti*, **zabava*→**zabaviti*, а не наоборот.

Каузативность глаголов **baviti*, **traviti* (и, если угодно, префиксальных **zabaviti*, **otraviti*) и других на *-iti* оказывается вторичной их каузативной соотнесенностью с **byti*, **truti* (**zabyti*, **otruti*) при первичной производности от имен **bava*, **trava* (**zabava*, **otrava*). Таким образом, наблюдается фактическая производность отглагольного глагола от (промежуточного) имени.

Наша уверенность в магистральном направлении деривации **otovq/*otyti* (глагол)→**otava* (имя)→**otaviti* (глагол), а не **otovq/*otyti*→**otaviti*→*otava* получила существенную поддержку в виде следующего важного положения Куриловича: "отглагольный глагол всегда отыменен по происхождению" [Kurylowicz, 1977, 102]. Самая грамматическая из языковых категорий тем самым преподносит нам урок, направленный против тенденций решать проблемы, в том числе формальной и семантической реконструкции, так сказать, "в чистом виде". Реальный итог в данном случае — смешанный (глагольно-именной) характер глагольной деривации.

Итак, приемы семантической реконструкции — это хорошая эмпирия (правильное описание значений и употреблений слов) плюс неизменный здравый смысл (готовность к пониманию специфики воссоздаваемой эволюции значения без анахронистических атрибуций современных воззрений древним эпохам) и плюс компетентность в типологии формирования близких значений в разных языках, и все это — на фоне прочного знания формально-этимологических приемов или принципов, за которыми должны стоять вся сравнительная грамматика и все общее языкознание. Более конкретное изложение приемов семантической реконструкции (демонстрируемых отчасти выше на примерах решения задач узловой важности) увело бы нас целиком в эмпирию, для чего рамки настоящего раздела слишком малы.

- Абаев В.И.* Язык как идеология и язык как техника: Когда семантика перерастает в идеологию // Язык и мышление. II. Л., 1934.
- Абаев В.И.* Понятие идеосемантики // Язык и мышление. XI. М.; Л., 1948.
- Абаев В.И.* Доистория индоиранцев в свете арио-уральских языковых контактов // Этнические проблемы истории Центральной Азии в древности (II тысячелетие до н.э.). М.: Наука, 1981.
- Аванесов Р.И.* Очерки русской диалектологии. М., 1949.
- Аванесов Р.И.* Лингвистическая география — история языка // ВЯ. 1952. N 6.
- Алексеев В.П.* Историческая антропология. М., 1979.
- Алексеев В.П.* Человек: Эволюция и таксономия. М., 1985.
- Алексеев В.П.* Этногенез. М., 1986.
- Андреев Н.Д.* Типология ранней индоевропейской прамотивации // Мовзнавство. 1978. N 6.
- Андреев Н.Д.* Раннеиндоевропейский праязык. Л., 1986.
- Андронов М.С.* Из истории классификации дравидийских языков // Теоретические основы классификации языков мира: Проблемы родства. М., 1982.
- Ардзинба В.Г.* Нартский сюжет о рождении героя из камня // Древняя Анатолия. М., 1985.
- Ахманова О.С.* Словарь лингвистических терминов. М., 1966.
- Барроу Т.* Санскрит. М., 1976.
- Бахнарь В.И.* Относительно понятия семантического варианта // Вариантность как свойство языковой системы: (Тезисы докладов). М., 1982. Ч. 1.
- Белый В.В.* Американский дескриптивизм, его истоки и методологические основания: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1982.
- Бенвенист Э.* Классификация языков // Новое в лингвистике. М., 1963. Вып. 3.
- Бенвенист Э.* Семантические проблемы реконструкции // Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.
- Богородицкий В.А.* Сравнительная грамматика ариоевропейских языков. Казань, 1914. Вып. 1.
- Богородицкий В.А.* Краткий очерк сравнительной грамматики ариоевропейских языков. Казань, 1917.
- Богородицкий В.А.* Введение в татарское языкознание. Казань, 1953.
- Бодуэн де Куртене И.А.* О древнепольском языке до XIV столетия. Лейпциг, 1870 (перепеч. фототипич. способом в кн.: Boudouin de Courtenay J.A. Dzeła wybrane. Warszawa, 1976. Т. 2).
- Бондарко А.В.* Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. М., 1983.
- Бондарко Л.В., Вербицкая Л.А., Зиндер Л.Р.* Акустические характеристики безударности (на материале русского языка) // Структурная типология языков. М., 1966.
- Будде Е.Ф.* Лекции по истории русского языка. 2-е изд. Казань, 1913.
- Васильев Л.М.* Методы семантического анализа // Исследования по семантике: Межвузовский научный сборник. Уфа, 1975. Вып. 1.
- Васильев Л.М.* Семантика русского глагола. М., 1981.
- ВМСИИЯ* — Вопросы методики сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков. М., 1956.
- Востоков А.Х.* Рассуждение о славянском языке... СПб., 1820.
- Гамкрелидзе Т.В.* К проблеме "произвольности" языкового знака // ВЯ. 1972. N 6.
- Гамкрелидзе Т.В.* Лингвистическая типология и индоевропейская реконструкция // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1977. Т. 36, N 3.
- Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс.* Лингвистическая типология и реконструкция системы индоевропейских смычных // Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков (12—14 декабря): Предварительные материалы. М., 1972.
- Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы:

- Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Тбилиси, 1984. Т. 1—2.
- Георгиев В.И. Проблема возникновения индоевропейских языков // ВЯ. 1956. N 1.
- Георгиев В.И. Исследования по сравнительному языкознанию. М., 1958.
- Георгиев В.И. Основные проблемы на ези-коведската методология // Български език. 1967. Т. 17.
- Герценберг Л.Г. К вопросу о классификации индоевропейских языков // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1978. Т. 37, N 5.
- Горнунг Б.В. Проблемы распространения индоевропейской речи в доисторической эпохе // Тезисы докладов на ОИН и ИИМК, посвященной итогам археологических исследований 1955 г. М., 1956.
- Горнунг Б.В. Из предистории образования общеславянского языкового единства. М., 1963.
- Горнунг Б.В. К вопросу об образовании индоевропейской языковой общности. М., 1964.
- Грантовский Э.А. Ранняя история иранских племен Передней Азии. М., 1970.
- Гринберг Дж. Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка значимых элементов // Новое в лингвистике. М., 1970. Вып. 5.
- Грунина Э.А. Соотношение форм настоящего и будущего по памятникам турецкого языка XIII—XVI вв. // Вопросы тюркской филологии. М., 1966.
- Грунина Э.А. О форме настоящего-будущего на -(")r в тюркских языках // Тюркологические исследования. М., 1976.
- Гухман М.М. Историческая типология и проблема диахронических констант. М., 1981.
- Дельбрюк Б. Введение в изучение языка // Булич С.К. Очерк истории языкознания в России. СПб., 1904. Т. 1.
- Дельбрюк Б. Введение в изучение индоевропейских языков // Звегинцев В.А. История языкознания XIX—XX веков в очерках и извлечениях. М., 1964. Ч. 1.
- Десницкая А.В. Вопросы изучения родства индоевропейских языков. М.; Л., 1955.
- Десницкая А.В. К вопросу о предмете и методах ареальной лингвистики // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1977.
- Джаукян Г.Б. Общее и армянское языкознание. Ереван. 1978.
- Джаукян Г.Б. Индоевропейская фонема *b и вопросы реконструкции индоевропейского консонантизма // ВЯ. 1982. N 5.
- Дыбо В.А. Ностратическая гипотеза: (Итоги и проблемы) // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1978. Т. 37, N 5.
- Ермакова О.П. Проблемы лексической семантики производных и членных слов: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1977.
- ЕЯВ — Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие. М., 1969.
- Жирмунский В.М. Введение в сравнительно-историческое изучение германских языков. М., 1974.
- Журавлев В.К. Формирование группового сингармонизма в праславянском языке // ВЯ. 1961. N 4.
- Журавлев В.К. Развитие группового сингармонизма в праславянском языке. Минск, 1963.
- Журавлев В.К. Генезис протезов в славянских языках // ВЯ. 1965. N 4.
- Журавлев В.К. Современные проблемы реконструкции праязыка // Проблемы языкознания. М., 1967.
- Журавлев В.К. К проблеме балто-славянских языковых отношений // Baltistica. Vilnius, 1968. IV (2).
- Журавлев В.К. К проблеме нейтрализации фонологических оппозиций // ВЯ. 1972. N 3.
- Журавлев В.К. Введение в диахроническую морфологию // Linguistique balkanique. 1976. XIX.
- Журавлев В.К. Правило Гавлика и механизм падения славянских редуцированных // ВЯ. 1977. N 6.
- Журавлев В.К. Роль нейтрализации в фонологических изменениях // Фонология. Фонетика. Интонология: Матер. к IX Междунар. конгрессу фонетических наук. М., 1979.
- Журавлев В.К. Относительная хронология праславянских процессов по данным внешней и внутренней реконструкции // Славянское языкознание. М., 1983.
- Журавлев В.К. Диахроническая фонология: Состояние и перспектива // ВЯ. 1984. N 5.
- Журавлев В.К. Диахроническая фонология. М., 1986.
- Журавлев В.К., Нерозник В.П. Проблемы реконструкции праязыкового состояния // Slavica XVIII. Debrecen, 1981.

- Иванов В.В., Трубачев О.Н., Ф.П. Филин [Некролог] // ВЯ. 1982. № 4.
- Иванов Вяч.Вс. Общеиндоевропейская, праславянская и анатolianская языковые системы. М., 1965.
- Иванов Вяч.Вс. Праязыки как объекты описания в издании "Языки мира" // Теоретические основы классификации языков мира. М., 1980.
- Иванов Вяч.Вс. Славянский, балтийский и раннебалканский глагол: Индоевропейские истоки. М., 1981.
- Иванов Вяч.Вс. Интерпретация хаттско-хеттского строительного ритуала: (В свете данных внешнего сравнения) // Текст: семантика и структура. М., 1982.
- Иванов Вяч.Вс. История славянских и балканских названий металлов. М., 1983.
- Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н. К реконструкции праславянского текста // Славянское языкознание: V Международный съезд славистов: Докл. сов. делегации. М., 1963.
- Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. М., 1974.
- Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н. О языке древнего славянского права: (к анализу нескольких ключевых терминов) // Славянское языкознание: VIII Международный съезд славистов: Докл. сов. делегации. М., 1978.
- Иллич-Свитыч В.М. Опыт сравнения ностратических языков: Введение. Сравнительный словарь. М., 1971. Т. 1; 1976. Т. 2; 1984. Т. 3.
- Исаченко А.В. О грамматическом значении // ВЯ. 1961. № 1.
- История первобытного общества: Общие вопросы. Проблемы антропосоциогенеза. М., 1983.
- ИТМГЯ — Историко-типологическая морфология германских языков. М., 1977—1978. Т. 1—3.
- Кабо В.Р. Теоретические проблемы реконструкции первобытности // Этнография как источник реконструкции истории первобытного общества. М., 1978.
- Кажобеков Е.З. Глагольно-именная корреляция гомогенных корней в тюркских языках: (Явление синкретизма). Алма-Ата, 1986.
- Кайдаров А.Т. Структура односложных корней и основ в казахском языке. Алма-Ата, 1986.
- Калыгин В.П. Язык древнейшей ирландской поэзии. М., 1986.
- Каралюнас С. К вопросу об и.-е. *s после i, и в литовском языке // Baltistica. Vilnius, 1966. I (2).
- Кацнельсон С.Д. Сравнительная акцентология германских языков. М., 1966.
- Кибрик А.Е. Эталон эргативности и дагестанские языки // Актуальные вопросы структурной и прикладной лингвистики. М.: Изд-во МГУ, 1980.
- Клейн Л.С. Прототипы катакомбных курильниц и проблема происхождения катакомбной культуры // Археологический сборник. 8. Л.; М.: Сов. художник, 1966.
- Климов Г.А. Очерк общей теории эргативности. М., 1973.
- Климов Г.А. Типология языков активного строя. М., 1977.
- Климов Г.А. К типологической реконструкции // ВЯ. 1980. № 1.
- Климов Г.А. Принципы континентальной типологии. М., 1983.
- Климов Г.А. Введение в кавказское языкознание. М., 1986.
- Клигенхейбен А. К возникновению типов языков с именными классами в Африке // Африканское языкознание. М., 1963.
- Козинский И.Ш. О категории "подлежащее" в русском языке // Проблемная группа по экспериментальной и прикладной лингвистике: Предварительные публикации. М., 1983. Вып. 156.
- Кононов А.Н. Современное тюркское языкознание в СССР // ВЯ. 1977. № 3.
- Кононов А.Н. Грамматика языка тюркских рунических памятников VII—IX вв. Л., 1980.
- Кормушин И.В. Системы времен глагола в алтайских языках. М., 1984.
- Коростовцев М.А. Введение в египетскую филологию. М., 1963.
- Кубрякова Е.С. Типы языковых значений: Семантика производного слова. М., 1981.
- Кудрявцев О.В. Исследования по истории Балкано-Дунайских областей в период Римской империи и статьи по общим проблемам древней истории. М., 1957.
- Кузнецов П.С. Русская диалектология. М.: Учпедгиз, 1951.
- Кузьмина Е.Е. Происхождение индоевропейцев в свете новейших археологических данных // Этнические проблемы истории Центральной Азии в древности. М.: Наука, 1981.
- Кумахов М.А. Сравнительно-историческая фонетика адыгских (черкесских) языков. М., 1981.
- Курилович Е. Понятие изоморфизма //

- Курилович Е. Очерки по лингвистике. М., 1962.
- Курилович Е. О методах внутренней реконструкции // Новое в лингвистике. М., 1965. Вып. 4.
- Куркина Л.В. О некоторых поздних образованиях в системе славянских глаголов на -i- // Этимология. 1964. М., 1965.
- Лаанест А. Ижорские диалекты. Таллин, 1966.
- Ли Ч.Н., Томпсон С.А. Подлежащее и топик: новая типология языков // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1982. Вып. 9.
- Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. М., 1984 г. Ч.5: Проблемы изучения ностратической макросемьи языков: (Тезисы и доклады конференции).
- Лопатин В.В. Русская словообразовательная морфемика, М., 1977.
- Лотман Ю.М. Динамическая модель семиотической системы / Ин-т рус. яз. АН СССР. Проблемная группа по экспериментальной и прикладной лингвистике. Предварительные публикации. М., 1974. Вып. 60.
- Макаев Э.А. Синхрония и диахрония и вопросы реконструкции // О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков. М., 1960.
- Макаев Э.А. Проблемы индоевропейской ареальной лингвистики. М.; Л., 1964.
- Макаев Э.А. Общая теория сравнительного языкознания. М., 1977.
- Марков В.М. О семантическом способе словообразования в русском языке. Ижевск, 1981.
- Март Н.Я. Избранные работы. Л., 1937. Т. 4: Основные вопросы истории языка.
- Мартынов В.В. Категории языка: Семиологический аспект. М., 1982.
- Мартынов В.В. Язык в пространстве и времени: К проблеме глоттогенеза славян. М., 1983.
- Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. М., 1960.
- Маслова В.А. Принцип противопоставления и его реализация в семантике языка (на лексическом материале): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1981.
- Матијашевић Ј. О синонимји и синонимима // Лексикографија и лексикологија: Зборник реферата / Одговорни уредник Д. Ђурић. Београд; Нови сад, 1982.
- Мацеев А.Г. Краткий грамматический очерк чеченского языка // Чеченско-русский словарь. М., 1961.
- Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М., 1938.
- Мейе А. Сравнительный метод в историческом языкознании. М., 1954.
- Монгайт А.Л. Археология Западной Европы: Каменный век. М., 1973.
- Мукамбаев Ж. Джергентальский говор киргизского языка: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Фрунзе, 1955.
- Нерознак В.П. Палеобалканские языки. М., 1978.
- Нерознак В.П. Метод сравнения в синхронном языкознании: (К основаниям лингвистической компаративистики) // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1986. Т. 45, N 5.
- Нерознак В.П., Герценберг Л.Г. Языковые общности: Проблемы теории и методологии исследования // Соотношение частнонаучных методов и методологии в филологической науке. М., 1986.
- Новгородова Э.А. Памятники древности и некоторые проблемы монгольского этногенеза // Проблемы Дальнего Востока. 1977. N 1 (21).
- Орлова В.Г. Вопросы интерпретации данных лингвистической географии // Вопросы теории лингвистической географии. М., 1962.
- Основы финно-угорского языкознания: (Вопросы происхождения и развития финно-угорских языков). М., 1974.
- Откупщиков Ю.В. Карийские надписи Африки. Л., 1966.
- Охотина Н.В. Языки банту // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей: Задачи и перспективы. М., 1982.
- Охотина Н.В. Согласовательные классы в восточных и южных языках банту. М., 1985.
- Охотина Н.В. Тенденции возникновения инновационных категорий в надэтнических языках банту // ВЯ. 1986. N 2.
- ОЯ — Общее языкознание: Методы лингвистических исследований. М., 1973.
- Паламйтис М.Л. Праязык — генетическая или контактная общность? // ВЯ. 1978. N 1.
- Панфилов В.З. Философские проблемы языкознания: Гносеологические аспекты. М., 1977.

- Пауфощима Р.Ф. Фонетика слова и фразы в севернорусских говорах. М., 1983.
- Пизани В. Общее и индоевропейское языкознание // Общее и индоевропейское языкознание. М., 1956.
- Поливанов Е.Д. Введение в языкознание. Л., 1928.
- Поливанов Е.Д. Узбекская диалектология и узбекский литературный язык. Ташкент, 1933.
- Поливанов Е.Д. Фонетические конвергенции // ВЯ. 1957. N 3.
- Поржезинский В.К. Сравнительная грамматика славянских языков. М., 1914. Вып. 1.
- Порхомовский В.Я. Проблемы генетической классификации языков Африки // Теоретические основы классификации языков мира: Проблемы родства. М., 1982.
- Порхомовский В.Я. Афразийские языки. Чадские языки // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей: Задачи и перспективы. М., 1982.
- Порциг В. Членение индоевропейской языковой области. М., 1964.
- Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. М., 1974.
- Поцелуевский А.П. Избранные труды. Ашхабад, 1957.
- Прокош Э. Сравнительная грамматика германских языков. М., 1954.
- Рамstedт Г.И. Введение в алтайское языкознание: Морфология. М., 1957.
- Савичюте Г.С. Предикаты цели и предикаты каузации (на материале флективных индоевропейских языков): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1980.
- Савченко А.Н. Сравнительная грамматика индоевропейских языков. М., 1974.
- Саидов М. Аварско-русский словарь. М., 1967.
- Севортян Э.В. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке: Опыт сравнительного исследования. М., 1962.
- Севортян Э.В. Аффиксы именного словообразования в азербайджанском языке: Опыт сравнительного исследования. М., 1966.
- Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян. М., 1979.
- Седов В.В. Восточные славяне в VI—XIII вв. М., 1982.
- Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. М., 1980.
- Серебренников Б.А. Вероятностные обоснования в компаративистике. М., 1974.
- Серебренников Б.А. Проблема достаточности основания в гипотезах, касающихся генетического родства языков // Теоретические основы классификации языков мира: Проблемы родства. М., 1982.
- Серебренников Б.А. О материалистическом подходе к явлениям языка. М., 1983.
- Серебренников Б.А. Как простое может быть превращено в сложное: (к проблеме эргативной конструкции) // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1985. Т. 44, N 4.
- Серебренников Б.А., Бирюкович Р.М. Некоторые особенности исторического развития перфекта в различных языках // Сов. тюркология. 1981. N 2.
- Серебренников Б.А., Гаджиева Н.З. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков: Учебное пособие для вузов. Баку, 1979.
- Серебренников Б.А., Гаджиева Н.З. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. 2-е изд. М., 1986.
- СИГТЯ — Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков: Фонетика. М., 1984.
- СИИЯРС, I — Сравнительно-историческое изучение языков разных семей: Современное состояние и проблемы. М., 1981.
- СИИЯРС, II — Сравнительно-историческое изучение языков разных семей: Задачи и перспективы. М., 1982.
- Словообразование современного русского литературного языка. М., 1968.
- Соболева П.А. Лексикализация множественного числа и словообразование // Лингвистика и поэтика. М., 1979.
- Солнцев В.М. Установление подобия языков как метод типологического исследования // Лингвистическая типология и восточные языки. М., 1965.
- Солнцев В.М. Типология и тип языка // ВЯ. 1978. N 2.
- Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977.
- Старостин С.А. Праенисейская реконструкция и внешние связи енисейских языков // Кетский сборник: Антропология. Этнография. Мифология. Лингвистика. Л., 1982.
- Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. М., 1975.
- Степанов Ю.С. Основы общего языкознания. М., 1975.
- Телия В.Н. Типы языковых значений: Связанное значение слова в языке. М., 1981.

- Титов В.С. Неолит Греции. М.: Наука, 1969.
- Толстая С.М. К типологической интерпретации польского ринезма // Лингвистические исследования по общей и славянской типологии. М., 1966.
- Толстой Н.И. Из опытов типологического исследования славянского словарного состава // ВЯ. 1963. N 1; 1966. N 2.
- Толстой Н.И. Некоторые проблемы сравнительной славянской семасиологии // Славянское языкознание: VI Международный съезд славистов: Докл. сов. делегации. М., 1968.
- Толстой Н.И., Толстая С.М. Принципы, задачи и возможности составления этнолингвистического словаря славянских древностей // Славянское языкознание: IX Международный съезд славистов: Докл. сов. делегации. М., 1983.
- Топоров В.Н. Категории времени и пространства и балтийское языкознание // Балто-славянские исследования. 1980. М., 1981.
- Трубачев О.Н. Следы язычества в славянской лексике. 1. trizna. 2. pēti. 3. koby // Вопросы славянского языкознания. М., 1959. Вып. 4.
- Трубачев О.Н. К вопросу о реконструкции различных систем лексики // Лексикографический сборник. М., 1963. Вып. 5.
- Трубачев О.Н. 'Молчать' и 'таять'. О необходимости семасиологического словаря нового типа // Проблемы индоевропейского языкознания. М., 1964.
- Трубачев О.Н. Ремесленная терминология в славянских языках (этимология и опыт групповой реконструкции). М., 1966.
- Трубачев О.Н. Ранние славянские этнонимы — свидетели миграции славян // ВЯ. 1974. N 6.
- Трубачев О.Н. Словообразование, семантика, этимология в новом Этимологическом словаре славянских языков 1—3 // Slawische Wortstudien: Sammelband des internationalen Symposiums zur etymologischen und historischen Erforschung des slawischen Wortschatzes. Leipzig, 11—13. 10. 1972. Bautzen, 1975.
- Трубачев О.Н. Несколько древних латинско-славянских параллелей // Этимология. 1973. М., 1975.
- Трубачев О.Н. Этимологические исследования и лексическая семантика // Принципы и методы семантических исследований. М., 1976.
- Трубачев О.Н. Этимологический словарь славянских языков и праславянский словарь // Этимология. 1976. М., 1978.
- Трубачев О.Н. Реконструкция слов и их значений // ВЯ. 1980. N 3.
- Трубачев О.Н. [Рецензия] // Этимология. 1981. М., 1983. — Рец. на кн.: Pfister M. Einführung in die romanische Etymologie. — Darmstadt, 1980.
- Трубачев О.Н. Историческая и этимологическая лексикография // Теория и практика русской исторической лексикографии. М., 1984.
- Трубачев О.Н. О семантической теории в этимологическом словаре: Проблема омонимов подлинных и ложных и семантическая типология // Теория и практика этимологических исследований. М., 1985.
- Трубачев О.Н. Праславянская лексикография // Этимология. 1983. М., 1985.
- Трубецкой Н.С. Вавилонская башня и смешение языков // Евразийский временник. Берлин, 1923. Кн. 3.
- Туманян Э.Г. Морфологический анализ индоевропейских терминов, обозначающих животных, в армянском языке // ВЯ. 1968. N 5.
- Туманян Э.Г. Структура индоевропейских имен в армянском языке. М., 1978.
- Туманян Э.Г. О принципах структурной реорганизации индоевропейских архетипов в армянском языке // Международный симпозиум по армянскому языкознанию. Ереван, 21—25 сентября, 1982: Доклады. Ереван, 1984.
- Тураджанова М. Тулейкенский говор киргизского языка: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Фрунзе, 1954.
- Уайт Э., Браун Д.М. Первые люди: Пер. с англ. М., 1978.
- Фонетика современного русского литературного языка. Народные говоры. М., 1968.
- Фортунатов Ф.Ф. Сравнительное языковедение: Общий курс. М., 1902.
- Фортунатов Ф.Ф. Избранные труды. М., 1956. Т. 1.
- Фортунатов Ф.Ф. Лекции по сравнительному языковедению, прочитанные приват-доцентом Ф. Фортунатовым в 1875/76 а.г. (рукопись). — ЛО Архива АН СССР. Ф. 90. Оп. N 44. Лл. 24—82 (цит. по кн.: Березин Ф.М. Русское языкознание конца XIX — начала XX в. М., 1976).
- Хайду П. Уральские языки и народы: Пер. с венг. М., 1985.
- Холодович А.А. Категория множества в японском в свете общей теории мно-

- жества в языке // Холодович А.А. Проблемы грамматической теории. Л., 1979.
- Чекман В.Н. Исследования по исторической фонетике праславянского языка. Минск, 1979.
- Широков О.С. Место армянского языка среди индоевропейских и проблема армянской прародины // Вестн. общ. наук АН АрмССР. Ереван. 1980. N 5.
- Широков О.С. Албано-балто-славянские глоттогенетические связи // Сборник за филологију и лингвистику. Нови Сад, 1981. XXIV/1.
- Широков О.С. История греческого языка. М.: Изд-во МГУ, 1983.
- Широков О.С. Балто-албано-славянские глоттогенетические связи по этимологическим данным // Baltistika. Vilnius, 1984. XX (1).
- Шлейхер А. Компендий сравнительной грамматики индоевропейских языков // Звегинцев В.А. История языкознания XIX—XX веков в очерках и извлечениях. М., 1964. Ч. 1.
- Шнехт Ф. "Индоевропейское" языкознание от младограмматиков до первой мировой войны // Общее и индоевропейское языкознание. М., 1956.
- Шухардт Г. Избранные статьи по языкознанию: Пер. с нем. М., 1950.
- Щербак А.М. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970.
- Щербак А.М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков: (Имя). Л., 1977.
- Щербак А.М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков: (Глагол). Л., 1981.
- Щербак А.М. О ностратических исследованиях с позиций тюрколога // ВЯ. 1984. N 6.
- Эдельман Д.И. Основные вопросы лингвистической географии. М., 1968.
- Эдельман Д.И. К типологии индоевропейских гуттуральных // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1973. Т. 33, вып. 3.
- Эдельман Д.И. О тенденциях типологического изменения // Лингвистическая типология. М., 1985.
- Эдельман Д.И. Сравнительная грамматика восточноиранских языков: Фонология. М., 1986.
- ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. О.Н. Трубачева. М., 1974—1987. Вып. 1—14.
- Якобсон Р.О. Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое языкознание // Новое в лингвистике. М., 1963. Вып. 3.
- Якобсон Р.О. О структуре русского глагола // Якобсон Р.О. Избранные работы. М., 1985.
- Ярцева В.Н. О принципах определения морфологического типа языка // Морфологическая типология и проблемы классификации языков. М.; Л., 1965.
- Ярцева В.Н. "Языковой тип" среди сопредельных понятий // Теоретические основы классификации языков мира. М., 1980.
- Яхонтов С.Е. Оценка степени близости родственных языков // Теоретические основы классификации языков мира. М., 1980.
- Alexandre P. Notes sur la réduction du système des classes dans les langues véhiculaires à fond bantu // La classification nominale dans les langues négro-africaines. Paris, 1967.
- Arnott D.W. Some reflections on the content of individual classes in Fula and Tiv // La classification nominale dans les langues négro-africaines. Paris, 1967.
- Bader F. Domaines de la reconstruction indo-européenne // L'indo-Européen: Journées d'études. 1983. N 7.
- Baldi Ph. [Рецензия] // General Linguistics. 1981. Vol. 21, N 1. — Рец. на кн.: Festschrift for Oswald Szemerényi: On the occasion of his 65th birthday... [S.a.] Vol. 17. Pt 1.
- Barnet V. О морфологических противопоставлениях в структурной диахронии // TLP. 1966. [Т.] 2: Les problèmes du centre et de la périphérie du système de la langue.
- Bartoli M., Vidossi G. Lineamenti di linguistica spaziale. Milano, 1943.
- Benveniste E. Problèmes sémantiques de la reconstruction // Word. 1954. Vol. 10.
- Benveniste E. Mutations of linguistic categories // Directions for historical linguistics. Austin, 1968.
- Birnbaum H. Problems of typological and genetic linguistics viewed in a generative framework. The Hague, 1970.
- Birnbaum H. О możliwości odтворzenia pierwotnego stanu języka prastłowiańskiego z pomocą rekonstrukcji wewnętrznej i metody porównawczej // American contributions to the VII International Congress of Slavists. The Hague: Mouton, 1973.
- Birnbaum H. Typology, genealogy and linguistic universals // Linguistics. 1975. N 144.
- Birnbaum H. Linguistic reconstruction: its

- potentials and limitations in new perspective. Washington, 1977.
- Blandř V.* K povahe a typológii sémantických príznakov // JČ. 1983. Roč. 34, č. 2.
- Bokamba E.G.* The impact of multilingualism on language structures: the case of Central Africa // AnL. 1977. Vol. 19, N 5.
- Bomhard A.* The Indo-European phonological system: New thoughts about its reconstruction and development // Orbis. 1979. Vol. 28, N 1.
- Bomhard A.R.* Towards Proto-Nostratic: A new approach to the comparison of PIE and Proto-Afroasiatic. Amsterdam, 1984.
- Bonfante G.* I dialetti indoeuropei // ARION. 1931. Vol. 4, fasc. 9.
- Bonfante G.* On reconstruction and linguistic method. Pt 2 // Word. 1945. Vol. 1, N 2.
- Bonfante G.* Origini indoeuropei. Firenze, 1976.
- Boryś W.* Prastowiańskie przymiotniki dewerbalne z apofonio:ъ (dial. *dropь, *stromь, *tromь) // Rsl. 1981. T. 41, cz. 1.
- Brugmann K., Delbrück B.* Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Strassburg, 1897—1916. Bd 1—5.
- Buck C.D.* A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages. Chicago; London, 1971.
- Carney J.* Three accentual Irish poems // Ériu. 1971. Vol. 22.
- Claudi U.* Zur Entstehung von Genussystemen. Hamburg, 1985.
- Creider C.A.* The semantic system of noun classes in Proto-Bantu // AnL. 1975. Vol. 17, N 3.
- Dauzat A.* La géographie linguistique. Paris, 1922.
- Delbrück B.* Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen. Strassburg, 1893. III.
- Deny J.* Grammaire de la langue turque: (Dialecte osman). Paris, 1921.
- Devoto G.* Storia della lingua di Roma. Firenze, 1958.
- Devoto G.* Origini indoeuropee. Firenze, 1962.
- Dixon R.M.W.* Ergativity // Language. 1979. Vol. 55, N 1.
- Doerfer G.* Lautgesetz und Zufall: Betrachtungen zum Omnicomparatismus // Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft. 1973. [Bd] 10.
- Dolník J.* Sémový rozbor obsahových rovin slova a jeho dynamiky // JČ. 1982. Roč. 33, č. 2.
- Donat P.* Zur Struktur der westslawischen Dorfsiedlungen // Rapports du III^e congrès international d'archéologie slave. Bratislava, 7—14 septembre 1975. T. 1. Bratislava, 1979.
- Dunkel G.* Typology versus reconstruction // Bono Homini Donum: Essays in historical linguistics. In memory of J. Alexander Kerns / Ed. by Y.L. Arbibman, A.R. Bomhard. Amsterdam: John Benjamins B.V. 1981. Pt 2.
- Ebel H.* Celtic studies. London, 1863.
- Ergativity.* Towards a theory of grammatical relations / Ed. by F. Plank. New York; London, 1979.
- Erhart A.* Nochmals zum indoeuropäischen Konsonantismus // ZPhSK. 1984. Bd 34.
- Fick A.* Die ehemalige Spracheinheit der Indogermanen Europas. Göttingen, 1875.
- Gambarara D.* Le entità ricostruite tra fonetica e fonologia // Problemi della ricostruzione in linguistica: Atti del convegno internazionale di studi, Pavia, 1—2 ottobre 1975, a cura di R. Simone e U. Vignuzzi. Roma, 1977.
- Gamkrelidze Th. V.* [Гамквелидзе Т.В.] The problem of "l'arbitraire du signe" // Language. 1974. Vol. 50, N 1.
- Gamkrelidze Th.V.* [Гамквелидзе Т.В.] Hierarchical relationships of dominance as phonological universals and their implications for Indo-European Reconstruction // Festschrift for Oswald Szemerényi: Current Issues in Linguistic Theory. Amsterdam, 1979. Vol. 2.
- Gamkrelidze Th.V.* [Гамквелидзе Т.В.] Language typology and language universals and their implications for the reconstruction of the Indo-European stop system // Bono Homini Donum: Essays in historical linguistics. In memory of J. Alexander Kerns / Ed. by Y.L. Arbeitman, A.R. Bomhard Amsterdam: John Benjamins B.V. 1981. Pt 2.
- Givón T.* Some historical changes in the noun-class system of Bantu, their possible causes and wider implications // Papers in African linguistics. Edmonton, 1971.
- Grassman H.* Über das ursprüngliche Vorhandensein von Wurzeln deren Anlaut und Auslaut eine Aspirata enthielt // KZ. 1863. Bd 12.
- Greenberg J.H.* The typological method // Current trends in linguistics. The Hague; Paris, 1973. Vol. 11: Diachronic, areal, and typological linguistics.
- Greenberg J.H.* Bantu and its closest relatives // SAL. 1974, Suppl. 5.
- Greenberg J.H.* Number classifiers and substantial number: problems in the genesis of a linguistic type // Proceedings of the

- XIth International congress of linguists. Bologna, 1974.
- Grimm J.* Geschichte der deutschen Sprache. Berlin, 1848.
- Guthrie M.* A two-stage method of comparative Bantu study // ALS. 1962. [Vol.] 3.
- Guthrie M.* A comparative Bantu: An introduction into the comparative linguistics and prehistory of the Bantu languages. London, 1967. Vol. 1; 1971. Vol. 2; 1970. Vol. 3—4.
- Haider H.* Der Fehlschluß der Typologie: Bemerkungen zur Rekonstruktion im allgemeinen und zu den indoeuropäischen Mediae aspiratae im besonderen // Philologie und Sprachwissenschaft. X. Österreichischen Linguisten-Tagung. Akten. Innsbruck, 23—26. Oktober 1982 / Hrsg. von W. Meid und H. Schmeja. Innsbruck, 1983.
- Havlová E.* O potřebě slovníku sémantických změn // JA. 1965. N 4.
- Havlová E.* Význam sémaziologie pro etymologický výzkum // LF. 1979. Roč. Č. 4. T. 101.
- Hawkinson A.K., Hyman L.M.* Hierarchies of natural topic in Shona // ALS. 1974. Vol. 5, N 2.
- Heine B.* The allocation of loan-words within the nominal systems of some Togo lemnant languages // JAL. 1968. Vol. 7. Pt 2.
- Herbermann C.-P.* Moderne und antike Etymologie // KZ. 1981. Bd 95, H. 1.
- Hermann E.* Über das Rekonstruieren // KZ. 1907. Bd 41.
- Hilmarsson J.* Indo-European "tongue" // JIES. 1982. Vol. 10, N 3—4.
- Hoenigswald H.M.* Internal reconstruction // SiL. 1944. 2.
- Hoenigswald H.M.* Language change and linguistic reconstruction. Chicago, 1960.
- Höftmann H.* Die Nominalklassen im Lele-mi // Neue Afrikanistische Studien. Hamburg, 1966.
- Homolková M.* K systémovému výkladu sémantického vývoje slovesa pěti // SaS. 1983. XLIV. 2.
- Hopper P.S., Thompson S.A.* Transitivity in grammar and discourse // Language. 1980. Vol. 56, N 2.
- Hull V.* The new version of Compert Con-Culainn // ZCPH. 1953. Bd 24.
- Hull V.* Ces Ulad // ZCPH. 1964. Bd 29.
- Hull V.* Apgitir Chvabaid // Celtica. Dublin, 1968. Vol. 8.
- Hyman L.M., Voeltz E.F.K., Tchokokam G.* Noun class levelling in Bamileke // SAL. 1970. Vol. 1, N 2.
- ILG — Introducción a la lexicografía griega. Madrid, 1977.
- Jackson K.* Review of J. Pokorny: Keltologie // ZCPH. 1954. Bd 24.
- Jakobson R.* Remarques sur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves // TCLP. 1929. 2 (см. также: *Jakobson R.* Selected writings. The Hague; Paris, 1971. Vol. 1).
- Jakobson R.* Typological studies and their contribution to historical comparative linguistics // Proceedings of the Eighth International Congress of Linguists. Oslo, 1958.
- Jakobson R.* The framework of language. Ann Arbor, 1980 [=Michigan studies of the humanities, N 1].
- Jankowsky K.P.* The neogrammarians: A reevaluation of their place in the development of linguistic science. The Hague; Paris, 1972.
- Kammenguber A.* Zur Stellung der Hethitisch Luvischen innerhalb der indogermanischen Gemeinsprache // KZ. 1961. Bd 77, H. 1/2.
- Katičić R.* A contribution to the general theory of comparative linguistics. The Hague; Paris, 1970.
- Kelly F.* Audacht Morainn. Dublin, 1976.
- Kerns I.A., Schwartz B.* Structural types of the IE medio-passive endings // Language. 1937. Vol. 13, N 4.
- Kiparsky P.* On comparative linguistics: the case of Grassman's law // Current trends in linguistics. The Hague; Paris, 1973. Vol. 11: Diachronic, areal, and typological linguistics.
- Kluge F.* Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 20. Aufl., bearbeitet von W. Mitzka. Berlin, 1967.
- Koch J.T.* The loss of final syllables // Bulletin of the Board of Celtic Studies. 1983. Vol. 30.
- Koerner E.F.K.* The Schleicherian paradigm in linguistics // Glotta. 1982. Vol. 22.
- Koreňný F.* [Выступление в прениях] // SW. 1975.
- Krahe H.* Sprache und Vorzeit. Heidelberg, 1954.
- Kretschmer P.* Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache. Göttingen, 1896.
- Kroeber A.L., Chretien C.D.* Quantitative classification of Indo-European languages // Language. 1937. Vol. 13, N 2.
- Krueger J.R.* Aitaic linguistic reconstruction and culture // Current trends in linguistics. The Hague; Paris, 1973. Vol. 11.
- Kurylowicz J.* La nature des procès dits analogiques // AL. 1949. N 5.
- Kurylowicz J.* L'apophonie en indo-européen. Wrocław, 1956.

- Kuryłowicz J.* On the methods of internal reconstruction // *Proc. IX JCL. Cambridge (Mass.)*, 1962; *The Hague*, 1964.
- Kuryłowicz J.* The inflectional categories of Indo-European. Heidelberg, 1964.
- Kuryłowicz J.* On the laws of isomorphism // *BPTJ*. 1965. Zesz. 23.
- Kuryłowicz J.* Internal reconstruction // *Current trends in linguistics*. The Hague; Paris, 1973. Vol. 11.
- Kuryłowicz J.* Problèmes de linguistique indo-européenne. Wrocław, etc., 1977.
- Lane J.* On the present state of Indo-European linguistics // *Language*. 1949. Vol. 25.
- Liebermann Ph.* On the origins of language. New York, 1975.
- Liebermann Ph.* The biology and evolution of language. Cambridge; London: Harvard Univ. Press, 1984.
- Liebermann Ph., Crelin E.S., Klatt D.H.* Phonetic ability and related anatomy of the newborn and adult human // *AA*. 1972. Vol. 74, N 3.
- Lottner K.* Über die Stellung der Italier innerhalb des indoeuropäischen Stammes // *KZ*. 1858. Bd 7.
- Makaev E.A. [Макаев Э.А.]* De la neutralisation des oppositions // *La notion de neutralisation dans la morphologie et lexicque*. Paris, 1958. T. 2.
- Mallory J.P., Huld M.E.* Proto-Indo-European "Silver" // *KZ*. 1984. Bd 97, H. 1.
- Mann St.* Armenian and Indo-European. London, 1963.
- Marstrander C.* De l'unité italo-celtique // *Nordisk tidsskrift for sprogvidenskap*. Oslo, 1929. III.
- Martinet A.* Bilinguisme et diglossie: Les avatars d'une dichotomie ambiguë // *La linguistique*. 1982. Vol. 18.
- Martinet A.* Se soumettre à l'épreuve des faits // *La linguistique*. 1983. Vol. 19, N 1.
- Mayrhofer M.* Sanskrit und die Sprachen Alteuropas: Zwei Jahrhunderte des Widerspiegels von Entdeckungen und Irrtümern // *Nachrichten der Akad. der Wissenschaften in Göttingen. Philol.-hist. Klasse*. Göttingen. 1983. N 5.
- Meeussen A.E.* Bantu grammatical reconstruction // *AfrL. Tervuren*. 1967. [Vol.] 3.
- Meillet A.* Les dialectes indo-européens. Paris, 1908.
- Meillet A.* Les dialectes indo-européens. Paris, 1922.
- Meillet A.* Linguistique // *De la méthode dans les sciences*. 2-ème série. Paris, 1924.
- Mitra S.S.* Bearing of the Indo-European comparative grammar on the Argan problem // *Этнические проблемы истории* центральной Азии в древности (II тысячелетие до н.э.). М.: Наука, 1981.
- Morolong M., Hyman L.M.* Animacy, objects and clitics in Sesotho // *SAL*. 1977. Vol. 8, N 3.
- Němec I.* [Выступление в прениях] // *SW*. 1975.
- Němec I.* Rekonstrukce lexikálního vývoje. Praha, 1980.
- Němec I.* Definicija jednostki znaczeniowej jako składownika "systemu systemów" (машинописные тезисы для V заседания Комиссии по лексикологии и лексикографии Международного комитета славистов, Варшава, ноябрь 1981 г.).
- Němec I.* Dějiny hmotné kultury a jazykoveda // *Arch. rozh*. 1983. XXXV.
- Novak F.* Vprašanja pomenske analize leksike starejših obdobij // *Лексикографија и лексикологија: Зборник реферата Одг. уредник Д. Ђупић*. Београд; Нови Сад, 1982.
- Pajkowski W.* Pochodzenie Pajonów // *Balkanica Posnaniensia*. Poznań, 1984.
- Panagl O.* Zur Problematik semantischer Rekonstruktion in der Etymologie // *Lautgeschichte und Etymologie*. VI. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft. Akten. Wien, 24—29. September 1978 / Hrsg. von M. Mayrhofer, M. Peters, O.E. Pfeiffer. Wiesbaden, 1980.
- Peciar Št.* Vzťah polysémie a homonymie // *SaS*. 1980. Roč. 41.
- Pedersen H.* Türkische Lautgesetze // *ZDMG*. 1903. Bd 57.
- Pedersen H.* Le groupement des dialectes indo-européens // *Det. Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Historisk-filologiske Meddelelser*. T. XI, f. 3. København, 1925.
- Pfister M.* Einführung in die romanische Etymologie. Darmstadt, 1980.
- Pisani V.* Studi sulla preistoria delle lingue indoeuropee // *Reale Accademia o Nazionale dei Lincei. Memorie. Serie VI* 1933. Vol. 4, f. 6.
- Pisani V.* Geolinguistica e indoeuropeo. Roma, 1940.
- Pisowicz A.* Le développement du consonantisme arménien. Wrocław, 1976.
- Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern; München, 1959. Bd 1; 1969. Bd 2.
- Porzig V.* Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebiets. Heidelberg, 1954.
- Prost A.* La langue soñay et ses dialectes. Dakar, 1956 [Mémoires de l'IFAN, N 47].
- Relational typology* / Ed. by F. Plank. Berlin; New York; Amsterdam, 1985.
- Richardson I.* Linguistic evolution and Bantu noun class systems // *La classification*

- nominale dans les langues négroafricaines. Paris, 1967.
- Roeder Ulrike. Griech. $\nu\mu\acute{o}\varsigma$ 'Mut' — ai. dhū-maḥ 'Rauch' // KZ. 1981. Bd 95.
- Rospond S. Gramatika historyczna języka polskiego. Warszawa, 1973.
- Šaur V. Ke genezi sloves typu baviti, slaviti // Slavia. 1980. Roč. 49, č. 1—2.
- Schleicher F. Germanisch und Slavisch // KZ. 1852. Bd 1.
- Schleicher A. Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Weimar, 1861—1862.
- Schmid W.P. Indogermanistische Modelle und osteuropäische Frühgeschichte // Abh. der. Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Mainz. 1978. N 1.
- Schmidt J. Die Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen. Weimar, 1872.
- Schmidt J. Zur Geschichte des indogermanischen Vokalismus. Weimar, 1875.
- Schuchardt H. Der Vokalismus des Vulgärlateins III. Leipzig, 1868.
- Schuster-Šewc H. Modellierung semantischer Prozesse und Etymologie // SW. 1975.
- Shaw F. Aislinge Oéngusso. Dublin, 1934.
- Shevelov G.V. Prehistory of Slavic: The historical phonology of Common Slavic. Heidelberg, 1964.
- Solta G. Die Stellung des Armenischen im Kreise der indogermanischen Sprachen. Wien, 1960.
- SP — Słownik prastłowiański / Pod red. Sławskiego. Wrocław, etc. 1974. T. I; 1974. T II; 1979. T.III; 1981. T. IV; 1984. T. V.
- Specht F. Zur Geschichte der Verbalklasse // KZ. 1935. Bd 62, H. 1/2.
- Specht F. Sprachliches zur Urheimat der Indogermanen // KZ. 1939. Bd 66.
- Specht F. Die Ausbreitung der Indogermanen. Berlin, 1944.
- Statha-Halikas H. The Venetie *r*-forms in a comparative // In honor of Medisson S. Beeler. The Hague; Paris; New York, 1980.
- Straková V. Sovětský příspěvek k teorii slovo-tvorného významu // SaS. 1983. Roč. 44, č. 4.
- Swadesh M. Perspectives and problems of American comparative linguistics // Word. 1954. N 10.
- Szemerényi O. Studies in the kinship terminology of the Indo-European languages. Téhéran; Liege, 1977 (= Acta Iranica. Vol. 8: Textes et mémoires).
- Szemerényi O. Richtungen der modernen Sprachwissenschaft II // Die fünfziger Jahre (1950—1960). Heidelberg, 1982.
- Tekin Talat. A grammar of Orkhon Turkic. Bloomington, 1968.
- Thurneysen R. Zu Cormac's Glossar // Festschrift E. Windisch. Leipzig, 1914.
- Thurneysen R. A grammar of old Irish. Dublin, 1946.
- Troubetzkoy N.S. Essai sur la chronologie des certains faits phonétiques du slave commune // RES. 1922. N 2.
- Troubetzkoy N.S. Über Entstehung der gemeinwestslavischen Eigentümlichkeiten auf dem Gebiete des Konsonantismus // ZSPH. 1930. N 7.
- Troubetzkoy N.S. Grundzüge der phonologie. Prague, 1939.
- Vaillant A. Grammaire comparée des langues slaves. Paris, 1966. T. 3: Le verbe.
- Vajs N. O leksikografskoj definiciji (od leksikografije do semantike) // Лексикографија и лексикологија: Зборник реферата / Одговорни уредник. Д. Ћупић. Београд; Нови Сад, 1982.
- Vennemann T. Topics, subjects and word order: from SXV to SVX via TVX // HL. Amsterdam. 1974. Vol. 1.
- Voeltz E.F.K. Inalienable possession in Sotho // SAL. 1976. Supplement 6.
- Wald B. Animate concord in Northeast Coastal Bantu: its linguistics and social implications as a case of grammatical convergence // SAL. 1975. Vol. 6, N 3.
- Walde A., Hofmann J.B. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. 5. Aufl. Heidelberg, 1972. Bd 2.
- Watkins C. Indo-European origins of the Celtic verb. Dublin, 1962. Vol. 1.
- Welmers E.W. African languages structures. Los Angeles, 1973.
- Whiteley W.H. Same problems of transitivity in Swahili. London, 1968.
- Windekens van A.J. Le tokharien confronté avec les autres langues indo-européennes. Louvain, 1976. I.
- Winter W. Indo-European words for 'tongue' and 'fish' a reappraisal // JIES. 1982. Vol. 10, N 1—2.
- WVB — Wörterbuch der vergleichenden Bezeichnungslehre / Hrsg. von J. Schröpper. Heidelberg, 1979. Bd 1. Lief. 1/2.
- Zeuss K. Die Deutschen und die Nachbarstämme. Berlin, 1837.
- Žuravlev V.K. [Журавлев В.К.] Die Dynamik baltoslavischer morphologischer Oppositionen // IF. 1977. Bd 82.

ИСТОЧНИКИ

- | | | | |
|-------------|---|-------|---|
| AA | — American Anthropologist. | Orbis | — Orbis. Bulletin international de documentation linguistique. |
| AfrL | — Africana Linguistica. | RES | — Révue des Études Slaves. |
| AL | — Acta Linguistica. | Rsl | — Rocznik slawistyczny. |
| ALS | — African Language Studies. | SAL | — Studies in African Linguistics, Los Angeles. |
| AnL | — Anthropological Linguistics. | SaS | — Slovo a slovesnost. |
| Arch. rozh. | — Archeologické rozhledy, Praha. | SiL | — Studies in Linguistics. |
| ARION | — Annali del Reale Istituto Orientale di Napoli. | SW | — Slawische Wortstudien. |
| BPTJ | — Biuletyn Polskeigo Towarzystwa Językoznawczego. | TCLP | — Travaux du Circle Linguistique du Prague. |
| HL | — Historical Linguistics. | TLP | — Travaux Linguistique de Prague. |
| IF | — Indogermanische Forschungen. | ZDMG | — Zeitschrift für Deutschen Morgenländischer Gesellschaft. |
| JA | — Jazykovědné aktuality. | ZCPh | — Zeitschrift für celtische Philologie. |
| JAL | — Journal of African Languages. | ZSPH | — Zeitschrift für slavische Philologie. |
| JČ | — Jazykovedný Časopis. | ZPhSK | — Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. |
| JIES | — Journal of Indo-European Studies. | | |
| KZ | — (Kuhn's) Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung. | | |
| LF | — Listy filologické. | | |

НАЗВАНИЯ ЯЗЫКОВ И ДИАЛЕКТОВ

абаз.	— абазинский	к.-калп.	— каракалпакский
абх.	— абхазский	каб.	— кабардинский
авест.	— авестийский	казах.	— казахский
авест. гат.	— авестийский гатский	карах.-уйг.	— караханидско-уйгурский
агн. А.	— агнейский диалект агнео-кучанского языка (тохарский А)	карл.-уйг.	— карлукско-уйгурские
		кимр.	— кимрский
агул.	— агульский	кипр.	— греческий кипрский
адыг.	— адыгские	кирг.	— киргизский
азерб.	— азербайджанский	коми-зыр.	— коми-зырянский
алб.	— албанский	корн.	— корнский
англ.	— английский	куч. В	— кучанский диалект агнео-кучанского языка (тохарский В)
арийск.	— арийские		
арк.	— греческий аркадский	кыпч.	— кыпчакский
арм.	— армянский	лак.	— лакский
арч.	— арчинский	лат.	— латинский
атт.	— греческий аттический	лезб.	— лезгинский
башк.	— башкирский	лестб.	— греческий лесбийский
беот.	— беотийский греческий	лит.	— литовский
блр.	— белорусский	лвш.	— латышский
болг.	— болгарский	макед.	— македонский
брет.	— бретонский	манс.	— мансийский
вед.	— ведийский	мар.	— марийский
венет.	— венетский	мессап.	— мессапский
в.-луж.	— верхнелужицкий	н.-в.-н.	— нововерхненемецкий
вост.-лит.	— восточнолитовский	нем.	— немецкий
вост.-слав.	— восточнославянские	н.-луж.	— нижнелужицкий
галл.	— галльский	норв.	— норвежский
гег.	— гегский диалект албанского языка	огуз.	— огузский
		орх.	— орхонский (орхоно-енисейский)
герм.	— германские	(орх.-енис.)	
гом.	— греческий гомеровский	осет.	— осетинский
гот.	— готский	оск.	— оскский
греч.	— греческий	перс.	— персидский
д.-в.-н.	— древневерхненемецкий	пехл.	— пехлеви
дарг.	— даргинский	польск.	— польский
дор.	— греческий дорический	прагерм.	— прагерманский
др.-англ.	— древнеанглийский	праслав.	— праславянский
др.-брет.	— древнебретонский	протоурал.	— протоуральский
др.-греч.	— древнегреческий	прус.	— прусский
др.-инд.	— древнеиндийский	рум.	— румынский
др.-ирл.	— древнеирландский	рун.	— рунический
др.-исл.	— древнеисландский	рус.	— русский
др.-корн.	— древнекорнекий	рут.	— рутульский
др.-монг.	— древнемонгольский	с.-хорв.	— сербохорватский
др.-перс.	— древнеперсидский	с.-юг.	— сарыг-югурский
др.-прус.	— древнепруский	санскр.	— санскрит
др.-рус.	— древнерусский	сев.-вост.	— северо-восточная (группа тюркских языков)
др.-тюрк.	— древнетюркский		
др.-уйг.	— древнеуйгурский	слав.	— славянский
др.-чеш.	— древнечешский	слвц.	— словацкий
и.-е.	— индоевропейский (-ские)	словен.	— словенский
иерогл.	— иероглифический лувийский	согд.	— согдийский
		ср.-греч.	— среднегреческий
иран.	— иранские	ср.-инд.	— среднеиндийский
ирл.	— ирландский	ср.-ирл.	— среднеирландский
исл.	— исландский	ср.-монг.	— среднемонгольский

с.-н.-н.	— средненижне немецкий	фин.	— финский
ср.-перс.	— среднеперсидский	фин.-угор.	— финно-угорские
ст.-лит.	— старолитовский	фр.	— французский
ст.-слав.	— старославянский	фрак.	— фракийский
ст.-чеш.	— старочешский	фриг.	— фригийский
табас.	— табасаранский	хак.	— хакасский
тат.	— татарский	халадж.	— халаджский
тоск.	— тоскский диалект албан- ского языка	халх.	— халхаский
тоф.	— тофаларский	хант.	— хантыйский
тох.	— тохарские	хет.	— хеттский
тув.	— тувинский	хин.	— хиналугский
тунг.-маньчж.	— тунгусо-маньчжурские	хот.-сак.	— хотано-сакский
тур.	— турецкий	цах.	— цахурский
тюрк.	— тюркские	цслав.	— церковнославянский
убых.	— убыхский	чеш.	— чешский
угор.	— угорские	чув.	— чувашский
удм.	— удмуртский	чул.	— чулымский
узб.	— узбекский	шор.	— шорский
уйг.	— уйгурский	эол.	— эолийский
укр.	— украинский	эрзя-морд.	— эрзя-мордовский
умбр.	— умбрский	эст.	— эстонский
фалис.	— фалисский	якут.	— якутский

ВВЕДЕНИЕ (Н.З. Гаджиева, В.К. Журавлев, М.А. Кумахов, В.П. Нерознак).....	3
ПРАЯЗЫК: РЕКОНСТРУКТ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? (В.П. Нерознак)	26
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРАЯЗЫКОВЫХ ИЗОГЛОСС ОБЩЕИНДОВЕРОПЕЙСКО- ГО ДИАЛЕКТНОГО КОНТИНУУМА (О.С. Широков).....	43
ВНУТРЕННЯЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ (В.К. Журавлев)	68
ПРАЯЗЫК: БЛИЖНЯЯ И ДАЛЬНЯЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ (И.В. Кормушин)	90
РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (А. Рона-Таш) 105	
ИСТОРИЯ ЯЗЫКА, ПИСЬМЕННОСТИ И ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ (Д. Ка- ра)	113
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ИССЛЕДОВАНИИ ИСТОРИИ КЕЛЬТСКИХ ЯЗЫКОВ (А.А. Королев)	119
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПО КОСВЕННЫМ ДАННЫМ (Б.А. Серебренников).....	138
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ И ПРАЯЗЫКОВАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ (Т.В. Гамкрелидзе)	145
ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ (В.А. Виноградов)	157
СООТНОШЕНИЕ ПРИЕМОВ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИХ И АРЕАЛЬ- НЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ (Н.З. Гаджиева)	181
СИСТЕМНОСТЬ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНДОВЕРОПЕЙСКИХ АРХЕТИПОВ КАК КРИТЕРИЙ ИХ ОДНОПЛОСКОСТНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ (Э.Г. Ту- манян).....	189
ПРИЕМЫ СЕМАНТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ (О.Н. Трубацев)	197
ЛИТЕРАТУРА.....	223
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ	234
Источники.....	234
Названия языков и диалектов	235

Научное издание

*ГАДЖИЕВА Нинель Зейналовна,
ЖУРАВЛЕВ Владимир Константинович,
НЕРОЗНАК Владимир Петрович и др.*

**СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ
ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ
РАЗНЫХ СЕМЕЙ**

Теория лингвистической реконструкции

Утверждено к печати
Институтом языкознания АН СССР

Редактор издательства В.С. Матюхина
Художник А.Г. Кобрин
Художественный редактор Н.Н. Власик
Технический редактор Л.В. Русская
Корректор В.П. Крылова

Набор выполнен в издательстве
на электронной фотонаборной системе

ИБ № 35872

Подписано к печати 14.01.88
Формат 60 X 90 1/16. Бумага офсетная № 1
Гарнитура Таймс. Печать офсетная
Усл.печ.л. 15,0. Усл.кр.-отт. 15,0. Уч.-изд.л. 18,2
Тираж 1500 экз. Тип. зак. 2169
Цена 4 руб.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство "Наука"
117864 ГСП-7, Москва В-485,
Профсоюзная ул., д. 90

Ордена Трудового Красного Знамени
1-я типография издательства "Наука"
199034, Ленинград В-34, 9-линия, 12

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ "НАУКА"

готовятся к печати:

Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений:

Оценка. Событие. Факт

25 л. 4р. 60к.

Монография освещает широкий круг проблем семантики, синтаксиса и прагматики. В ней содержится аналитический обзор важнейших лингвистических, философских и логических концепций трех типов значения: оценочного, событийного и пропозиитивного (производного от семантики предложения). Основное внимание уделено русскому языку. Автор соотносит факты языка с ситуациями жизни, с одной стороны, и структурой мышления — с другой, выявляет их связь с жизнью и психологией человека в оценочных значениях, связь с мышлением в значениях, восходящих к предикату и предложению.

Для широкого круга лингвистов — специалистов по общему языкознанию, русскому языку и логическому анализу языка.

Национальная специфика языка и ее отражение в нормативном словаре

13 л. 1р. 30к.

Статьи сборника охватывают широкий круг проблем, отражающих современное состояние науки о словарях. Главное внимание уделено русскому языку. Широко представлены также статьи по лексикографии языков народов СССР и других языков. Значительное место занимают вопросы общей теории лексикографии и методики составления словарей различного типа.

Для лингвистов и всех интересующихся проблемами лексикологии и лексикографии.

Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков: Морфология

48 л. 5р. 30к.

Книга является третьей частью коллективного труда "Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков" ("Фонетика" — 1984 г., "Синтаксис" — 1986 г.). В ней в сравнительном плане исследуется морфология современных языков, реконструируются морфологические категории тюркского праязыка, прослеживается их эволюция в современных и древних языках.

Для лингвистов-тюркологов и специалистов по языкам алтайской группы и общему языкознанию.